



Николай Семёнович Лесков

Святочные рассказы (цикл)

Содержание

Жемчужное ожерелье	0011
Глава первая	0011
Глава вторая	0015
Глава третья	0022
Глава четвертая	0029
Глава пятая	0033
Неразменный рубль	0041
Глава первая	0041
Глава вторая	0043
Глава третья	0045
Глава четвертая	0048
Глава пятая	0050
Глава шестая	0052
Глава седьмая	0055
Глава восьмая	0056
Зверь	0060
Глава первая	0060
Глава вторая	0062
Глава третья	0064
Глава четвертая	0068
Глава пятая	0070
Глава шестая	0072
Глава седьмая	0073
Глава восьмая	0075
Глава девятая	0077

Глава десятая	0080
Глава одиннадцатая	0084
Глава двенадцатая	0087
Глава тринадцатая	0089
Глава четырнадцатая	0091
Глава пятнадцатая	0093
Глава шестнадцатая	0096
Привидение в инженерном замке (Из кадетских воспоминаний)	0102
Глава первая	0102
Глава вторая	0105
Глава третья	0109
Глава четвертая	0112
Глава пятая	0116
Глава шестая	0118
Глава седьмая	0120
Глава восьмая	0122
Глава девятая	0125
Глава десятая	0127
Глава одиннадцатая	0129
Отборное зерно Краткая трилогия в просонке	0131
#1	0131
Глава первая Барин	0137
Глава вторая Купец	0157
Глава третья Мужик	0167
Обман	0181
Глава первая	0181

Глава вторая	0186
Глава третья	0190
Глава четвертая	0199
Глава пятая	0205
Глава шестая	0212
Глава седьмая	0215
Глава восьмая	0223
Глава девятая	0231
Глава десятая	0237
Глава одиннадцатая	0239
Глава двенадцатая	0240
Глава тринадцатая	0242
Штопальщик	0246
Глава первая	0246
Глава вторая	0248
Глава третья	0249
Глава четвертая	0252
Глава пятая	0253
Глава шестая	0255
Глава седьмая	0258
Глава восьмая	0261
Глава девятая	0263
Глава десятая	0266
Глава одиннадцатая	0269
Глава двенадцатая	0271
Глава тринадцатая	0273
Глава четырнадцатая	0275
Глава пятнадцатая	0277

Жидовская кувырколлегия	0278
Глава первая	0278
Глава вторая	0290
Глава третья	0294
Глава четвертая	0296
Глава пятая	0300
Глава шестая	0304
Глава седьмая	0309
Глава восьмая	0311
Глава девятая	0313
Глава десятая	0319
Глава одиннадцатая	0322
Глава двенадцатая	0326
Глава тринадцатая	0330
Глава четырнадцатая	0332
Глава пятнадцатая	0334
Дух госпожи Жанлис Спиритический случай	0336
Глава первая	0336
Глава вторая	0337
Глава третья	0340
Глава четвертая	0342
Глава пятая	0343
Глава шестая	0346
Глава седьмая	0347
Глава восьмая	0349
Глава девятая	0351
Глава десятая	0352

Глава одиннадцатая	0353
Глава двенадцатая	0355
Глава тринадцатая	0358
Глава четырнадцатая	0359
Глава пятнадцатая	0360
Глава шестнадцатая	0361
Старый гений	0363
Глава первая	0363
Глава вторая	0365
Глава третья	0368
Глава четвертая	0373
Глава пятая	0376
Путешествие с нигилистом	0381
Глава первая	0381
Глава вторая	0383
Глава третья	0387
Глава четвертая	0390
Глава пятая	0393
Маленькая ошибка Секрет одной московской фамилии	0396
Глава первая	0396
Глава вторая	0399
Глава третья	0401
Глава четвертая	0403
Глава пятая	0405
Глава шестая	0407
Глава седьмая	0408
Глава восьмая	0410

Путало	0412
Глава первая	0412
Глава вторая	0415
Глава третья	0422
Глава четвертая	0427
Глава пятая	0430
Глава шестая	0434
Глава седьмая	0443
Глава восьмая	0449
Глава девятая	0459
Глава десятая	0464
Глава одиннадцатая	0471
Глава двенадцатая	0477
Глава тринадцатая	0481
Глава четырнадцатая	0486
Глава пятнадцатая	0488
Глава шестнадцатая	0494
Глава семнадцатая	0496
Глава восемнадцатая	0502
Глава девятнадцатая	0505
Глава двадцатая	0508
Глава двадцать первая	0511
Фигура	0513
Глава первая	0513
Глава вторая	0514
Глава третья	0517
Глава четвертая	0518
Глава пятая	0520

Глава шестая	0521
Глава седьмая	0523
Глава восьмая	0526
Глава девятая	0528
Глава десятая	0531
Глава одиннадцатая	0534
Глава двенадцатая	0538
Глава тринадцатая	0541
Глава четырнадцатая	0550
Глава пятнадцатая	0554

Николай Лесков

Святочные рассказы (цикл)

Жемчужное ожерелье

Глава первая

В одном образованном семействе сидели за чаем друзья и говорили о литературе – о вымысле, о фабуле. Сожалели, отчего все это у нас беднеет и бледнеет. Я припомнил и рассказал одно характерное замечание покойного Писемского, который говорил, будто усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог, которые очень полезны торговле, но для художественной литературы вредны.

«Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, – говорил Писемский и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда, – все скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому „на долгих“, в общем тарантасе или „на сдаточных“, – да и ямщик-то тебе попадет подлец, да и соседи нахалы, да и постоянный дворник шельма, а „куфарка“ у него неопрятище, – так ведь

сколько разнообразия насмотришься. А еще как сердце не вытерпит, – изловишь какую-нибудь гадость во щах да эту „куфарку“ обругаешь, а она тебя на ответ – вдесятеро иссрамит, так от впечатлений-то просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно суп-сочная каша преет, – ну, разумеется, густо и в сочинении выходило; а нынче все это по железнодорожному – бери тарелку, не спрашивай; ешь – пожевать некогда; динь-динь-динь и готово: опять едешь, и только всех у тебя впечатлений, что лакей сдачей тебя обсчитал, а обругаться с ним в свое удовольствие уже и некогда».

Один гость на это заметил, что Писемский оригинален, но неправ, и привел в пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездят, однако же видел и наблюдал много, и фабулы его рассказов не страдают скудостью содержания.

– Исключение составляют разве только одни его святочные рассказы. И они, конечно, прекрасны, но в них есть однообразие; однако в этом винить автора нельзя, потому что это такой род литературы, в котором писа-

тель чувствует себя невольником слишком тесной и правильно ограниченной формы. От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера – от Рождества до Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и наконец – чтобы он оканчивался непременно весело. В жизни таких событий бывает немного, и потому автор неволит себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую к программе. А через это в святочных рассказах и замечается большая деланность и однообразие.

– Ну, я не совсем с вами согласен, – отвечал третий гость, почтенный человек, который часто умел сказать слово кстати. Потому нам всем и захотелось его слушать.

– Я думаю, – продолжал он, – что и святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время и нравы.

– Но чем же вы можете доказать ваше мнение? Чтобы оно было убедительно, надо, что-

бы вы нам показали такое событие из современной жизни русского общества, где отразился бы и век и современный человек, и между тем все бы это отвечало форме и программе святочного рассказа, то есть было бы и слегка фантастично, и искореняло бы какой-нибудь предрассудок, и имело бы не грустное, а веселое окончание.

– А что же? – я могу вам представить такой рассказ, если хотите.

– Сделайте одолжение! Но только помните, что он должен быть *истинное происшествие!*

– О, будьте уверены, – я расскажу вам происшествие самое истиннейшее, и притом о лицах мне очень дорогих и близких. Дело касается моего родного брата, который, как вам, вероятно, известно, хорошо служит и пользуется вполне им заслуженною доброю репутациею.

Все подтвердили, что это правда, и многие добавили, что брат рассказчика действительно достойный и прекрасный человек.

– Да, – отвечал тот, – вот я и поведу речь об этом, как вы говорите, прекрасном человеке.

Глава вторая

Назад тому три года брат приехал ко мне на святки из провинции, где он тогда служил, и точно его какая муха укусила – приступил ко мне и к моей жене с неотступною просьбою: «Жените меня».

Мы сначала думали, что он шутит, но он серьезно и не с коротким пристаёт: «Жените, сделайте милость! Спасите меня от невыносимой скуки одиночества! Опостылела холостая жизнь, надоели сплетни и вздоры провинции, – хочу иметь свой очаг, хочу сидеть вечером с дорогою женою у своей лампы. Жените!»

– Ну да постой же, – говорим, – все это прекрасно и пусть будет по-твоему, – Господь тебя благослови, – женись, но ведь надобно же время, надо иметь в виду хорошую девушку, которая бы пришлась тебе по сердцу и чтобы ты тоже нашел у нее к себе расположение. На все это надо время.

А он отвечает:

– Что же – времени довольно: две недели святок венчаться нельзя, – вы меня в это вре-

мя сосватайте, а на Крещение вечером мы обвенчаемся и уедем.

– Э, – говорю, – да ты, любезный мой, должно быть немножко с ума сошел от скуки. (Слува «психопат» тогда еще не было у нас в употреблении.) Мне, – говорю, – с тобой дурачиться некогда, я сейчас в суд на службу иду, а ты вот тут оставайся с моей женою и фантазируй.

Думал, что все это, разумеется, пустяки или, по крайней мере, что это затея очень далекая от исполнения, а между тем возвращаюсь к обеду домой и вижу, что у них уже дело созрело. Жена говорит мне:

– У нас была Машенька Васильева, просила меня съездить с нею выбрать ей платье, и пока я одевалась, они (то есть брат мой и эта девица) посидели за чаем, и брат говорит: «Вот прекрасная девушка! Что там еще много выбирать – жените меня на ней!»

Я отвечаю жене:

– Теперь я вижу, что брат в самом деле одурел.

– Нет, позволь, – отвечает жена, – отчего же это непременно «одурел»? Зачем же отри-

цать то, что ты сам всегда уважал?

– Что это такое я уважал?

Безотчетные симпатии, влечения сердца.

– Ну, – говорю, – матушка, меня на это не подденешь. Все это хорошо вовремя и кстати, хорошо, когда эти влечения вытекают из чего-нибудь ясно сознанного, из признания видимых превосходств души и сердца, а это – что такое... в одну минуту увидел и готов обрешетиться на всю жизнь.

– Да, а ты что же имеешь против Машеньки? – она именно такая и есть, как ты говоришь, – девушка ясного ума, благородного характера и прекрасного и верного сердца. При том и он ей очень понравился.

– Как! – воскликнул я, – так это ты уж и с ее стороны успела заручиться признанием?

– Признание, – отвечает, – не признание, а разве это не видно? Любовь ведь – это по нашему женскому ведомству, – мы ее замечаем и видим в самом зародыше.

– Вы, – говорю, – все очень противные свахи: вам бы только кого-нибудь женить, а там что из этого выйдет – это до вас не касается. Побойся последствий твоего легкомыслия.

– А я ничего, – говорит, – не боюсь, потому что я их обоих знаю, и знаю, что брат твой – прекрасный человек и Маша – премилая девушка, и они как дали слово заботиться о счастье друг друга, так это и исполняют.

– Как! – закричал я, себя не помня, – они уже и слово друг другу дали?

– Да, – отвечает жена, – это было пока индифферентно, но понятно. Их вкусы и стремления сходятся, и я вечером поеду с твоим братом к ним, – он, наверно, понравится старикам, и потом...

– Что же, что потом?

– Потом – пускай как знают; ты только не мешайся.

– Хорошо, – говорю, – хорошо, – очень рад в подобную глупость не мешаться.

– Глупости никакой не будет.

– Прекрасно.

– А будет все очень хорошо: они будут счастливы!

– Очень рад! Только не мешает, – говорю, – моему братцу и тебе знать и помнить, что отец Машеньки всем известный богатый сквалыжник.

– Что же из этого? Я этого, к сожалению, и не могу оспаривать, но это нимало не мешает Машеньке быть прекрасною девушкой, из которой выйдет прекрасная жена. Ты, верно, забыл то, над чем мы с тобою не раз останавливались: вспомни, что у Тургенева – все его лучшие женщины, как на подбор, имели очень непочтенных родителей.

– Я совсем не о том говорю. Машенька действительно превосходная девушка, а отец ее, выдавая замуж двух старших ее сестер, обоих зятьев обманул и ничего не дал, – и Маше ничего не даст.

– Почему это знать? Он ее больше всех любит.

– Ну, матушка, держи карман шире: знаем мы, что такое их «особенная» любовь к девушке, которая на выходе. Всех обманет! Да ему и не обмануть нельзя – он на том стоит, и состоянию-то своему, говорят, тем начало положил, что деньги в большой рост под залоги давал. У такого-то человека вы захотели любви и великодушия доискаться. А я вам то скажу, что первые его два зятя оба сами пройды, и если он их надул и они теперь все во враж-

де с ним, то уж моего брата, который с детства страдал самою утрированной деликатностью, он и подавно оставит на бобах.

– То есть как это, – говорит, – на бобах?

– Ну, матушка, это ты дурачишься.

– Нет, не дурачусь.

– Да разве ты не знаешь, что такое значит «оставить на бобах»? Ничего не даст Машеньке, – вот и вся недолга.

– Ах, вот это-то!

– Ну, конечно.

– Конечно, конечно! Это быть может, но только я, – говорит, – никогда не думала, что по-твоему – получить путную жену, хотя бы и без приданого, – это называется «остаться на бобах».

Знаете милую женскую привычку и логику: сейчас – в чужой огород, а вам по соседству шпильку в бок...

– Я говорю вовсе не о себе...

– Нет, отчего же?..

– Ну, это странно, *ma chère*! [1]

– Да отчего же странно?

– Оттого странно, что я этого на свой счет не говорил.

- Ну, думал.
- Нет – совсем и не думал.
- Ну, воображал.
- Да нет же, черт возьми, ничего я не воображал!
- Да чего же ты кричишь?!
- Я не кричу.
- И «черти»... «черт»... Что это такое?
- Да потому, что ты меня из терпения выводишь.
- Ну вот то-то и есть! А если бы я была богата и принесла с собою тебе приданое...
- Э-ге-ге!..

Этого уже я не выдержал и, по выражению покойного поэта Толстого, «начав – как бог, окончил – как свинья». Я принял обиженный вид, – потому, что и в самом деле чувствовал себя несправедливо обиженным, – и, покачав головою, повернулся и пошел к себе в кабинет. Но, затворяя за собою дверь, почувствовал неодолимую жажду отмщения – снова отворил дверь и сказал:

– Это свинство!

А она отвечает:

– Mersi, мой милый муж.

Глава третья

Черт знает, что за сцена! И не забудьте – это после четырех лет самой счастливой и ничем ни на минуту нем возмущенной супружеской жизни!.. Досадно, обидно – и непременно! Что за вздор такой! И из-за чего!.. Все это набаламутил брат. И что мне такое, что я так кипячусь и волнуюсь! Ведь он в самом деле взрослый, и не вправе ли он сам обсудить, какая особа ему нравится и на ком ему жениться?.. Господи – в этом сыну родному нынче не укажешь, а то, чтобы еще брат брата должен был слушаться... Да и по какому, наконец, праву?.. И могу ли я, в самом деле, быть таким провидцем, чтобы утвердительно предсказывать, какое сватовство чем кончится?.. Машенька действительно превосходная девушка, а моя жена разве не прелестная женщина?.. Да и меня, слава богу, никто негодеем не называл, а между тем вот мы с него, после четырех лет счастливой, ни на минуту ничем не смущенной жизни, теперь разобрались, как портной с портнихой... И все из-за пустяков, из-за чужой шутовской прихо-

ти...

Мне стало ужасно совестно перед собою и ужасно ее жалко, потому что я ее слова уже считал ни во что, а за все винил себя, и в таком грустном и недовольном настроении уснул у себя в кабинете на диване, закутавшись в мягкий ватный халат, выстеганный мне собственными руками моей милой жены...

Подкупающая это вещь – носильное удобное платье, сработанное мужу жениными руками! Так оно хорошо, так мило и так вовремя и не вовремя напоминает и наши вины и те драгоценные ручки, которые вдруг захочется расцеловать и просить в чем-то прощения.

– Прости меня, мой ангел, что ты меня, наконец, вывела из терпения. Я вперед не буду.

И мне, признаться, до того захотелось поскорее идти с этой просьбой, что я проснулся, встал и вышел из кабинета.

Смотрю – в доме везде темно и тихо.

Спрашиваю горничную:

– Где же барыня?

– А они, – отвечает, – уехали с вашим брат-

цем к Марьи Николаевны отцу. Я вам сейчас чай приготовлю.

«Какова! – думаю, – значит, она своего упорства не оставляет, – она таки хочет женить брата на Машеньке... Ну пусть их делают, как знают, и пусть их Машенькин отец надует, как он надул своих старших зятьев. Да даже еще и более, потому что те сами жохы, а мой брат – воплощенная честность и деликатность. Тем лучше, – пусть он их надует – и брата и мою жену. Пусть она обожжется на первом уроке, как людей сватать!»

Я получил из рук горничной стакан чаю и уселся читать дело, которое завтра начиналось у нас в суде и представляло для меня немало трудностей.

Занятие это увлекло меня далеко за полночь, а жена моя с братом возвратились в два часа и оба превеселые. Жена говорит мне:

– Не хочешь ли холодного ростбифа и стакан воды с вином? а мы у Васильевых ужинали.

– Нет, – говорю, – покорно благодарю.

– Николай Иванович расщедрился и отлично нас покормил.

– Вот как!

– Да – мы превесело провели время и шампанское пили.

– Счастливицы! – говорю, а сам думаю: «Значит, эта бестия, Николай Иванович, сразу раскусил, что за теленок мой брат, и дал ему пошла не даром. Теперь он его будет ласкать, пока там жениховский рученец кончится, а потом – быть бычку на обрывочку».

А чувства мои против жены снова озлобились, и я не стал просить у нее прощенья в своей невинности. И даже если бы я был свободен и имел досуг вникать во все перипетии затеянной ими любовной игры, то не удивительно было б, что я снова не вытерпел бы – во что-нибудь вменялся, и мы дошли бы до какой-нибудь психозы; но, по счастью, мне было некогда. Дело, о котором я вам говорил, заняло нас на суде так, что мы с ним не чаяли освободиться и к празднику, а потому я домой являлся только поесть да выспаться, а все дни и часть ночей проводил пред алтарем Фемиды.

А дома у меня дела не ждали, и когда я под самый сочельник явился под свой кров, до-

вольный тем, что освободился от судебных занятий меня встретили тем, что пригласили осмотреть роскошную корзину с дорогими подарками, подносимыми Машеньке моим братом.

– Это что же такое?

– А это дары жениха невесте, – объяснила мне моя жена.

– Ага! так вот уже как! Поздравляю.

– Как же! Твой брат не хотел делать формального предложения, не переговорив еще раз с тобою, но он спешит своей свадьбой, а ты, как назло, сидел все в своем противном суде. Ждать было невозможно, и они помолвлены.

– Да и прекрасно, – говорю, – незачем было меня и ждать.

– Ты, кажется, остришь?

– Нисколько я не острою.

– Или иронизируешь?

– И не иронизирую.

– Да это было бы и напрасно, потому что, несмотря на все твое карканье, они будут пре-счастливы.

– Конечно, – говорю, – уж если ты ручаешь-

ся, то будут... Есть такая пословица: «Кто думает три дни, тот выберет злыдни». Не выбирать – вернее.

– А что же, – отвечает моя жена, закрывая корзинку с дарами, – ведь это вы думаете, будто вы нас выбираете, а в существе ведь все это вздор.

– Почему же это вздор? Надеюсь, не девушки выбирают женихов, а женихи к девушкам сватаются.

– Да, сватаются – это правда, но выбора, как осмотрительного или рассудительного дела, никогда не бывает.

Я покачал головою и говорю:

– Ты бы подумала о том, что ты такое говоришь. Я вот тебя, например, выбрал – именно из уважения к тебе и сознавая твои достоинства.

– И врешь.

– Как вру?!

– Врешь – потому что ты выбрал меня совсем не за достоинства.

– А за что же?

– За то, что я тебе понравилась.

– Как, ты даже отрицаешь в себе достоин-

ства?

– Нимало – достоинства во мне есть, а ты все-таки на мне не женился бы, если бы я тебе не понравилась.

Я чувствовал, что она говорит правду.

– Однако же, – говорю, – я целый год ждал и ходил к вам в дом. Для чего же я это делал?

– Чтобы смотреть на меня.

– Неправда – я изучал твой характер.

Жена расхохоталась.

– Что за пустой смех!

– Нисколько не пустой. Ты ничего, мой друг, во мне не изучал, и изучать не мог.

– Это почему?

– Сказать?

– Сделай милость, скажи!

– Потому, что ты был в меня влюблен.

– Пусть так, но это мне не мешало видеть твои душевные свойства.

– Мешало.

– Нет, не мешало.

– Мешало, и всегда всякому будет мешать, а потому это долгое изучение и бесполезно. Вы думаете, что, влюбившись в женщину, вы на нее *смотрите с рассуждением*, а на самом

деле вы только *глазеете с воображением*.

– Ну... однако, – говорю, – ты уж это как-то... очень реально.

А сам думаю: «Ведь это правда!»

А жена говорит:

– Полно думать, – худа не вышло, а теперь переодевайся скорее и поедem к Машеньке: мы сегодня у них встречаем Рождество, и ты должен принести ей и брату свое поздравление.

– Очень рад, – говорю. И поехали.

Глава четвертая

Там было подношение даров и принесение поздравлений, и все мы порядочно упились веселым нектаром Шампани.

Думать и разговаривать или отговаривать было уже некогда. Оставалось только поддерживать во всех веру в счастье, ожидающее обрученных, и пить шампанское. В этом и проходили дни и ночи то у нас, то у родителей невесты.

В этакom настроении долго ли время тянется?

Не успели мы оглянуться, как уже налетел

и канун Нового года. Ожидания радостей усиливаются. Свет целый желает радостей, – и мы от людей не отстали. Встретили мы Новый год опять у Маменькиных родных с таким, как деды наши говорили, «мочимордием», что оправдали дедовское речение: «Руси есть веселие пити». Одно было не в порядке. Машенькин отец о приданом молчал, но зато сделал дочери престранный и, как потом я понял, совершенно непозволительный и зловещий подарок. Он сам надел на нее при всех за ужином богатое жемчужное ожерелье... Мы, мужчины, взглянув на эту вещь, даже подумали очень хорошо.

«Ого-го, мол, сколько это должно стоить? Вероятно, такая штучка припасена с оных давних, благих дней, когда богатые люди из знати еще в ломбарды вещей не посылали, а при большой нужде в деньгах охотнее вверяли свои ценности тайным ростовщикам вроде Машенькиного отца».

Жемчуг крупный, окатистый и чрезвычай-но живой. Притом ожерелье сделано в старом вкусе, что называлось рефидью, ряснами, – назади начато небольшим, но самым скат-

ным кафимским зерном, а потом все крупней и крупнее бурмицкое, и, наконец, что далее книзу, то пошли как бобы, и в самой середине три черные перла поражающей величины и самого лучшего блеска. Прекрасный, ценный дар совсем затмевал сконфуженные перед ним дары моего брата. Словом сказать – мы, грубые мужчины, все находили отцовский подарок Машеньке прекрасным, и нам понравилось также и слово, произнесенное стариком при подаче ожерелья. Отец Машеньки, подав ей эту драгоценность, сказал: «Вот тебе, доченька, штучка с наговором: ее никогда ни тля не истлит, ни вор не украдет, а если и украдет, то не обрадуется. Это – вечное».

Но у женщин ведь на всё свои точки зрения, и Машенька, получив ожерелье, заплакала, а жена моя не выдержала и, улучив удобную минуту, даже сделала Николаю Ивановичу у окна выговор, который он по праву родства выслушал. Выговор ему за подарок жемчуга следовал потому, что жемчуг знаменует и предвещает слезы. А потому жемчуг никогда для новогодних подарков не употребляется.

Николай Иванович, впрочем, ловко отшутился.

– Это, – говорит, – во-первых, пустые пред-
рассудки, и если кто-нибудь может подарить
мне жемчужину, которую княгиня Юсупова
купила у Горгубуса, то я ее сейчас возьму. Я,
сударыня, тоже в свое время эти тонкости
проходил, и знаю, чего нельзя дарить. Девуш-
ке нельзя дарить бирюзы, потому что бирюза,
по понятиям персов, есть кости людей, умер-
ших от любви, а замужним дамам нельзя да-
рить аметиста avec flèches d'Amour [2], но тем
не мене я пробовал дарить такие аметисты, и
дамы брали...

Моя жена улыбнулась. А он говорит:

– Я и вам попробую подарить. А что касает-
ся жемчуга то надо знать, что жемчуг жемчу-
гу рознь. Не всякий жемчуг добывается со
слезами. Есть жемчуг персидский, есть из
Красного моря, а есть перлы из тихих вод –
d'eau douce [3], тот без слезы берут. Сентимен-
тальная Мария Стюарт только такой и носила
perle d'eau douce, из шотландских рек, но он
ей не принес счастья. Я знаю, что надо да-
рить, – то я и дарю моей дочери, а вы ее пугаете...

те. За это я вам не подарю ничего avec flèches d'Amour, а подарю вам хладнокровный «лунный камень». Но ты, мое дитя, не плачь и выбрось из головы, что мой жемчуг приносит слезы. Это не такой. Я тебе на другой день твоей свадьбы открою тайну этого жемчуга, и ты увидишь, что тебе никаких предрассудков бояться нечего...

Так это и успокоилось, и брата с Машенькой после крещения перевенчали, а на следующий день мы с женою поехали навестить молодых.

Глава пятая

Мы застали их вставшими и в необыкновенно веселом расположении духа. Брат сам открыл нам двери помещения, взятого им для себя, ко дню свадьбы, в гостинице, встретил нас весь сияя и покатываясь со смеху.

Мне это напомнило один старый роман, где новобрачный сошел с ума от счастья, и я это брату заметил, а он отвечает:

— А что ты думаешь, ведь со мною в самом деле произошел такой случай, что возможно

своему уму не верить. Семейная жизнь моя, начавшаяся сегодняшним днем, принесла мне не только ожидаемые радости от моей милой жены, но также неожиданное благополучие от тестя.

– Что же такое еще с тобою случилось?

– А вот входите, я вам расскажу.

Жена мне шепчет:

Верно, старый негодяй их надул.

Я отвечаю:

– Это не мое дело.

Входим, а брат подает нам открытое письмо, полученное на их имя рано по городской почте, и в письме читаем следующее:

«Предрассудок насчет жемчуга ничем вам угрожать не может: этот жемчуг *фальшивый*».

Жена моя так и села.

– Вот, – говорит, – негодяй!

Но брат ей показал головою в ту сторону, где Машенька делала в спальне свой туалет, и говорит:

– Ты неправа: старик поступил очень честно. Я получил это письмо, прочел его и рассмеялся... Что же мне тут печального? я ведь приданого не искал и не просил, я искал одну

жену, стало быть мне никакого огорчения в том нет, что жемчуг в ожерелье не настоящий, а фальшивый. Пусть это ожерелье стоит не тридцать тысяч, а просто триста рублей, – не все ли равно для меня, лишь бы жена моя была счастлива... Одно только меня озабочивало, как это сообщить Маше? Над этим я задумался и сел, оборотясь лицом к окну, а того не заметил, что дверь забыл запереть. Через несколько минут оборачиваюсь и вдруг вижу, что у меня за спиной стоит тесть и держит что-то в руке в платочке.

«Здравствуй, – говорит, – зятюшка!»

Я вскочил, обнял его и говорю:

«Вот это мило! мы должны были к вам через час ехать, а вы сами... Это против всех обычаев... мило и дорого».

«Ну что, – отвечает, – за счеты! Мы свои. Я был у обедни, – помолился за вас и вот про свирю вам привез».

Я его опять обнял и поцеловал.

«А ты письмо мое получил?» – спрашивает.

«Как же, – говорю, – получил».

И я сам рассмеялся.

Он смотрит.

«Чего же, – говорит, – ты смеешься?»

«А что же мне делать? Это очень забавно».

«Забавно?»

«Да как же».

«А ты подай-ка мне жемчуг».

Ожерелье лежало тут же на столе в футляре, – я его и подал.

«Есть у тебя увеличительное стекло?»

Я говорю: «Нет».

«Если так, то у меня есть. Я по старой привычке всегда его при себе имею. Изволь смотреть на замок под собачку».

«Для чего мне смотреть?»

«Нет, ты посмотри. Ты, может быть, думаешь, что я тебя обманул».

«Вовсе не думаю».

«Нет – смотри, смотри!»

Я взял стекло и вижу – на замке, на самом скрытном месте микроскопическая надпись французскими буквами: «Бургильон.»

«Убедился, – говорит, – что это действительно жемчуг *фальшивый?*»

«Вижу».

«И что же ты мне теперь скажешь?»

«То же самое, что и прежде. То есть: это до

меня не касается, и вас только буду об одном просить...»

«Проси, проси!»

«Позвольте не говорить об этом Маше».

«Это для чего?»

«Так...»

«Нет, в каких именно целях? Ты не хочешь ее огорчить?»

«Да – это между прочим».

«А еще что?»

«А еще то, что я не хочу, чтобы в ее сердце хоть что-нибудь шевельнулось против отца».

«Против отца?»

«Да».

«Ну, для отца она теперь уже отрезанный ломоть, который к караваю не пристанет, а ей главное – муж...»

«Никогда, – говорю, – сердце не заезжий двор: в нем тесно не бывает. К отцу одна любовь, а к мужу – другая, и кроме того... муж, который желает быть счастливым, обязан заботиться, чтобы он мог уважать свою жену, а для этого он должен беречь ее любовь и почитание к родителям».

«Ага! Вот ты какой практик!»

И стал молча пальцами по табуретке барабанить, а потом встал и говорит:

«И, любезный зять, наживал состояние своими трудами, но очень разными средствами. С высокой точки зрения они, может быть, не все очень похвальны, но такое мое время, было, да я и не умел наживать иначе. В людей я не очень верю, и про любовь только в романах слыхал, как читают, а на деле я все видел, что все денег хотят. Двум зятьям я денег не дал, и вышло верно: они на меня злы и жен своих ко мне не пускают. Не знаю, кто из нас благороднее – они или я? Я денег им не даю, а они живые сердца портят. А я им денег не дам, а вот тебе возьму да и дам! Да! И вот, даже сейчас дам!»

И вот извольте смотреть!

Брат показал нам три билета по пятидесяти тысяч рублей.

– Неужели, – говорю, – все это твоей жене?

– Нет, – отвечает, – он Маше дал пятьдесят тысяч, а я ему говорю:

«Знаете, Николай Иванович, – это будет щекотливо... Маше будет неловко, что она получит от вас приданое, а сестры ее – нет... Это

непременно вызовет у сестер к ней зависть и неприязнь... Нет, бог с ними, – оставьте у себя эти деньги и... когда-нибудь, когда благоприятный случай примирит вас с другими дочерьми, тогда вы дадите всем поровну. И вот тогда это принесет всем нам радость... А одним нам... *не надо!*»

Он опять встал, опять прошелся по комнате и, остановясь против двери спальни, крикнул:

«Марья!»

Маша уже была в пеньюаре и вышла.

«Поздравляю, – говорит, – тебя».

Она поцеловала его руку.

«А счастлива быть хочешь?»

«Конечно, хочу, папа, и... надеюсь».

«Хорошо... Ты себе, брат, хорошего мужа выбрала!»

«Я, папа, не выбирала. Мне его бог дал».

«Хорошо, хорошо. Бог дал, а я *придам*: я тебе хочу прибавить счастья. – Вот три билета, все равные. Один тебе, а два твоим сестрам. Раздай им сама – скажи, что *ты даришь ...*»

«Папа!»

Маша бросилась ему сначала на шею, а по-

том вдруг опустилась на землю и обняла, радостно плача, его колена. Смотрю – и он заплакал.

«Встань, встань! – говорит. – Ты нынче, по народному слову, „княгиня“ – тебе неприлично в землю мне кланяться».

«Но я так счастлива... за сестер!..»

«То-то и есть... И я счастлив!.. Теперь можешь видеть, что нечего тебе было бояться жемчужного ожерелья.

Я пришел тебе тайну открыть: подаренный мною тебе *жемчуг – фальшивый*, меня им давно сердечный приятель надул, да ведь какой, – не простой, а слитый из Рюриковичей и Гедиминовичей. А вот у тебя муж простой души, да *истинной*: такого надуть невозможно – душа не стерпит!»

– Вот вам весь мой рассказ, – заключил собеседник, – и я, право, думаю, что, несмотря на его современное происхождение и на его невымышленность, он отвечает и программе и форме традиционного святочного рассказа.

Впервые опубликовано – журнал «Новь», 1885.

Неразменный рубль

Глава первая

Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль, т. е. такой рубль, который, сколько раз его ни выдавай, он все-таки опять является целым в кармане. Но для того, чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех их я не помню, но знаю, что, между прочим, надо взять черную без единой отметины кошку и нести ее продавать рождественскою ночью на перекресток четырех дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу.

Здесь надо стать, пожать кошку по сильнее, так, чтобы она *замяукала*, и зажмурить глаза. Все это надо сделать за несколько минут перед полночью, а в самую полночь придет кто-то и станет торговать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег, но продавец должен требовать непременно только *рубль*, – ни больше, ни

меньше как один серебряный рубль. Покупщик будет навязывать более, но надо настойчиво требовать рубль, и когда, наконец, этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный, — то есть сколько ни отдавайте его в уплату за что-нибудь, — он все-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, сто рублей, надо только сто раз опустить руку в карман и оттуда всякий раз вынуть рубль.

Конечно, это поверье пустое и недостаточное; но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил.

Глава вторая

Раз, во времена моего детства, няня, укладывавая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рядятся, ворожат и, между прочим, добывают себе «неразменный рубль». Она распространилась на тот счет, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу встретиться с дьяволом на далеком распутье и торговаться с ним за черную кошку; но зато их ждут и самые большие радости... Сколько можно накопить прекрасных вещей за беспереводный рубль! Что бы я наделал, если бы мне попался такой рубль! Мне тогда было всего лет восемь, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку.

Я знал, что на свете бывают пряники желтые, с патокою, и белые пряники – с мятой, бывают столбики и сосульки, бывает такое

лакомство, которое называется «резь», или лапша, или еще проще – «шмотья», бывают орехи простые и каленые; а для богатого кармана привозят и изюм, и финики. Кроме того, я видал картины с генералами и множество других вещей, которых я не мог купить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не беспереводный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будет иначе, потому что беспереводный рубль есть у моей бабушки и она решила подарить его мне, но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что он имеет одно волшебное, очень капризное свойство.

– Какое? – спросил я.

– А это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра, как проснешься, бабушка принесет тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться.

Обольщенный этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно.

Глава третья

Няня не обманула: ночь пролетела как краткое мгновение, которого я и не заметил, и бабушка уже стояла над моею кроваткою в своем большом чепце с рюшевыми мармотками и держала в своих белых руках новенькую, чистую серебряную монету, отбитую в самом полном и превосходном калибре.

– Ну, вот тебе беспереводный рубль, – сказала она. Бери его и поезжай в церковь. После обедни мы, старики, зайдем к батюшке, отцу Василию, пить чай, а ты один, – совершенно один, – можешь идти на ярмарку и покупать все, что ты сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль, а он опять очутится в твоём же кармане.

– Да, говорю, – я уже все знаю.

А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. А бабушка продолжает:

– Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свойство, – его также нельзя и потерять; но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное: неразменный рубль не пе-

реведется в твоём кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные или полезные, но раз, что ты изведешь хоть один грош на полную бесполезность – твой рубль в то же мгновение исчезнет.

– О, – говорю, – бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это сказали; но поверьте, я уж не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно.

Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомневается; но я ее уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении.

– Прекрасно, – сказала бабушка, – но, однако, ты все-таки хорошенько помни, что я тебе сказала.

– Будьте покойны. Вы увидите, что я приду к отцу Василию и принесу на загляденье прекрасные покупки, а рубль мой будет цел у меня в кармане.

– Очень рада, – посмотрим. Но ты все-таки не будь самонадеян: помни, что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так легко, как ты думаешь.

– В таком случае не можете ли вы походить со мною по ярмарке?

Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет или остановить меня от увлечения и ошибки, потому что тот, кто владеет беспереводным рублем, не может ни от кого ожидать советов, а должен руководиться своим умом.

– О, моя милая бабушка, – отвечал я, – вам и не будет надобности давать мне советы, – я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в ваших глазах все, что мне нужно.

– В таком разе идем, – и бабушка послала девушку сказать отцу Василию, что она придет к нему попозже, а пока мы отправились с нею на ярмарку.

Глава четвертая

Погода была хорошая, – умеренный морозец, с маленькой влажностью; в воздухе пахло крестьянской белой онучею, лыком, пшеном и овчиной. Народу много, и все разодеты в том, что у кого есть лучшего. Мальчишки из богатых семей все получили от отцов на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глиняных свистулек, на которых задавали самый бедовый концерт. Бедные ребяташки, которым грошей не давали, стояли под плетнем и только завистливо облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всей душою в общей гармонии, и... я посмотрел на бабушку...

Глиняные свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны, но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего порицания моему намерению купить всем бедным детям по свистульке. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение: я сей-

час же опустил мою руку в карман, достал оттуда мой неразменный рубль и купил целую коробку свистулек, да еще мне подали с него несколько сдачи. Опуская сдачу в карман, я ощущал рукою, что мой неразменный рубль целехонек и уже опять лежит там, как было до покупки. А между тем все ребятишки получили по свистульке, и самые бедные из них вдруг сделались так же счастливы, как и богатые, и засвистали во всю свою силу, а мы с бабушкой пошли дальше, и она мне сказала:

– Ты поступил хорошо, потому что бедным детям надо играть и резвиться, и кто может сделать им какую-нибудь радость, тот напрасно не спешит воспользоваться своею возможностью. И в доказательство, что я права, опусти еще раз свою руку в карман попробуй, где твой неразменный рубль?

Я опустил руку и... мой неразменный рубль был в моем кармане.

– Ага, – подумал я, – теперь я уже понял, в чем дело, и могу действовать смелее.

Глава пятая

Я подошел к лавочке, где были ситцы и платки, и купил всем нашим девушкам по платью, кому розовое, кому голубое, а старушкам по малиновому головному платку; и каждый раз, что я опускал руку в карман, чтобы заплатить деньги, – мой неразменный рубль все был на своем месте. Потом я купил для ключницыной дочки, которая должна была выйти замуж, две сердоликовые запонки и, признаться, сробел; но бабушка по-прежнему смотрела хорошо, и мой рубль после этой покупки благополучно оказался в моем кармане.

– Невесте идет принарядиться, – сказала бабушка: – это памятный день в жизни каждой девушки, и это очень похвально, чтобы ее обрадовать, – от радости всякий человек бодрее выступает на новый путь жизни, а от первого шага много зависит. Ты сделал очень хорошо, что обрадовал бедную невесту.

Потом я купил и себе очень много сластей и орехов, а в другой лавке взял большую книгу «Псалтирь», такую точно, какая лежала на

столе у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имела несчастье придтись по вкусу племенному теленку, который жил в одной избе со скотницей. Теленок по своему возрасту имел слишком много свободного времени, и занялся тем, что в счастливый час досуга отжевал углы у всех листов «Псалтиря». Бедная старушка была лишена удовольствия читать и петь те псалмы, в которых она находила для себя утешение, и очень об этом скорбела.

Я был уверен, что купить для нее новую книгу вместо старой было не пустое и не излишнее дело, и это именно так и было: когда я опустил руку в карман, рубль был снова на своем месте.

Я стал покупать шире и больше, – я брал все, что по моим соображениям, было нужно, и накупил даже вещи слишком рискованные, – так, например, нашему молодому кучеру Константину я купил наборный поясной ремень, а веселому башмачнику Егорке – гармонию. Рубль, однако, все был дома, а на лицо бабушки я уж не смотрел и не допрашивал ее выразительных взоров. Я сам был центр

всего, – на меня все смотрели, за мною все шли, обо мне говорили.

– Смотрите, каков наш барчук Миколаша! Он один может скупить целую ярмарку, у него, знать, есть неразменный рубль.

И я почувствовал в себе что-то новое и до тех пор незнакомое. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали, все за мною ходили и все обо мне говорили – как я умен, богат и добр.

Мне стало беспокойно и скучно.

Глава шестая

А в это самое время, – откуда ни возьмись, – ко мне подошел самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв картуз, стал говорить:

– Я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С ним не штука удивлять весь приход, но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этот рубль не можете купить.

– Да, если эта будет вещь ненужная, – так я ее, разумеется, не куплю.

– Как это «ненужная»? Я вам не стал бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите внимание на то, кто окружает нас с вами, несмотря на то, что у вас есть неразменный рубль. Вот вы себе купили только сластей да орехов, а то вы все покупали полезные вещи для других, но вон как эти другие помнят ваши благодеяния: вас уж теперь все позабыли.

Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему удивлению, увидел, что мы с пузатым купцом стоим, действительно, только вдвоем, а вокруг нас ровно никого нет. Бабушки тоже не было, да я о ней и забыл, а вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то длинного, сухого человека, у которого поверх полубубка был надет длинный полосатый жилет, а на нем нашиты стекловидные пуговицы, от которых, когда он поворачивался из стороны в сторону, исходило слабое, тусклое блистание.

Это было все, что длинный, сухой человек имел в себе привлекательного, и, однако, за ним все шли и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы.

Я ничего не вижу в этом хорошего, – сказал я моему новому спутнику.

– Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите, – за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским ремнем, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с ее новою книжкой. А о ребятишках с свистульками уже и говорить нечего.

Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружали человека с стекло-видными пуговицами, и все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу.

Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось все это ужасно обидно, и я почувствовал долг и призвание стать выше человека со стекляшками.

– И вы думаете, что я не могу сделаться больше его?

– Да, я это думаю, – отвечал пузан.

– Ну, так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь! – воскликнул я и, быстро подбежав к человеку в жилете поверх полушубка, сказал:

– Послушайте, не хотите ли вы продать

мне ваш жилет?

Глава седьмая

Человек со стекляшками повернулся перед солнцем так, что пуговицы на его жилете издали тусклое блистание, и отвечал:

– Извольте, я вам его продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит.

– Прошу вас не беспокоиться и скорее сказать, мне вашу цену за жилет.

Он очень лукаво улыбнулся и молвил:

– Однако вы, я вижу, очень неопытны, как и следует быть в вашем возрасте, – вы не понимаете, в чем дело. Мой жилет ровно ничего не стоит, потому что он не светит и не греет, и потому я его отдаю вам даром, но вы мне заплатите по рублю за каждую нашитую на нем стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы хотя тоже не светят и не греют, но они могут немножко блеснуть на минутку, и это всем очень нравится.

– Прекрасно, – отвечал я, – я даю вам по рублю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорей ваш жилет.

– Нет, прежде извольте отсчитать деньги.

– Хорошо.

Я опустил руку в карман и достал оттуда один рубль, потом снова опустил руку во второй раз, но... карман мой был пуст... Мой неразменный рубль уже не возвратился... он пропал... он исчез... его не было, и на меня все смотрели и смеялись.

Я горько заплакал и... проснулся...

Глава восьмая

Было утро; у моей кровати стояла бабушка, в ее большом белом чепце с рюшевыми мармотками, и держала в руке новенький серебряный рубль, составлявший обыкновенный рождественский подарок, который она мне дарила.

Я понял, что все виденное мною происходило не наяву, а во сне, и поспешил рассказать, о чем я плакал.

– Что же, – сказала бабушка, – сон твой хорош, – особенно если ты захочешь понять его, как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый затаенный смысл. *Неразменный рубль* – по-моему, это талант, который

Провидение дает человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутии четырех дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль – это есть сила, которая может служить истине и добродетели, на пользу людям, в чем для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольствие. Все, что он сделает для истинного счастья своих ближних, никогда не убавит его духовного богатства, а напротив – чем он более черпает из своей души, тем она становится богаче. Человек в жилетке сверх тепло-го полушубка – есть *суета*, потому что жилет сверх полушубка *не нужен*, как не нужно и то, чтобы за нами ходили и нас прославляли. Суета затемняет ум. Сделавши кое-что – очень немного в сравнении с тем, что бы ты мог еще сделать, владея безрасходным рублем, ты уже стал гордиться собою и отвернулся от меня, которая для тебя в твоём сне изображала опыт жизни. Ты начал уже хлопотать не о добре для других, а о том, чтобы все на тебя глядели и тебя хвалили. Ты захотел иметь ни

на что ненужные стеклышки, и – рубль твой растаял. Этому и следовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне. Я очень бы желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедем в церковь и после обедни купим все то, что ты покупал для бедных людей в твоём сновидении.

– Кроме одного, моя дорогая.

Бабушка улыбнулась и сказала:

– Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета со стекловидными пуговицами.

– Нет, я не куплю также и лакомств, которые я покупал во сне для самого себя.

Бабушка подумала и сказала:

– Я не вижу нужды, чтобы ты лишил себя этого маленького удовольствия, но... если ты желаешь за это получить гораздо большее счастье, то... я тебя понимаю.

И вдруг мы с нею оба обнялись и, ничего более не говоря друг другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел все мои маленькие деньги извести в этот день *не для себя*. И когда это мною было сделано, то сердце исполнилось такою радостью, какой я не испы-

тывал до того еще ни одного раза. В этом лишении себя маленьких удовольствий для пользы других я впервые испытал то, что люди называют увлекательным словом – *полное счастье*, при котором ничего больше не хочешь.

Каждый может испробовать сделать в своем нынешнем положении мой опыт, и я уверен, что он найдет в словах моих не ложь, а истинную правду.

Впервые опубликовано – журнал «Задушевное слово», 1883.

Зверь

*И звери внимаху святое слово.
Житие старца Серафима*

Глава первая

Отец мой был известный в свое время следователь. Ему поручали много важных дел, и потому он часто отлучался от семейства, а дома оставались мать, я и прислуга.

Матушка моя тогда была еще очень молодая, а я – маленький мальчик.

При том случае, о котором я теперь хочу рассказать, мне было всего только пять лет.

Была зима, и очень жестокая. Стояли такие холода, что в хлевах замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на мерзлую землю окоченелые. Отец мой находился об эту пору по служебным обязанностям в Ельце и не обещал приехать домой даже к Рождеству Христову, а потому матушка собралась сама к нему съездить, чтобы не оставить его одиноким в этот прекрасный и радостный праздник. Меня, по случаю ужасных холодов,

мать не взяла с собою в дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, у моей тетки, которая была замужем за одним орловским помещиком, про которого ходила невеселая слава. Он был очень богат, стар и жесток. В характере у него преобладали злобность и неумолимость, и он об этом нимало не сожалел, а напротив, даже щеголял этими качествами, которые, по его мнению, служили будто бы выражением мужественной силы и непреклонной твердости духа.

Такое же мужество и твердость он стремился развить в своих детях, из которых один сын был мне ровесник.

Дядю боялись все, а я всех более, потому что он и во мне хотел «развить мужество», и один раз, когда мне было три года и случилась ужасная гроза, которой я боялся, он выставил меня одного на балкон и запер дверь, чтобы таким уроком отучить меня от страха во время грозы.

Понятно, что я в доме такого хозяина воспитан неохотно и с немалым страхом, но мне, повторяю, тогда было пять лет, и мои желания не принимались в расчет при соображе-

нии обстоятельств, которым приходилось подчиняться.

Глава вторая

В имении дяди был огромный каменный дом, похожий на замок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое двухэтажное здание с круглым куполом и с башнею, о которой рассказывали страшные ужасы. Там когда-то жил сумасшедший отец нынешнего помещика, потом в его комнатах учредили аптеку. Это также почему-то считалось страшным; но всего ужаснее было то, что наверху этой башни, в пустом, изогнутом окне были натянуты струны, то есть была устроена так называемая «Эолова арфа». Когда ветер пробегал по струнам этого своевольного инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны и неистовый гул, как будто сквозь них пролетал целый сонм, пораженный страхом, гонимых духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит что-то такое

здешнему грозному господину и он не смеет ей возражать, но оттого становится еще немилосерднее и жесточе... Было несомненно примечено, что если ночью срывается буря и арфа на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню, то барин в ту ночь не спит и наутро встает мрачный и суровый и отдает какое-нибудь жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов.

В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не изменялось, не только для человека, но даже и для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердия и не любил его, ибо почитал его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше всякого снисхождения. Оттого в доме и во всех обширных деревнях, принадлежащих этому богатому помещику, всегда царила безотрадная унылость, которую с людьми разделяли и звери.

Глава третья

Покойный дядя был страстный любитель псовой охоты. Он ездил с борзыми и травил волков, зайцев и лисиц. Кроме того, в его охоте были особенные собаки, которые брали медведей. Этих собак называли «пьявками». Они впивались в зверя так, что их нельзя было от него оторвать. Случалось, что медведь, в которого впивалась зубами пиявка, убивал ее ударом своей ужасной лапы или разрывал ее пополам, но никогда не бывало, чтобы пиявка отпала от зверя живая.

Теперь, когда на медведей охотятся только облавами или с. рогатиной, порода собак-пьявок, кажется, совсем уже перевелась в России; но в то время, о котором я рассказываю, они были почти при всякой хорошо собранной, большой охоте. Медведей в нашей местности тогда тоже было очень много, и охота за ними составляла большое удовольствие.

Когда случалось овладевать целым медвежьим гнездом, то из берлоги брали и привозили маленьких медвежат. Их обыкновенно

держали в большом каменном сарае с маленькими окнами, сделанными под самой крышей. Окна эти были без стекол, с одними толстыми, железными решетками. Медвежата, бывало, до них вскарабкивались друг по дружке и висели, держась за железо своими цепкими, когтистыми лапами. Только таким образом они и могли выглядывать из своего заключения на вольный свет божий.

Когда нас выводили гулять перед обедом, мы больше всего любили ходить к этому сараю и смотреть на выставившиеся из-за решеток смешные мордочки медвежат. Немецкий гувернер Кольберг умел подавать им на конце палки кусочки хлеба, которые мы припасали для этой цели за своим завтраком.

За медведями смотрел и кормил их молодой доезжачий, по имени Ферапонт; но, как это имя было трудно для простонародного говора, то его произносили «Храпон», или еще чаще «Храпошка». Я его очень хорошо помню: Храпошка был среднего роста, очень ловкий, сильный и смелый парень лет двадцати пяти. Храпон считался красавцем – он был бел, румян, с черными кудрями и с черными же

большими глазами навывкате. К тому же он был необычайно смел. У него была сестра Аннушка, которая состояла в поднянях, и она рассказывала нам презанимательные вещи про смелость своего удалого брата и про его необыкновенную дружбу с медведями, с которыми он зимою и летом спал вместе в их сарае, так что они окружали его со всех сторон и клали на него свои головы, как на подушку.

Перед домом дяди, за широким круглым цветником, окруженным расписною решеткою, были широкие ворота, а против ворот посреди куртины было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое называли «мачта». На вершине этой мачты был прилажен маленький помостик, или, как его называли, «беседочка».

Из числа пленных медвежат всегда отбирали одного «умного», который представлялся наиболее смышленным и благонадежным по характеру. Такого отделяли от прочих собратий, и он жил на воле, то есть ему дозволялось ходить по двору и по парку, но главным образом он должен был содержать караульный пост у столба перед воротами. Тут он и

проводил большую часть своего времени, или лежа на соломе у самой мачты, или же взбирался по ней вверх до «беседки» и здесь сидел или тоже спал, чтобы к нему не приставали ни докучные люди, ни собаки.

Жить такою привольною жизнью могли не все медведи, а только некоторые, особенно умные и кроткие, и то не во всю их жизнь, а пока они не начинали обнаруживать своих зверских, неудобных в общежитии наклонностей то есть пока они вели себя смирно и не трогали ни кур, ни гусей, ни телят, ни человека.

Медведь, который нарушал спокойствие жителей, немедленно же был осуждаем на смерть, и от этого приговора его ничто не могло избавить.

Глава четвертая

Отбирать «смышленного медведя» должен был Храпон. Так как он больше всех обращался с медвежатами и почитался большим знатоком их натуры, то понятно, что он один и мог это делать. Храпон же и отвечал за то, если сделает неудачный выбор, – но он с первого же раза выбрал для этой роли удивительно способного и умного медведя, которому было дано необыкновенное имя: медведей в России вообще зовут «мишками», а этот носил испанскую кличку «Сганарель». Он уже пять лет прожил на свободе и не сделал еще ни одной «шалости». – Когда о медведе говорили, что «он шалит», это значило, что он уже обнаружил свою зверскую натуру каким-нибудь нападением.

Тогда «шалуна» сажали на некоторое время в «яму», которая была устроена на широкой поляне между гумном и лесом, а через некоторое время его выпускали (он сам вылезал *по бревну*) на поляну и тут его травили «молодыми пъявками» (то есть подростками щенками медвежьих собак). Если же щенки

не умели его взять и была опасность, что зверь уйдет в лес, то тогда стоявшие в запасном «секрете» два лучших охотника бросались на него с отборными опытными сворами, и тут делу наставал конец.

Если же эти собаки были так неловки, что медведь мог прорваться «к острову» (то есть к лесу), который соединялся с обширным брянским полесьем, то выдвигался особый стрелок с длинным и тяжелым кухенрейтеровским штуцером и, прицелясь «с сошки», посылал медведю смертельную пулю.

Чтобы медведь когда-либо ушел от всех этих опасностей, такого случая еще никогда не было, да страшно было и подумать, если бы это могло случиться: тогда всех в том виноватых ждали бы смертоносные наказания.

Глава пятая

Ум и солидность Сганареля сделали то, что описанной потехи или медвежьей казни не было уж целые пять лет. В это время Сганарель успел вырасти и сделался большим, матерым медведем, необыкновенной силы, красоты и ловкости. Он отличался круглою, короткою мордою и довольно стройным сложением, благодаря которому напоминал более колоссального грифона или пуделя, чем медведя. Зад у него был суховат и покрыт невысокою лоснящеюся шерстью, но плечи и загорбок были сильно развиты и покрыты длинною и мохнатою растительностью. Умен Сганарель был тоже как пудель и знал некоторые замечательные для зверя его породы приемы: он, например, отлично и легко ходил на двух задних лапах, подвигаясь вперед передом и задом, умел бить в барабан, маршировал с большою палкою, раскрашенною в виде ружья, а также охотно и даже с большим удовольствием таскал с мужиками самые тяжелые кули на мельницу и с своеобразным шиком пресмешно надевал себе на голову высо-

кую мужичью островерхую шляпу с павлиньим пером или с соломенным пучком вроде султана.

Но пришла роковая пора – звериная натура взяла свое и над Сганарелем. Незадолго перед моим прибытием в дом дяди тихий Сганарель вдруг провинился сразу несколькими винами, из которых притом одна была другой тяжче.

Программа преступных действий у Сганареля была та же самая, как и у всех прочих: для первоуценки он взял и оторвал крыло гуся; потом положил лапу на спину бежавшему за маткою жеребенку и переломил ему спину; а наконец: ему не понравились слепой старик и его поводырь, и Сганарель принялся катать их по снегу, причем пооттоптал им руки и ноги.

Слепца с его поводырем взяли в больницу, а Сганареля велели Храпону отвести и посадить в яму, откуда был только один выход – *на казнь ...*

Анна, раздевая вечером меня и такого же маленького в то время моего двоюродного брата, рассказала нам, что при отводе Сгана-

реля в яму, в которой он должен был ожидать смертной казни, произошли очень большие трогательности. Храпон не продергивал в губу Сганареля «больнички», или кольца, и не употреблял против него ни малейшего насилия, а только сказал:

– Пойдем, зверь, со мною.

Медведь встал и пошел, да еще что было смешно – взял свою шляпу с соломенным султаном и всю дорогу до ямы шел с Храпоном обнявшись, точно два друга.

Они таки и были друзья.

Глава шестая

Храпону было очень жаль Сганареля, но он ему ничем пособить не мог. – Напоминаю, что там, где это происходило, никому никогда никакая провинность не прощалась, и скомпрометировавший себя Сганарель непременно должен был заплатить за свои увлечения лютой смертью.

Травля его назначалась как послеобеденное развлечение для гостей, которые обыкновенно съезжались к дяде на Рождество. Приказ об этом был уже отдан на охоте в то же са-

мое время, когда Храпону было велено отвести виновного Сганареля и посадить его в яму.

Глава седьмая

В яму медведей сажали довольно просто. Люк, или творило ямы, обыкновенно закрывали легким хворостом, накиданным на хрупкие жерди, и посыпали эту покрывку снегом. Это было маскировано так, что медведь не мог заметить устроенной ему предательской ловушки. Покорного зверя подвели к этому месту и заставляли идти вперед. Он делал шаг или два и неожиданно проваливался в глубокую яму, из которой не было никакой возможности выйти. Медведь сидел здесь до тех пор, пока наступало время его травить. Тогда в яму опускали в наклонном положении длинное, аршин семи, бревно, и медведь вылезал по этому бревну наружу. Затем начиналась травля. Если же случалось, что сметливый зверь, предчувствуя беду, не хотел выходить, то его понуждали выходить, беспокоя длинными шестами, на конце которых были острые железные наконечники,

бросали зажженную солому или стреляли в него холостыми зарядами из ружей и пистолетов.

Храпон отвел Сганареля и заключил его под арест по этому же самому способу, но сам вернулся домой очень расстроенный и опечаленный. На свое несчастье, он рассказал своей сестре, как зверь шел с ним «ласково» и как он, провалившись сквозь хворост в яму, сел там на днище и, сложив передние лапы, как руки, застонал, точно заплакал.

Храпон открыл Анне, что он бежал от этой ямы бегом, чтобы не слышать жалостных стонов Сганареля, потому что стоны эти были мучительны и невыносимы для его сердца.

– Слава богу, – добавил он, – что не мне, а другим людям велено в него стрелять, если он уходить станет. А если бы мне то было приказано, то я лучше бы сам всякие муки принял, но в него ни за что бы не выстрелил.

Глава восьмая

Анна рассказала это нам, а мы рассказали Гувернеру Кольбергу, а Кольберг, желая чем-нибудь позанять дядю, передал ему. Тот это выслушал и сказал: «Молодец Храпошка», а потом хлопнул три раза в ладоши.

Это значило, что дядя требует к себе своего камердинера Устина Петровича, старичка из пленных французов двенадцатого года.

Устин Петрович, иначе Жюстин, явился в своем чистеньком лиловом фрачке с серебряными пуговицами, и дядя отдал ему приказание, чтобы к завтрашней «садке», или охоте на Сганареля, стрелками в секретах были посажены Флегонт – известнейший стрелок, который всегда бил без промаха, а другой Храпошка. Дядя, очевидно, хотел позабавиться над затруднительною борьбою чувств бедного парня. Если же он не выстрелит в Сганареля или нарочно промахнется, то ему, конечно, тяжело достанется, а Сганареля убьет вторым выстрелом Флегонт, который никогда не дает промаха.

Устин поклонился и ушел передавать при-

казание, а мы, дети, сообразили, что мы наделали беды и что во всем этом есть что-то ужасно тяжелое, так что бог знает, как это и кончится. После этого нас не занимали по достоинству ни вкусный рождественский ужин, который справлялся «при звезде», за один раз с обедом, ни приехавшие на ночь гости, из которых с некоторыми дети.

Нам было жаль Сганареля, жаль и Ферапонта, и мы даже не могли себе решить, кого из них двух мы больше жалеем.

Оба мы, то есть я и мой ровесник – двоюродный брат, долго ворочались в своих кроватках. Оба мы заснули поздно, спали дурно и вскрикивали, потому что нам обоим представлялся медведь. А когда няня нас успокоила, что медведя бояться уже нечего, потому что он теперь сидит в яме, а завтра его убьют, то мною овладевала еще большая тревога.

Я даже просил у няни вразумления: нельзя ли молиться за Сганареля? Но такой вопрос был выше религиозных соображений старушки, и она, позевывая и крестя рот рукою, отвечала, что наверно она об этом ничего не знает, так как ни разу о том у священника не

спрашивала, но что, однако, медведь – тоже божие создание, и он плавал с Ноем в ковчеге.

Мне показалось, что напоминание о плавание в ковчеге вело как будто к тому, что беспредельное милосердие Божие может быть распространено не на одних людей, а также и на прочие божьи создания, и я с детской верою стал в моей кровати на колени и, припав к подушке, просил величие божие не оскорбиться моею жаркою просьбою и пощадить Сганареля.

Глава девятая

Наступил день Рождества. Все мы были одеты в праздничном и вышли с гувернерами и боннами к чаю. В зале кроме множества родных и гостей, стояло духовенство: священник, дьякон и два дьячка.

Когда вошел дядя, причт запел «Христос рождается». Потом был чай, потом вскоре же маленький завтрак и в два часа ранний праздничный обед. Тотчас же после обеда назначено было отправляться травить Сганареля. – Медлить было нельзя, потому что в эту

пору рано темнеет, а в темноте травля невозможна и медведь может легко скрыться из вида.

Исполнилось все так, как было назначено. Нас прямо из-за стола повели одевать, чтобы везти на травлю Сганареля. Надели наши заячьи шубки и лохматые, с круглыми подошвами, сапоги, вязанные из козьей шерсти, и повели усаживать в сани. А у подъездов с той и другой стороны дома уже стояло множество длинных больших троечных саней, покрытых узорчатыми коврами, и тут же два стреленных держали под уздцы дядину верховую английскую рыжую лошадь, по имени Щеголиху.

Дядя вышел в лисьем архалуке и в лисьей остроконечной шапке, и как только он сел в седло, покрытое черною медвежьей шкурою с пахвами и паперсями, украшенными бирюзой и «змеиными головками», весь наш огромный поезд тронулся, а через десять или пятнадцать минут мы уже приехали на место травли и выстроились полукругом. Все сани были расположены полуоборотом к обширному, ровному, покрытому снегом полю, которое

было окружено цепью верховых охотников и вдали замыкалось лесом.

У самого леса были сделаны секреты или тайники за кустами, и там должны были находиться Флегонт и Храпошка.

Тайников этих не было видно, и некоторые указывали только на едва заметные «сошки», с которых один из стрелков должен был прицелиться и выстрелить в Сганареля.

Яма, где сидел медведь, тоже была незаметна, и мы поневоле рассматривали красивых вершников, у которых за плечом было разнообразное, но красивое вооружение: были шведские Штраубсы, немецкие Моргенраты, английские Мортимеры и варшавские Колеты.

Дядя стоял верхом впереди цепи. Ему подали в руки свору от двух сомкнутых злейших «пьявок», а перед ним положили у орчака на вальтрап белый платок.

Молодые собаки, для практики которых осужден был умереть провинившийся Сганарель, были в огромном числе и все вели себя крайне самонадеянно, обнаруживая пылкое нетерпение и недостаток выдержки. Они виз-

жали, лаяли, прыгали и путались на сворах вокруг коней, на которых сидели доезжачие, а те беспрестанно хлопали арапниками, чтобы привести молодых, не помнивших себя от нетерпения псов к повиновению. Все это кипело желанием броситься на зверя, близкое присутствие которого собаки, конечно, открыли своим острым природным чутьем.

Настало время вынуть Сганареля из ямы и пустить его на растерзание!

Дядя махнул положенным на его вальтрап белым платком и сказал: «Делай!»

Глава десятая

Из кучки охотников, составлявших главный штаб дяди, выделилось человек десять и пошли вперед через поле.

Отойдя шагов двести, они остановились и начали поднимать из снега длинное, не очень толстое бревно, которое до сей поры нам издалека нельзя было видеть.

Это происходило как раз у самой ямы, где сидел Сганарель, но она тоже с нашей далекой позиции была незаметна.

Дерево подняли и сейчас же спустили од-

ним концом в яму. Оно было спущено с таким пологим уклоном, что зверь без затруднения мог выйти по нем, как по лестнице.

Другой конец бревна опирался на край ямы и торчал из нее на аршин.

Все глаза были устремлены на эту предварительную операцию, которая приближала к самому любопытному моменту. Ожидали, что Станарель сейчас же должен был показаться наружу; но он, очевидно, понимал в чем дело и ни за что не шел.

Началось гонянье его в яме снежными комьями и шестами с острыми наконечниками, слышался рев, но зверь не шел из ямы. Раздалось несколько холостых выстрелов, направленных прямо в яму, но Станарель только сердитее зарычал, а все-таки по-прежнему не показывался.

Тогда откуда-то из-за цепи вскачь подлетели запряженные в одну лошадь простые навозные дровни, на которых лежала куча сухой ржавой соломы.

Лошадь была высокая, худая, из тех, которых употребляли на ворке для подвоза корма с гуменника, но, несмотря на свою старость и

худобу, она летела, поднявши хвост и нато-порщив гриву. Трудно, однако, было определить: была ли ее теперешняя бодрость остатком прежней молодой удали, или это скорее было порождение страха и отчаяния, внушаемых старому коню близким присутствием медведя? По-видимому, последнее имело более вероятия, потому что лошадь была хорошо взнуздана, кроме железных удил, еще острою бечевкою, которою и были уже в кровь истерзаны ее посеревшие губы. Она и неслась и металась в стороны так отчаянно, что управлявший ею конюх в одно и то же время драл ей кверху голову бечевою, а другою рукою немилосердно стегал ее толстою нагайкою.

Но, как бы там ни было, солома была разделена на три кучи, разом зажжена и разом же с трех сторон скинута, зажженная, в яму. Вне пламени остался только один тот край, к которому было приставлено бревно.

Раздался оглушительный, бешеный рев, как бы смешанный вместе со стоном, но... медведь опять-таки не показывался...

До нашей цепи долетел слух, что Стана-

рель весь «опалился» и что он закрыл глаза лапами и лег вплотную в угол к земле, так что «его не стронуть».

Ворковая лошадь с разрезанными губами понеслась опять вскачь назад... Все думали, что это была посылка за новым привозом соломы. Между зрителями послышался укоризненный говор: зачем распорядители охоты не подумали ранее припасти столько соломы, чтобы она была здесь с излишком. Дядя сердился и кричал что-то такое, чего я не мог разобрать за всею поднявшеюся в это время у людей суетою и еще более усилившимся визгом собак и хлопаньем арапников.

Но во всем этом виднелось нестроение и был, однако, свой лад, и ворковая лошадь уже опять, метаясь и храпя, неслась назад к яме, где залег Сганарель, но не с соломою: на дровнях теперь сидел Ферапонт.

Гневное распоряжение дяди заключалось в том, чтобы, Храпошку спустили в яму и чтобы он *сам вывел* оттуда своего друга на травлю...

Глава одиннадцатая

И вот Ферапонт был на месте. Он казался очень взволнованным, но действовал твердо и решительно. Ни мало не сопротивляясь барскому приказу, он взял с дровней веревку, которою была прихвачена привезенная минуту тому назад солома, и привязал эту веревку одним концом около зарубки верхней части бревна. Остальную веревку Ферапонт взял в руки и, держась за нее, стал спускаться по бревну, на ногах, в яму...

Страшный рев Сганареля утих и заменился глухим ворчанием.

Зверь как бы жаловался своему другу на жестокое обхождение с ним со стороны людей; но вот и это ворчание сменилось совершенной тишиной.

– Обнимает и лижет Храпошку, – крикнул один из людей, стоявших над ямой.

Из публики, размещавшейся в санях, несколько человек вздохнули, другие поморщились.

Многим становилось жалко медведя, и травля его, очевидно, не обещала им большо-

го удовольствия. Но описанные мимолетные впечатления внезапно были прерваны новым событием, которое было еще неожиданнее и заключало в себе новую трогательность.

Из творила ямы, как бы из преисподней, показалась курчавая голова Храпошки в охотничьей круглой шапке. Он взбирался наверх опять тем же самым способом, как и спускался, то есть Ферапонт шел на ногах по бревну, притягивая себя кверху крепко завязанной концом снаружи веревки. Но Ферапонт выходил *не один*: рядом с ним, крепко с ним обнявшись и положив ему на плечо большую косматую лапу, выходил и Сганарель... Медведь был не в духе и не в авантажном виде. Пострадавший и изнуренный, по-видимому не столько от телесного страдания, сколько от тяжкого морального потрясения, он сильно напоминал короля Лира. Он сверкал исподлобья налитыми кровью и полными гнева и негодования глазами. Так же, как Лир, он был и взъерошен, и местами опален, а местами к нему пристали будылья соломы. Вдобавок же, как тот несчастный венценосец, Сганарель,

по удивительному случаю, сберег себе и нечто вроде венца. Может быть любя Ферাপонта, а может быть случайно, он зажал у себя под мышкой шляпу, которою Храпошка его снабдил и с которою он же поневоле столкнул Станареля в яму. Медведь сберег этот дружеский дар, и... теперь, когда сердце его нашло мгновенное успокоение в объятиях друга, он, как только стал на землю, сейчас же вынул из-под мышки жестоко измятую шляпу и положил ее себе на макушку...

Эта выходка многих насмешила, а другим зато мучительно было ее видеть. Иные даже поспешили отвернуться от зверя, которому сейчас же должна была последовать злая кончина.

Глава двенадцатая

Тем временем, как все это происходило, псы взвыли и взметались до потери всякого повиновения. Даже арапник не оказывал на них более своего внушающего действия. Щенки и старые пъявки, увидя Сганареля, поднялись на задние лапы и, сипло воя и храпя, задыхались в своих сыромятных ошейниках; а в это же самое время Храпошка уже опять мчался на ворковом одре к своему секрету под лесом. Сганарель опять остался один и нетерпеливо дергал лапу, за которую случайно захлестнулась брошенная Храпошкой веревка, прикрепленная к бревну. Зверь, очевидно, хотел скорее ее распутать или оборвать и догнать своего друга, но у медведя, хоть и очень смышленного, ловкость все-таки была медвежья, и Сганарель не распускал, а только сильнее затягивал петлю на лапе.

Видя, что дело не идет так, как ему хотелось, Сганарель дернул веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крепка и не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стоймя в яме. Он на это оглянулся; а в то самое

мгновение две пущенных из стаи со своры пьявки достигли его, и одна из них со всего налета впилась ему острыми зубами в загорбок.

Сганарель был так занят с веревкой, что не ожидал этого и в первое мгновение как будто не столько рассердился, сколько удивился такой наглости; но потом, через полсекунды, когда пьявка хотела перехватить зубами, чтобы впитаться еще глубже, он рванул ее лапою и бросил от себя очень далеко и с разорванным брюхом. На окровавленный снег тут же выпали ее внутренности, а другая собака была в то же мгновение раздавлена под его задней лапой... Но что было всего страшнее и всего неожиданнее, это то, что случилось с бревном. Когда Сганарель сделал усиленное движение лапою, чтобы отбросить от себя впившуюся в него пьявку, он тем же самым движением вырвал из ямы крепко привязанное к веревке бревно, и оно полетело пластом в воздухе. Натянув веревку, оно |закружило вокруг Сганареля, как около своей оси, и, чертя одним концом по снегу, на первом же обороте разможило и положило на месте не двух и

не трех, а целую стаю поспевавших собак. Одни из них взвизгнули и копошились из снега лапками, а другие как кувырнулись, так и вытянулись.

Глава тринадцатая

Зверь или был слишком понятлив, чтобы не сообразить, какое хорошее оказалось в его обладании оружие, или веревка, охватившая его лапу, больно ее резала, но он только взревел и, сразу перехватив веревку в самую лапу, еще так наподдал бревно, что оно поднялось и вытянулось в одну горизонтальную линию с направлением лапы, державшей веревку, и загудело, как мог гудеть сильно пушенный колоссальный волчок. Все, что могло попасть под него, непременно должно было сокрушиться вдребезги. Если же веревка где-нибудь, в каком-нибудь пункте своего протяжения оказалась бы недостаточно прочною и лопнула то разлетевшееся в центробежном направлении бревно, оторвавшись, полетело бы вдаль, бог весть до каких далеких пределов, и на этом полете непременно сокрушит все живое, что оно может встретить.

Все мы, люди, все лошади и собаки, на всей линии и цепи, были в страшной опасности, и всякий, конечно, желал, чтобы для сохранения его жизни веревка, на которой вертел свою колоссальную пращу Сганарель, была крепка. Но какой, однако, все это могло иметь конец? Этого, впрочем, не пожелал дожидаться никто, кроме нескольких охотников и двух стрелков, посаженных в секретных ямах у самого леса. Вся остальная публика, то есть все гости и семейные дяди, приехавшие на эту потеху в качестве зрителей, не находили более в случившемся ни малейшей потехи. Все в перепуге велели кучерам как можно скорее скакать далее от опасного места и в страшном беспорядке, тесня и перегоняя друг друга, помчались к дому.

В спешном и беспорядочном бегстве по дороге было несколько столкновений, несколько падений, немного смеха и немало перепугов. Выпавшим из саней казалось, что бревно оторвалось от веревки и свистит, пролетая над их головами, а за ними гонится рас-свирепевший зверь.

Но гости, достигши дома, могли прийти в

покой и оправиться, а те немногие, которые остались на месте травли, видели нечто гораздо более страшное.

Глава четырнадцатая

Никаких собак нельзя было пускать на Сганареля. Ясно было, что при его страшном вооружении бревном он мог победить все великое множество псов без малейшего для себя вреда. А медведь, вертя свое бревно и сам за ним поворачиваясь, прямо подавался к лесу, и смерть его ожидала только здесь, у секрета, в котором сидели Ферапонт и без промаха стрелявший Флегонт.

Меткая пуля все могла кончить смело и верно.

Но рок удивительно покровительствовал Сганарелю и, раз вмешавшись в дело зверя, как будто хотел спасти его во что бы то ни стало.

В ту самую минуту, когда Сганарель сравнился с привалами, из-за которых торчали на сошках наведенные на него дула кухенрейтеровских штуцеров Храпошки и Флегонта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно

лопнула и... как пущенная из лука стрела, стрекнуло в одну сторону, а медведь, потеряв равновесие, упал и покатился кубарем в другую.

Перед оставшимися на поле вдруг сформировалась новая живая и страшная картина: бревно сшибло сошки и весь замет, за которым скрывался в секрете Флегонт, а потом, перескочив через него, оно ткнулось и закопалось другим концом в дальнем сугробе; Сганарель тоже не терял времени. Перекувырнувшись три или четыре раза, он прямо попал за снежный валик Храпошки...

Сганарель его моментально узнал,дохнул на него своей горячей пастью, хотел лизнуть языком, но вдруг с другой стороны, от Флегонта, крякнул выстрел, и... медведь убежал в лес, а Храпошка... упал без чувств.

Его подняли и осмотрели: он был ранен пулею в руку навывлет, но в ране его было также несколько медвежьей шерсти.

Флегонт не потерял звания первого стрелка, но он стрелял впопыхах из тяжелого штуцера и без сошек, с которых мог бы прицелиться. Притом же на дворе уже было серо, и

медведь с Храпошкою были слишком тесно скучены...

При таких условиях и этот выстрел с промахом на одну линию должно было считать в своем роде замечательным.

Тем не менее – *Сганарель ушел*. Погоня за ним по лесу в этот же самый вечер была невозможна; а до следующего утра в уме того, чья воля была здесь для всех законом, просияло совсем иное настроение.

Глава пятнадцатая

Дядя вернулся после окончания описанной неудачной охоты. Он был гневен и суров более, чем обыкновенно. Перед тем как сойти у крыльца с лошади, он отдал приказ – завтра чем свет искать следов зверя и обложить его так, чтобы он не мог скрыться.

Правильно поведенная охота, конечно, должна была дать совсем другие результаты.

Затем ждали распоряжения о раненом Храпошке. По мнению всех, его должно было постигнуть нечто страшное. Он по меньшей мере был виноват в той оплошности, что не всадил охотничьего ножа в грудь Сганареля,

когда тот очутился с ним вместе и оставил его нimalo не поврежденным в его объятиях. Но, кроме того, были сильные и, кажется, вполне основательные подозрения, что Храпошка схитрил, что он в роковую минуту умышленно не хотел поднять своей руки на своего косматого друга и пустил его на волю.

Всем известная взаимная дружба Храпошки с Сганарелем давала этому предположению много вероятности.

Так думали не только все участвовавшие в охоте, но так же точно толковали теперь и все гости.

Прислушиваясь к разговорам взрослых, которые собрались к вечеру в большой зале, где в это время для нас зажигали богато убранную елку, мы разделяли и общие подозрения и общий страх пред тем, что может ждать Ферapонта.

На первый раз, однако, из передней, через которую дядя прошел с крыльца к себе «на половину», до залы достиг слух, что о Храпошке не было никакого приказания.

– К лучшему это, однако, или нет? – прошептал кто-то, и шепот этот среди общей тя-

желой унылости толкнулся в каждое сердце.

Его услышал и отец Алексей, старый сельский священник с бронзовым крестом двенадцатого года. – Старик тоже вздохнул и таким же шепотом сказал:

– Молитесь рожденному Христу.

С этим он сам и все, сколько здесь было взрослых и детей, бар и холопей, все мы сразу перекрестились. И тому было время. Не успели мы опустить наши руки, как широко растворились двери и вошел, с палочкой в руке, дядя. Его сопровождали две его любимые борзые собаки и камердинер Жюстин. Последний нес за ним на серебряной тарелке его белый фуляр и круглую табакерку с портретом Павла Первого.

Глава шестнадцатая

Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на небольшом персидском ковре перед елкою, посреди комнаты. Он молча сел и молча же взял у Жюстина свой футляр и свою табакерку. У ног его тотчас легли и вытянули свои длинные морды обе собаки.

Дядя был в синем шелковом архалуке с вышитыми гладью застёжками, богато украшенными белыми филограневыми пряжками с крупной бирюзой. В руках у него была его тонкая, но крепкая палка из натуральной кавказской черешни.

Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во время суматохи, происшедшей на садке, отменно выезжанная щеголиха тоже не сохранила бесстрашия – она метнулась в сторону и больно прижала к дереву ногу своего всадника.

Дядя чувствовал сильную боль в этой ноге и даже немножко похрамывал.

Это новое обстоятельство, разумеется, тоже не могло прибавить ничего доброго в его раздраженное и гневливое сердце. Притом

было дурно и то, что при появлении дяди мы все замолчали. Как большинство подозрительных людей, он терпеть не мог этого; и хорошо его знавший отец Алексей поторопился, как умел, поправить дело, чтобы только нарушить эту зловещую тишину.

Имея наш детский круг близ себя, священник задал нам вопрос: понимаем ли мы смысл песни «Христос рождается»? Оказалось, что не только мы, но и старшие плохо ее разумели. Священник стал нам разъяснять слова: «славите», «рящите» и «возноситея», и, дойдя до значения этого последнего слова, сам тихо «вознесся» и умом и сердцем. Он говорил о *даре*, который и нынче, как и «во время уно», всякий бедняк может поднести к яслям «рожденного отроча», смелее и достойнее, чем поднесли золото, смирну и ливан волхвы древности. Дар наш – наше сердце, исправленное по *его* учению. Старик говорил о любви, о прощенье, о долге каждого утешить друга и недруга «во имя Христово»... И думается мне, что слово его в тот час было убедительно... Все мы понимали, к чему оно клонит, все его слушали с особенным чувством,

как бы моляся, чтобы это слово достигло до цели, и у многих из нас на ресницах дрожали хорошие слезы...

Вдруг что-то упало... Это была дядина палка... Ее ему подали, но он до нее не коснулся: он сидел, склонясь набок, с опущенною с кресла рукою, в которой, как позабытая, лежала большая бирюза от застешки... Но вот он уронил и ее, и... ее никто не спешил поднимать.

Все глаза были устремлены на его лицо. Происходило удивительное: *он плакал!*

Священник тихо раздвинул детей и, подойдя к дяде, молча благословил его рукою.

Тот поднял лицо, взял старика за руку и неожиданно поцеловал ее перед всеми и тихо молвил:

– Спасибо.

В ту же минуту он взглянул на Жюстина и велел позвать сюда Ферапонта.

Тот предстал бледный, с подвязанной рукою.

– Стань здесь! – велел ему дядя и показал рукою на ковер.

Храпошка подошел и упал на колени.

– Встань... поднимись! – сказал дядя. – Я тебя прощаю.

Храпошка опять бросился ему в ноги. Дядя заговорил нервным, взволнованным голосом:

– Ты любил зверя, как не всякий умеет любить человека. Ты меня этим тронул и превзошел меня в великодушии. Объявляю тебе от меня милость: даю вольную и сто рублей на дорогу. Иди куда хочешь.

– Благодарю и никуда не пойду, – воскликнул Храпошка.

– Что?

– Никуда не пойду, – повторил Ферапонт.

– Чего же ты хочешь?

– За вашу милость я хочу вам вольной волей служить честней, чем за страх поневоле.

Дядя моргнул глазами, приложил к ним одною рукою свой белый фуляр, а другою, нагнувшись, обнял Ферапонта, и... все мы поняли, что нам надо встать с мест, и тоже закрыли глаза... Довольно было чувствовать, что здесь совершилась слава вышнему Богу и за благоухал мир во имя Христово, на месте сурового страха.

Это отразилось и на деревне, куда были по-

сланы котлы браги. Зажглись веселые костры, и было веселье во всех, и шутя говорили друг другу:

У нас ноне так случилось, что и зверь пошел во святой тишине Христа славить.

Сганареля не отыскивали. Ферапонт, как ему сказано было, сделался вольным, скоро заменил при дяде Жюстина и был не только верным его слугою, но и верным его другом до самой его смерти. Он закрыл своими руками глаза дяди, и он же схоронил его в Москве на Ваганьковском кладбище, где и по сию пору цел его памятник. Там же, в ногах у него, лежит и Ферапонт.

Цветов им теперь приносить уже некому, но в московских норах и трущобах есть люди, которые помнят белоголового длинного старика, который словно чудом умел узнавать, где есть истинное горе, и умел поспевать туда вовремя сам или посылал не с пустыми руками своего доброго пучеглазого слугу.

Эти два добряка, о которых много бы можно сказать, были – мой дядя и его Ферапонт, которого старик в шутку называл: «укроти-

тель зверя».

Впервые опубликовано – «Рождественское приложение к „Газете А. Гатиука“», 1883.

Привидение в инженерном замке (Из кадетских воспоминаний)

Глава первая

У домов, как у людей, есть своя репутация. Есть дома, где, по общему мнению, *нечисто*, то есть, где замечают те или другие проявления какой-то нечистой или по крайней мере непонятной силы. Спириты старались много сделать, для разъяснения этого рода явлений, но так как теории их не пользуются большим доверием, то дело с страшными домами остается в прежнем положении.

В Петербурге во мнении многих подобною худою славою долго пользовалось характерное здание бывшего Павловского дворца, известное нынче под названием Инженерного замка. Таинственные явления, приписываемые духам и привидениям, замечали здесь почти с самого основания замка. Еще при жизни императора Павла тут, говорят, слышали голос Петра Великого, и, наконец, даже

сам император Павел видел тень своего прадеда. Последнее, без всяких опровержений, записано в заграничных сборниках, где нашли себе место описания внезапной кончины Павла Петровича, и в новейшей русской книге г. Кобеко. Прадед будто бы покидал могилу, чтобы предупредить своего правнука, что дни его малы и конец их близок. Предсказание сбылось.

Впрочем, тень Петрова была видима в стенах замка не одним императором Павлом, но и людьми к нему приближенными. Словом, дом был страшен потому, что там жили или по крайней мере являлись тени и привидения и говорили что-то такое страшное, и вдобавок еще сбывающееся. Неожиданная внезапность кончины императора Павла, по случаю которой в обществе тотчас вспомнили и заговорили о предвещательных тенях, встречавших покойного императора в замке, еще более увеличила мрачную и таинственную репутацию этого угрюмого дома. С тех пор дом утратил свое прежнее значение жилого дворца, а по народному выражению – «пошел под кадетов».

Нынче в этом упраздненном дворце помещаются юнкера инженерного ведомства, но начали его «обживать» прежние инженерные кадеты. Это был народ еще более молодой и совсем еще не освободившийся от детского суеверия, и притом резвый и шаловливый, любопытный и отважный. Всем им, разумеется, более или менее были известны страхи, которые рассказывали про их страшный замок. Дети очень интересовались подробностями страшных рассказов и напивались этими страхами, а те, которые успели с ними достаточно освоиться, очень любили пугать других. Это было в большом ходу между инженерными кадетами, и начальство никак не могло вывести этого дурного обычая, пока не произошел случай, который сразу отбил у всех охоту к пуганьям и шалостям.

Об этом случае и будет наступающий рассказ.

Глава вторая

Особенно было в моде пугать новичков или так называемых «малышей», которые, попадая в замок, вдруг узнавали такую массу страхов о замке, что становились суеверными и робкими до крайности. Более всего их пугало, что в одном конце коридоров замка есть комната, служившая спальней покойному императору Павлу, в которой он лег почивать здоровым, а утром его оттуда вынесли мертвым. «Старики» уверяли, что дух императора живет в этой комнате и каждую ночь выходит оттуда и осматривает свой любимый замок, – а «малыши» этому верили. Комната эта была всегда крепко заперта, и притом не одним, а несколькими замками, но для духа, как известно, никакие замки и затворы не имеют значения. Да и, кроме того, говорили, будто в эту комнату можно было как-то проникать. Кажется, это так и было на самом деле. По крайней мере жило и до сих пор живет предание, будто это удавалось нескольким «старым кадетам» и продолжалось до тех пор, пока один из них не задумал отчаянную ша-

лость, за которую ему пришлось жестоко заплатить. Он открыл какой-то известный лаз в страшную спальню покойного императора, успел пронести туда простыню и там ее спрятал, а по вечерам забирался сюда, покрывался с ног до головы этой простынею и становился в темном окне, которое выходило на Садовую улицу и было хорошо видно всякому, кто, проходя или проезжая, поглядит в эту сторону.

Исполняя таким образом роль привидения, кадет действительно успел навести страх на многих суеверных людей, живших в замке, и на прохожих, которым случалось видеть его белую фигуру, всеми принимавшуюся за тень покойного императора.

Шалость эта продолжалась несколько месяцев и распространила упорный слух, что Павел Петрович по ночам ходит вокруг своей спальни и смотрит из окна на Петербург. Многим до несомненности живо и ясно представлялось, что стоявшая в окне белая тень им не раз кивала головой и кланялась; кадет действительно проделывал такие штуки. Все это вызывало в замке обширные разговоры с

предвозвещательными истолкованиями и закончилось тем, что наделавший описанную тревогу кадет был пойман на месте преступления и, получив «примерное наказание на теле», исчез навсегда из заведения. Ходил слух, будто злополучный кадет имел несчастье испугать своим появлением в окне одно случайно проезжавшее мимо замка высокое лицо, за что и был наказан не по-детски. Проще сказать, кадеты говорили, будто несчастный шалун «умер под розгами», и так как в тогдaшнее время подобные вещи не представлялись невероятными, то и этому слуху поверили, а с этих пор сам этот кадет стал новым привидением. Товарищи начали его видеть «всего иссеченного» и с гробовым венчиком на лбу, а на венчике будто можно было читать надпись: «Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю».

Если вспомнить библейский рассказ, в котором эти слова находят себе место, то оно выходит очень трогательно.

Вскоре за гибелью кадета спальная комната, из которой исходили главнейшие страхи Инженерного замка, была открыта и полу-

чила такое приспособление, которое изменило ее жуткий характер, но предания о привидении долго еще жили, несмотря на последовавшее разоблачение тайны. Кадеты продолжали верить, что в их замке живет, а иногда ночами является призрак. Это было общее убеждение, которое равномерно держалось у кадетов младших и старших, с тою, впрочем, разницею, что младшие просто слепо верили в привидение, а старшие иногда сами устраивали его появление. Одно другому, однако, не мешало, и сами подделыватели привидения его тоже побаивались. Так, иные «ложные сказатели чудес» сами их воспроизводят и сами им поклоняются и даже верят в их действительность.

Кадеты младшего возраста не знали «всей истории», разговор о которой, после происшествия с получившим жестокое наказание на теле, строго преследовался, но они верили, что старшим кадетам, между которыми находились еще товарищи высеченного или засеченного, была известна вся тайна призрака. Это давало старшим большой престиж, и те им пользовались до 1859 или 1860 года, когда

четверо из них сами подверглись очень страшному перепугу, о котором я расскажу со слов одного из участников неуместной шутки у гроба.

Глава третья

В том 1859 или 1860 году умер в Инженерном замке начальник этого заведения, генерал Ламновский. Он едва ли был любимым начальником у кадет и, как говорят, будто бы не пользовался лучшею репутациею у начальства. Причин к этому у них насчитывали много: находили, что генерал держал себя с детьми будто бы очень сурово и безучастливо; мало вникал в их нужды; не заботился об их содержании, — а главное, был докучлив, придирчив и мелочно суров. В корпусе же говорили, что сам по себе генерал был бы еще более зол, но что неодолимую его лютость укрощала тихая, как ангел, генеральша, которой ни один из кадет никогда не видал, потому что она была постоянно больна, но считали ее добрым гением, охраняющим всех от конечной лютости генерала.

Кроме такой славы по сердцу, генерал Лам-

новский имел очень неприятные манеры. В числе последних были и смешные, к которым дети придирались, и когда хотели «представить» нелюбимого начальника, то обыкновенно выдвигали одну из его смешных привычек на вид до карикатурного преувеличения.

Самою смешною привычкою Ламновского было то, что, произнося какую-нибудь речь или делая внушение, он всегда гладил всеми пятью пальцами правой руки свой нос. Это, по кадетским определениям, выходило так, как будто он «доил слова из носа». Покойник не отличался красноречием, и у него, что называется, часто недоставало слов на выражение начальственных внушений детям, а потому при всякой такой запинке «доеение» носа усиливалось, а кадеты тотчас же теряли серьезность и начинали пересмеиваться. Замечая это нарушение субординации, генерал начинал еще более сердиться и наказывал их. Таким образом, отношения между генералом и воспитанниками становились все хуже и хуже, а во всем этом, по мнению кадет, всего более был виноват «нос».

Не любя Ламновского, кадеты не упускали случая делать ему досаждения и мстить, портя так или иначе его репутацию в глазах своих новых товарищей. С этою целью они выпускали в корпусе молву, что Ламновский знается с нечистою силою и заставляет демонов таскать для него мрамор, который Ламновский поставлял для какого-то здания, кажется для Исаакиевского собора. Но так как демонам эта работа надоела, то рассказывали, будто они нетерпеливо ждут кончины генерала, как события, которое возвратит им свободу. А чтобы это казалось еще достовернее, раз вечером, в день именин генерала, кадеты сделали ему большую неприятность, устроив «похороны». Устроено же это было так, что когда у Ламновского, в его квартире, пировали гости, то в коридорах кадетского помещения появилась печальная процессия: покрытые простынями кадеты, со свечами в руках, несли на одре чучело с длинноносою маскою и тихо пели погребальные песни. Устроители этой церемонии были открыты и наказаны, но в следующие именины Ламновского непростительная шутка с похоронами опять

повторилась. Так шло до 1859 года или 1860 года, когда генерал Ламновский в самом деле умер и когда пришлось справлять настоящие его похороны. По обычаям, которые тогда существовали, кадетам надо было посменно дежурить у гроба, и вот тут-то и произошла страшная история, испугавшая тех самых героев, которые долго пугали других.

Глава четвертая

Генерал Ламновский умер позднею осенью, в ноябре месяце, когда Петербург имеет самый человеконенавистный вид: холод, понижающая сырость и грязь; особенно мутное туманное освещение тяжело действует на нервы, а через них на мозг и фантазию. Все это производит болезненное душевное беспокойство и волнение. Мошотт для своих научных выводов о влиянии света на жизнь мог бы получить у нас в это время самые любопытные данные.

Дни, когда умер Ламновский, были особенно гадки. Покойника не вносили в церковь замка, потому что он был лютеранин: тело стояло в большой траурной зале генераль-

ской квартиры, и здесь было учреждено кадетское дежурство, а в церкви служились, по православному установлению панихиды. Одну панихиду служили днем, а другую вечером. Все чины замка, равно как кадеты и служители, должны были появляться на каждой панихиде, и это соблюдалось в точности. Следовательно, когда в православной церкви шли панихиды, – все население замка собиралось в эту церковь, а остальные обширные помещения и длиннейшие переходы совершенно пустели. В самой квартире усопшего не оставалось никого, кроме дежурной смены, состоявшей из четырех кадет, которые с ружьями и с касками на локте стояли вокруг гроба.

Тут и пошла заматываться какая-то беспокойная жуть: все начали чувствовать что-то беспокойное и стали чего-то побаиваться; а потом вдруг где-то проговорили, что опять кто-то «встает» и опять кто-то «ходит». Стало так неприятно, что все начали останавливать других, говоря: «Полно, довольно, оставьте это; ну вас к черту с такими рассказами! Вы только себе и людям нервы портите!» А потом

и сами говорили то же самое, от чего унимали других, и к ночи уже становилось всем страшно. Особенно это обострилось, когда кадет пощунял «батя», то есть какой тогда был здесь священник.

Он постыдил их за радость по случаю кончины генерала и как-то коротко, но хорошо умел их тронуть и насторожить их чувства.

– *«Ходит»*, – сказал он им, повторяя их же слова;. – И разумеется, что ходит некто такой, кого вы не видите и видеть не можете, а в нем и есть сила, с которою не сладишь. Это *серый человек*, – он не в полночь встает, а в сумерки, когда серо делается, и каждому хочет сказать о том, что в мыслях есть нехорошего. Этот серый человек – *совесть*; советую вам не тревожить его дрянной радостью о чужой смерти. Всякого человека кто-нибудь любит, кто-нибудь жалеет, – смотрите, чтобы серый человек им не скинулся да не дал бы вам тяжелого урока!

Кадеты это как-то взяли глубоко к сердцу и, чуть только начало в тот день смеркаться, они так и оглядываются: нет ли серого человека и в каком он виде? Известно, что в су-

мерках в душах обнаруживается какая-то особенная чувствительность – возникает новый мир, затмевающий тот, который был при свете: хорошо знакомые предметы обычных форм становятся чем-то прихотливым, непонятным и, наконец, даже страшным. Этой порою всякое чувство почему-то как будто ищет для себя какого-то неопределенного, но усиленного выражения: настроение чувств и мыслей постоянно колеблется, и в этой стремительной и густой дисгармонии всего внутреннего мира человека начинается свою работу фантазия: мир обращается в сон, а сон – в мир... Это заманчиво и страшно, и чем более страшно, тем более заманчиво и завлекательно...

В таком состоянии было большинство кадет, особенно перед ночными дежурствами у гроба. В последний вечер перед днем погребения к панихиде в церковь ожидалось посещение самых важных лиц, а потому, кроме людей, живших в замке, был большой съезд из города. Даже из самой квартиры Ламновского все ушли в русскую церковь, чтобы видеть собрание высоких особ; покойник оставался

окруженный одним детским караулом. В карауле на этот раз стояли четыре кадета: Г – тон, В – нов, З-ский и К-дин, все до сих пор благополучно здравствующие и занимающие теперь солидные положения по службе и в обществе.

Глава пятая

Из четырех молодцов, составлявших караул, – один, именно К-дин, был самый отчаянный шалун, который докучал покойному Ламновскому более всех и потому, в свою очередь, чаще прочих подвергался со стороны умершего усиленным взысканиям. Покойник особенно не любил К-дина за то, что этот шалун умел его прекрасно передразнивать «по части доения носа» и принимал самое деятельное участие в устройстве погребальных процессий, которые делались в генеральские именины.

Когда такая процессия была совершена в последнее тезоименитство Ламновского, К-дин сам изображал покойника и даже произносил речь из гроба, с такими ужимками и таким голосом, что пересмешил всех, не ис-

ключая офицера, посланного разогнать кощунствующую процессию.

Было известно, что это происшествие привело покойного Ламновского в крайнюю гневность, и между кадетами прошел слух, будто рассерженный генерал «покаялся наказать К-дина на всю жизнь». Кадеты этому верили и, принимая в соображение известные им черты характера своего начальника, нимало не сомневались, что он свою клятву над К-диным исполнит. К-дин в течение всего последнего года считался «висящим на волоске», а так как, по живости характера, этому кадету было очень трудно воздерживаться от резвых и рискованных шалостей, то положение его представлялось очень опасным, и в заведении того только и ожидали, что вот-вот К-дин в чем-нибудь попадетсЯ, и тогда Ламновский с ним не поцеремонится и все его дробы приведет к одному знаменателю, «даст себя помнить на всю жизнь».

Страх начальственной угрозы так сильно чувствовался К-диным, что он делал над собою отчаянные усилия и, как запойный пьяница от вина, он бежал от всяких проказ, по-

куда ему пришел случай проверить на себе поговорку, что «мужик год не пьет, а как черт прорвет, так он все пропьет».

Черт прорвал К-дина именно у гроба генерала, который опочил, не приведя в исполнение своей угрозы. Теперь генерал был кадету не страшен, и долго сдержанная резвость мальчика нашла случай отпрянуть, как долго скрученная пружина. Он просто обезумел.

Глава шестая

Последняя панихида, собравшая всех жителей замка в православную церковь, была назначена в восемь часов, но так как к ней ожидались высшие лица, после которых неделикатно было входить в церковь, то все отправились туда гораздо ранее. В зале у покойника осталась одна кадетская смена: Г-тон, В-нов, З-ский и К-дин. Ни в одной из прилегавших огромных комнат не было ни души...

В половине восьмого дверь на мгновение приотворилась, и в ней на минуту показался плац-адъютант, с которым в эту же минуту случилось пустое происшествие, усилившее

жуткое настроение: офицер, подходя к двери, или испугался своих собственных шагов, или ему казалось, что его кто-то обгоняет: он сначала приостановился, чтобы дать дорогу, а потом вдруг воскликнул: «Кто это! кто!» – и, торопливо просунув голову в дверь, другою половинкою этой же двери придавил самого себя и снова вскрикнул, как будто его кто-то схватил сзади.

Разумеется, вслед же за этим он оправился и, торопливо окинув беспокойным взглядом траурный зал, догадался по здешнему бездюдию, что все ушли, уже в церковь; тогда он опять притворил двери и, сильно звеня саблею, бросился ускоренным шагом по коридорам, ведущим к замковому храму.

Стоявшие у гроба кадеты ясно замечали, что и большие чего-то пугались, а страх на всех действует заразительно.

Глава седьмая

Дежурные кадеты проводили слухом шаги удалявшегося офицера и замечали, как за каждым шагом их положение здесь становилось сиротливее – точно их привели сюда и замуровали с мертвецом за какое-то оскорбление, которого мертвый не позабыл и не простил, а, напротив, встанет и непременно отмстит за него. И отмстит страшно, по-мертвецки... К этому нужен только свой час – удобный час полночи,

*...когда поет петух
И нежить мечется в потемках...*

Но они же не достоят здесь до полуночи, – их сменят, да и притом им ведь страшна не «нежить», а серый человек, которого пора – в сумерках.

Теперь и были самые густые сумерки: мертвец в гробу, и вокруг самое жуткое безмолвие... На дворе с свирепым неистовством выл ветер, обдавая огромные окна целыми потоками мутного осеннего ливня, и гремел листами кровельных загибов; печные трубы

гудели с перерывами – точно они вздыхали или как будто в них что-то врывалось, задерживалось и снова еще сильнее напирало. Все это не располагало ни к трезвости чувств, ни к спокойствию рассудка. Тяжесть всего этого впечатления еще более усиливалась для ребят, которые должны были стоять, храня мертвое молчание: все как-то путается; кровь, приливая к голове, ударялась им в виски, и слышалось что-то вроде однообразной мельничной стукотни. Кто переживал подобные ощущения, тот знает эту странную и совершенно особенную стукотню крови – точно мельница мелет, но мелет не зерно, а перемалывает самое себя. Это скоро приводит человека в тягостное и раздражающее состояние, похожее на то, которое непривычные люди ощущают, опускаясь в темную шахту к рудокопам, где обычный для нас дневной свет вдруг заменяется дымящейся плошкой... Выдерживать молчание становится невозможно, – хочется слышать хоть свой собственный голос, хочется куда-то сунуться – что-то сделать самое безрассудное.

Глава восьмая

Один из четырех стоявших у гроба генерала Кадетов, именно К-дин, переживая все эти ощущения, забыл дисциплину и, стоя под ружьем, прошептал:

– Духи лезут к нам за папкиным носом.

Ламновского в шутку называли иногда «папкою», но шутка на этот раз не смешила товарищей, а, напротив, увеличила жуть, и двое из дежурных, заметив это, отвечали К-дину:

– Молчи... и без того страшно, – и все тревожно воззрились в укутанное кисеею лицо покойника.

– Я оттого и говорю, что вам страшно, – отвечал К-дин, – а мне, напротив, не страшно, потому что мне он теперь уже ничего не делает. Да: надо быть выше предрассудков и пустяков не бояться, а всякий мертвец – это уже настоящий пустяк, и я это вам сейчас докажу.

– Пожалуйста, ничего не доказывай.

– Нет, докажу. Я вам докажу, что папка теперь ничего не может мне сделать даже в том случае, если я его сейчас, сию минуту, возьму

за нос.

И с этим, неожиданно для всех остальных К-дин в ту же минуту, перехватив ружье на локоть, быстро взбежал по ступеням катафалка и, взяв мертвеца за нос, громко и весело вскрикнул:

– Ага, папка, ты умер, а я жив и трясу тебя за нос, и ты мне ничего не сделаешь!

Товарищи оторопели от этой шалости и не успели проронить слова, как вдруг всем им враз ясно и внятно слышался глубокий болезненный вздох – вздох очень похожий на то, как бы кто сел на надутую воздухом резиновую подушку с неплотно завернутым клапаном... И этот вздох, – всем показалось, – по видимому, шел прямо из гроба...

К-дин быстро отхватил руку и, споткнувшись, с громом полетел с своим ружьем со всех ступеней катафалка, трое же остальных, не отдавая себе отчета, что они делают, в страхе взяли свои ружья наперевес, чтобы защищаться от поднимавшегося мертвеца.

Но этого было мало: покойник не только вздохнул, а действительно гнался за оскорбившим его шалуном или придерживал его

за руку: за К-диным ползла целая волна гробовой кисеи, от которой он не мог отбиться, – и, страшно вскрикнув, он упал на пол... Эта ползущая волна кисеи в самом деле представлялась явлением совершенно необъяснимым и, разумеется, страшным, тем более что закрытый ею мертвец теперь совсем открывался с его сложенными руками на впалой груди.

Шалун лежал, уронив свое ружье, и, закрыв от ужаса лицо руками, издавал ужасные стоны. Очевидно, он был в памяти и ждал, что покойник сейчас за него примется по-свойски.

Между тем вздох повторился, и, вдобавок к нему, послышался тихий шелест. Это был такой звук, который мог произойти как бы от движения одного суконного рукава по другому. Очевидно, покойник раздвигал руки, – и вдруг тихий шум; затем поток иной температуры пробежал струею по свечам, и в то же самое мгновение в шевелившихся портьерах, которыми были закрыты двери внутренних покоев, показалось *привидение*. Серый человек! Да, испуганным глазам детей предстало вполне ясно сформированное привидение в

виде человека... Явилась ли это сама душа покойника в новой оболочке, полученной ею в другом мире, из которого она вернулась на мгновение, чтобы наказать оскорбительную дерзость, или, быть может, это был еще более страшный гость, – сам дух замка, вышедший сквозь пол соседней комнаты из подземелья!..

Глава девятая

Привидение не было мечтою воображения – оно не исчезало и напоминало своим видом описание, сделанное поэтом Гейне для виденной им «таинственной женщины»: как то, так и это представляло «труп, в котором заключена душа». Перед испуганными детьми была в крайней степени изможденная фигура, вся в белом, но в тени она казалась серою. У нее было страшно худое, до синевы бледное и совсем угасшее лицо; на голове всклокоченные в беспорядке густые и длинные волосы. От сильной проседи они тоже казались серыми и, разбегавшись в беспорядке, закрывали грудь и плечи привидения!.. Глаза виделись яркие, воспаленные и блестящие болезненным огнем... Сверканье

их из темных, глубоко впалых орбит было подобно сверканью горящих углей. У видения были тонкие худые руки, похожие на руки скелета, и обеими этими руками оно держалось за полы тяжелой дверной драпировки.

Судорожно сжимая материю в слабых пальцах, эти руки и производили тот сухой суконный шелест, который слышали кадеты.

Уста привидения были совершенно черны и открыты, и из них-то после коротких промежутков со свистом и хрипением вырывался тот напряженный полустон-полувздых, который впервые послышался, когда К-дин взял покойника за нос.

Глава десятая

Увидав это грозное привидение, три оставшиеся на ногах стража окаменели и замерли в своих оборонительных позициях крепче К-дина, который лежал пластом с прицепленным к нему гробовым покровом.

Привидение не обращало никакого внимания на всю эту группу: его глаза были устремлены на один гроб, в котором теперь лежал совсем раскрытый покойник. Оно тихо покачивалось и, по-видимому, хотело двигаться. Наконец это ему удалось. Держась руками за стену, привидение медленно тронулось и прерывистыми шагами стало переступать ближе ко гробу. Движение это было ужасно. Судорожно вздрагивая при каждом шаге и с мучением лоя раскрытыми устами воздух, оно исторгало из своей пустой груди те ужасные вздохи, которые кадеты приняли за вздохи из гроба. И вот еще шаг, и еще шаг, и, наконец, оно близко, оно подошло к гробу, но прежде, чем подняться на ступени катафалка, оно остановилось, взяло К-дина за ту руку, у которой, отвечая лихорадочной дрожи

его тела, трепетал край волновавшейся гробовой кисеи, и своими тонкими, сухими пальцами отцепило эту кисею от обшлажной пуговицы шалуна; потом посмотрело на него с неизъяснимой грустью, тихо ему погрозило и... перекрестило его...

Затем оно, едва держась на трясущихся ногах, поднялось по ступеням катафалка, ухватилось за край гроба и, обвив своими скелетными руками плечи покойника, зарыдало...

Казалось, в гробу целовались две смерти; но скоро это кончилось. С другого конца замка донесся слух жизни: панихида кончилась, и из церкви в квартиру мертвеца спешили передовые, которым надо было быть здесь, на случай посещения высоких особ.

Глава одиннадцатая

До слуха кадет долетели приближавшиеся по коридорам гулкие шаги и вырвавшиеся вслед за ними из отворенной церковной двери последние отзвуки зауспокойной песни.

Оживительная перемена впечатлений заставила кадет ободриться, а долг привычной дисциплины поставил их в надлежащей позиции на надлежащее место.

Тот адъютант, который был последним лицом, заглянувшим сюда перед панихидою, и теперь торопливо вбежал первый в траурную залу и воскликнул:

– Боже мой, как она сюда пришла!

Труп в белом, с распущенными седыми волосами, лежал, обнимая покойника, и, кажется, сам не дышал уже. Дело пришло к разъяснению.

Напугавшее кадет привидение была вдова покойного генерала, которая сама была при смерти и, однако, имела несчастье пережить своего мужа. По крайней слабости, она уже давно не могла оставлять постель, но, когда все ушли к парадной панихиде в церковь, она

сползла с своего смертного ложа и, опираясь руками об стены, явилась к гробу покойника. Сухой шелест, который кадеты приняли за шелест рукавов покойника, были ее прикосновения к стенам. Теперь она была в глубоком обмороке, в котором кадеты, по распоряжению адъютанта, и вынесли ее в кресле за драпировку.

Это был последний страх в Инженерном замке, который, по словам рассказчика, оставил в них навсегда глубокое впечатление.

– С этого случая, – говорил он, – всем нам стало возмутительно слышать, если кто-нибудь радовался чьей бы то ни было смерти. Мы всегда помнили нашу непростительную шалость и благословляющую руку последнего привидения Инженерного замка, которое одно имело власть простить нас по святому праву любви. С этих же пор прекратились в корпусе и страхи от привидений. То, которое мы видели, было последнее.

Впервые напечатано – «Новости и биржевая газета», 1882.

Отборное зерно

Краткая трилогия в просонке

*Спящим человеком прииде враг и вся
плевелы посреди пшеницы.*

Мф. XII, 25

Желание видеть дорогих друзей заставляло меня спешить к ним, а недосуг позволял сделать нужный для этого переезд на самых праздниках. Благодаря таким условиям я встречал Новый год в вагоне. Настроение внутри себя я чувствовал невеселое и тяжелое. Учители благочестия внушают поверять свою совесть каждый вечер. Этого я не делаю, но при окончании прожитого года благочестивый совет наставников приходит на память, и я начинаю себя проверять. Делаю я это сразу за целый год, но зато аккуратно всякий раз остаюсь собою всесторонне недоволен. В нынешний раз мое обычное неудовольствие осложнилось еще и досадами на других – особенно на князя Бисмарка за его неуважительные отзывы о моих соотечественниках и за его недобрые на наш счет

предсказания. Его железная грубость позволила ему прямо и без застенчивости сказать, что России, по его мнению, только и остается «погибнуть». Как, за что «погибнуть»? И пошло думаться и выходить: будто как и есть за что, – будто как и не за что? А кругом меня все спит. Пять-шесть пассажиров, которых случай послал мне в попутчики, все друг от друга сторонились и все храпят в каком-то озлоблении.

И стало мне стыдно от моей унылости и моего пустомыслия. И зачем я не сплю, когда всем спится? И какое мне дело до того, что сказал о нас Бисмарк, и для чего я обязан верить его предсказаниям? Лучше ничего этого «внятием не тешить», а приспособиться да заснуть, яко же и прочие человецы, и пойдет дело веселее и занимательнее.

Так я и сделал: отвернулся от всех, ранее оборотившихся ко мне спинами, и начал усиленно звать сон, но мне плохо спалось с беспрестанными перерывами, пока судьба не послала мне неожиданного развлечения, которое разогнало на время мою дремоту и в то же время ободрило меня против невыгодных

заклучений о нашей дисгармонии.

С платформы у одного маленького городка вошли два человека – один легкий на ногу, должно быть молодой, а другой – грузнее и постарше. Я, впрочем, не мог их рассмотреть, потому что фонари в вагоне были затянуты темно-синей тафтой и не пропускали столько света, чтобы можно было хорошо рассмотреть незнакомые лица. Однако я сразу же расположен был думать, что новые пассажиры принадлежат не только к достаточному, но и к образованному классу. Они, входя, не шумели, не говорили очень громко и вообще старались, сколько можно, никого не беспокоить своим приходом, а расположились тихо и снисходительно там, где нашлось для них свободное сиденье. По случаю это пришлось очень близко от того места, где я дремал, забившись в темный угол дивана. Волей-неволей я должен был слышать всякое их слово, если бы оно было сказано даже полупшепотом. Это так и вышло, и я на то нимало не жалуясь, потому что разговор, который повели тихо вполголоса мои новые соседи, показался мне настолько интересным, что я его тогда

же, по приезде домой, записал, а теперь решаюсь даже представить вниманию читателей.

По первым же словам, с которых здесь начали новые пассажиры, видно было, что они уже прежде, сидя в ожидании поезда на станции, беседовали на одну какую-то любопытную тему, а здесь они только продолжали иллюстрации к положениям, до которых раньше договорились.

Говорил из двух пассажиров один, у которого был старый подержанный баритон – голос, приличный, так сказать, большому акционеру или не меньше как тайному советнику, явно разрабатывающему какие-нибудь естественные богатства страны. Другой только слушал и лишь изредка вставлял какое-нибудь слово или спрашивал каких-нибудь пояснений. Этот говорил немного звонким фальцетом, какой наичаще случается у прогрессирующих чиновников особых поручений, чувствующих тяготение к литературе.

Начинал баритон, и речь его была следующая:

– Я вам сейчас же представлю всю эту нашу социабельность в лицах, и притом как она

выразилась зараз в одном самом недавнем и на мой взгляд прелюбопытном деле. Случай этот может вам показать, что наш самобытный русский гений, который вы отрицаете, – вовсе не вздор. Пускай там говорят, что мы и *Рассея*, и что у нас везде разлад да разлад, но на самом-то деле, кто умеет наблюдать явления беспристрастно, тот и в этом разладе должен усмотреть нечто чрезвычайно круговое, или, так сказать, по-вашему, «социабельное». Бисмарк где-то сказал раз, что России будто «остается только погибнуть», а газетные звонари это подхватили, и звонят, и звонят... А вы не слушайте этого звона, а вникайте в дела, как они на самом деле делаются, так вы и увидите, что мы умеем спастись от бед, как никто другой не умеет, и что нам действительно не страшны многие такие положения, которые и самому господину Бисмарку в голову, может быть, не приходили, а других людей, не имеющих нашего крепкого закала, просто раздавили бы.

– Прелюбопытно ставите вопрос, и я охотно вас слушаю, – заметил фальцет.

Баритон продолжал:

– Если бы я готовил к печати те три маленькие историйки, которые хочу рассказать вам о нашей социабельности, то я, вероятно, назвал бы это как-нибудь трилогиею о том, как вор у вора дубинку украл и какое от того вышло для всех благополучие жизни. Впрочем, как нынче уже, можно сказать, всякий даже шиш литератора из себя корчит, то и я попробую излагать вам мою повесть литературно... Именно, разделю вам мой рассказ по рубрикам, вроде трилогии, и в первую статью пущу интеллигента, то есть барина, который, по мнению некоторых, будто бы более других «оторван от почвы». А вот вы сейчас же увидите, какие это пустяки и как у нас по родной пословице «всякая сосна своему бору шумит».

Глава первая

Барин

Поехал я летом странствовать и приехал на выставку. Обошел и осмотрел все отделы, попробовал было чем-нибудь отечественным полюбоваться, но, как и следовало ожидать, вижу, что это не выходит: полюбоваться нечем. Одно, что мне было приглянулось и даже, признаться сказать, показалось удивительно – это чья-то пшеница в одной витрине.

В жизнь мою я никогда еще такого крупного, чистого полного зерна не видывал. Точно это и не пшеница, а отборный миндаль, как, бывало, в детстве видал у себя дома, когда матушка к Пасхе таким миндалем куличи украшала.

Посмотрел я на подпись и еще больше удивился: подписано, что это удивительное, роскошное зерно собрано с полей моей родной местности, из имения, принадлежащего соседу моих родственников, именитому барину, которого называть вам не стану. Скажу толь-

ко, что он известный славянский деятель, и в Красном кресте ходил, и прочее, и прочее.

Я знал этого господина еще в гимназии, но, признаться, не питал к нему приязни. Впрочем, это еще по детским воспоминаниям – потому что он сначала в классе всё ножички крал и продавал, а потом начал себе брови сурмить и еще чем-то худшим заниматься.

Думаю себе: пожалуй, и здесь тоже обман! Небось где-нибудь купил у немецких колонистов куль хорошей пшеницы и выставил будто с своих полей.

Рассуждал я таким образом, потому что наши поля ржаные, и если родят пшеничку, то очень неавантажную. Но чтобы не осуждать долго своего ближнего, пойду-ка, думаю, лучше в буфет, выпью глоток нашего доброго русского вина и кусок кулебяки съем. За сытостью критика исчезает.

Но только я занял в ресторане место, как замечаю, что совсем возле меня сидит господин, с виду мне как будто когда-то известный. Я на него взглянул и отвел глаза в сторону, но чувствую, что и он в меня всматривается, и вдруг наклонился ко мне и говорит:

– Извините меня, если я не ошибаюсь – вы такой-то?

Я отвечаю:

– Вы не ошиблись, – я действительно тот, кем вы меня назвали.

– А я, – говорит, – такой-то, – и отрекомендовался. Надеюсь, вы можете догадаться, что это был как раз тот самый мой давний товарищ, который в гимназии ножички крал и брови сурмил, а теперь уже разводит и выставляет самую удивительную пшеницу.

Что же, и прекрасно: гора с горою не сходится, а человеку с человеком – очень возможно сойтись. Мы перекинулись несколькими вопросами: кто, откуда и зачем? Я говорю, что так, просто, как Чичиков, езжу для собственного удовольствия. А он шутливо подсказывает: «Верно, обзореваете».

– Не обзореваю, – говорю, – а просто для своего удовольствия посмотреть хочу.

А он рекомендует себя экспонентом и объявляет, что пшеницу выставил.

Я ответил, что заметил, уже его пшеничку, и любопытствовал, из каких это семян и на какой именно местностиросло? Все объясня-

ет речисто, – так режет со всеми подробностями. Я снова подивился, когда узнал, что и семена из нашего края, и поля, зародившие такое удивительное зерно, – смежны с полями моего брата.

Дивился, повторяю вам, потому, что край наш никогда прежде не родил очень хорошей пшеницы. А он отвечает:

– Ну, да то было прежде, а теперь и у нас совсем не то. Особенно у меня в хозяйстве. С старым этого равнять нельзя. Большая разница, большая, батюшка, во всем произошла перемена с тех пор, как вы отбыли из нашей губернии достигать чинов и знатности да легких капиталов смелыми оборотами. А мы, батюшка, как муромцы, – сидим на земле, сидели и кое-что высидели и дождались. Теперь опять наше дворянское время начинается, а ваше, чиновничье, проходит. Люди вспомнили дедовскую поговорку, что «земляной рубль тонок да долог, а торговый широк да короток». Мы, дворяне, обернулись к сохе и по сторонам не зеваем, – мы знаем, что не столица, а соха нас спасет.

– Да, – говорю, – все это прекрасно, но, од-

нако же, там, в вашей местности, живет мой брат, и я его навещал, но никогда не слыхал, чтобы там родилось такое удивительное зерно.

– Что же из этого? Навещаю – это еще не значит хозяйничаю. У меня в селе теперь молодой поп, так я в его отсутствие, например, жену его навещаю, а все-таки я не могу сказать, что я у него хозяйничаю, хозяин-то все-таки поп. А брат ваш, извините, – рутинер.

– Да, – говорю, – мой брат не рисклив.

– Куда ему! Нет! Таких, как я, покуда еще только несколько человек, но мы уже двинули свои хозяйства, и вот вам результаты: это моя пшеница. Вы не читали: я уже получил здесь за мое зерно золотую медаль. Мне это дорого, так же как упорядочение наших славянских княжеств, которое повредил берлинский трактат, – но в чем мы не виноваты, в том и не виноваты, а в нашем хозяйском деле нам никто не указ. Пройдемтесь еще раз к моей витринке.

Я был очень рад, чтобы только кончить про «княжества», потому что я в этом вопросе профан. Подошли к витрине. Он взял в руку

серебряный совочек и начал с него у меня перед глазами зерно перепускать.

– Изумляюсь, – говорю, – вижу, но и глазам верить не могу, как этакое дивное, крупное зерно могло вырасти на нашей земельке!

– А вот читайте, – указывает на надпись на витрине. – Видите: мое имя. И притом, батюшка, здесь подлог невозможен: там у них в выставочном правлении все документы – все эти свидетельства и разные удостоверения. Все доказательства есть, что это действительно зерно из моих урожаев. Да вот будете у своего двоюродного братца, так жалуйте, сделайте милость, и ко мне – вам и все наши крестьяне подтвердят, что это зерно с моих полей. Способ, батюшка, способ отделки, – вот в чем дело.

Думаю себе: не смею верить, а впрочем – боже, благослови.

– Какая же, – спрашиваю, – такому редкостному зерну цена?

– Да цена хорошая: червивые французишки и англичане не отходят, всё осаждают и дают цену как раз в два раза больше самой высокой, но я им, подлецам, разумеется, не

продам.

– Отчего?

– Как это – иностранцам-то?.. Э, нет, батюшка, нет, – не продам! Нет, батюшка, и так у нас уже много этого несчастного разлада слова с делом. Что в самом деле баловаться? Зачем нам иностранцы? Если мы люди истинно русские, то мы и должны поддержать своих, истинно русских торговцев, а не чужих. Пусть у меня купит наш истинно русский купец, – я ему продам, и охотно продам. Даже своему, православному человеку уступлю против того, что предлагают иностранцы, – но пусть истинно русский наживает.

А в это самое время как мы разговариваем, смотрю, к нему действительно вдруг подлетают два иностранца.

...Мне показалось, что они как будто евреи, но, впрочем, оба прекрасно говорили по-французски и начали жарко убеждать его продать им пшеницу.

– Видите, как юлят, – сказал он мне по-русски, – а там вон, смотрите, рыжий черт смоленский лен рассматривает. Это только один отвод глаз. Ему лен ни на что не нужен, это

англичанин, который тоже прохождению мне не дает.

Что же, думаю, может быть, это все и правда. Тогда и иностранные агенты у нас прибывали, а между своих именитых людей немало встречалось таковых, что гнилой запад под пятой задавить собирались. Вот, верно, и это один из таковых.

Прошло с этой встречи два или три дня, я было уже про этого господина и позабыл, но мне довелось опять его встретить и ближе с ним ознакомиться. Дело было в одной из лучших гостиниц за обедом; сел я обедать и вижу, неподалеку сидит мой образцовый хозяин с каким-то солидным человеком, несомненно русского и даже несомненно торгового телосложения. Оба едят хорошо, а еще лучше того запивают.

Заметил и он меня и сейчас же присылает с служившим им половым карточку и стакан шампанского на серебряном подносе.

Не принять было неловко – я взял бокал и издали послал ему воздушный поклон.

На карточке было начертано карандашом: «Поздравьте! продал зерно сему благополуч-

ному россиянину и тремтете пьем. Окончив обед, приближайтесь к нам».

«Ну, – думаю, – вот этого я уже не сделаю», а он точно проник мои мысли и сам подходит.

– Кончил, – говорит, – батюшка, расстался, продал, но своему, русскому. Вот этот купчина весь урожай закупил и сразу пять тысяч задатку дал за мою пшеничку. Дело не совсем пустое – всего вышло тысяч на сорок. Собственно говоря – и то продешевил, но по крайней мере пусть пойдет своему брату, русскому. Французы и англичанин из себя выходят – злятся, а я очень рад. Черт с ними, пусть не распускают вздор, что у нас своего патриотизма нет. Пойдемте, я вас познакомлю с моим покупателем. Оригинальный в своем роде субъект: из настоящих простых, истинно русских людей в купцы вышел и теперь страшно богат и все на храмы жертвует, но при случае не прочь и покутить. Теперь он именно в таком ударе: не хотите ли отсюда вместе ударимся, «где оскорбленному есть чувству уголок»?

– Нет, – говорю, – куда же мне кутить?

– Отчего так? Здесь ведь чином и званием не стесняются, – мы люди простые и дурачимся все кто как может.

– То-то и горе, – говорю, – что я уже совсем не могу пить.

– Ну, нечего с вами делать, – будь по-вашему – оставайтесь. А пока вот пробежите наше условие – полюбуйте, как все обстоятельно. Я, батюшка, ведь иначе не иду, как нотариальным порядком. Да-а-с, с нашими русачками надо все крепко делать, и иначе нельзя, как хорошенько его «обовязать», а потом уж и тремтете с ним пить. Вот видите, у меня все обозначено: пять тысяч задатка, зерно принять у меня в имении – «весь урожай обмолоченный и хранимый в амбарах села Черитаева, и деньги по расчету уплатить немедленно, до погрузки кулей на барки». Как находите, нет ли недосмотра? По-моему, кажется, довольно аккуратно?

– И я, – говорю, – того же самого мнения.

– Да, – отвечает, – я его немножко знаю: он на славян жертвовал, а ему пальца в рот не клади.

Барин был неподдельно весел, и купец то-

же.

Вечером я их видел в театре в ложе с слишком красивою и щегольски одетою женщиною, которая наверно не могла быть ни одному из них ни женою, ни родственницею и, повидимому, даже еще не совсем давно образовала с ними знакомство.

В антрактах купец появлялся в буфете и требовал «тремтете».

Человек тотчас же уносил за ним персики и другие фрукты и бутылку *crème de thé*. [4]

При выходе из театра старый товарищ уловил меня и настоятельно звал ехать с ними вместе ужинать и притом сообщил, что их дама «субъект самой высшей школы».

– Настоящей *haut école*! [5]

– Ну, тем вам лучше, – говорю, – а мне в мои лета, – и прочее, и прочее, – словом, отклонил от себя это соблазнительное предложение, которое для меня тем более неудобно, что я намеревался на другой день рано утром выехать из этого веселого города и продолжать мое путешествие. Земляк меня освободил, но зато взял с меня слово, что когда я буду в деревне у моих родных, то непременно

приеду к нему посмотреть его образцовое хозяйство и в особенности его удивительную пшеницу.

Я дал требуемое слово, хотя с неудовольствием. Не умею уж вам сказать: мешали ли мне школьные воспоминания о ножичке и чем-то худшем из области *haut école* или отталкивала меня от него настоящая ноздревщина, но только мне все так и казалось, что он мне дома у себя всучит либо борзую собаку, либо шарманку.

Месяца через два, послонявшись здесь и там и немножко полечившись, я как раз попал в родные палестины и после малого отдыха спрашиваю у моего двоюродного брата:

– Скажи, пожалуйста, где у вас такой-то? и что это за человек? мне надо у него побывать.

А кузен на меня посмотрел и говорит:

– Как, ты его знаешь?

Я говорю, что мы с ним вместе в школе были, а потом на выставке опять возобновили знакомство.

– Не поздравляю с этим знакомством.

– А что такое?

Да ведь это отсветнейший лгунище и па-

тентованный негодяй.

– Я, – говорю, – признаться, так и думал. Тут я и рассказал, как мы встретились на выставке, как вспомнили однокашничество и какие вещи он мне рассказывал про свое хозяйство и про свою деятельность в пользу славянских братьев.

Кузен мой расхохотался.

– Что же тут смешного?

– Все смешно, кроме кой-чего гадкого. Впрочем, ты, надеюсь, в политические откровенности с ним не пускался.

– А что?

– Да у него есть одна престранная манера: он все наклоняет разговор по известному склону, а потом вдруг вспоминает, что он «дворянин», и начинает протестовать и угрожать. Его уже за это, случалось, били, а еще чаще шампанским отпаивали, пока пропьет память.

– Нет, – говорю, – я в политику не пускался, да хоть бы и пустился, ничего бы из того не вышло, потому что вся моя политика заключается в отвращении от политики.

– А это, – говорит, – ничего не значит.

– Однако же?

– Он соврет, наклеветает, что ты как-нибудь молчаливо пренебрегаешь...

– Ну, тогда, значит, от него все равно спасенья нет.

– Да и нет, если только не иметь отваги выгнать его от себя вон.

Мне это показалось уже слишком.

– Удивляюсь, – говорю, – как же это все другие на его счет так ошибаются.

– А кто, например?

. – Да ведь вот, – говорю, – он от вас же приезжал во время славянской войны, и у нас про него в газетах писали, и солидные люди его принимали.

Брат рассмеялся и говорит, что этого господина никто не посылал и в пользу славян действовать не уполномочивал, а что он сам усматривал в этом хорошее средство к поправлению своих плохих денежных обстоятельств и еще более дрянной репутации.

– А что его у вас в столице возили и принимали, так этому виновато ваше модничанье; у вас ведь все так: как затеете возню в каком-нибудь особливом роде, то и возитесь с

кем попало, без всякого разбора.

– Ну, вот видишь ли, – говорю, – мы же и виноваты. На вас взаправду не угодишь: то вам Петербург казался холоден и чопорен, а теперь вы готовы уверять, что он какой-то простофиля, которого каждый ваш нахал за усы проводить может.

– И вообрази себе, что ведь действительно может.

– Пожалуйста!

– Истинно тебя уверяю. Только всей и мудрости, что надо прислушаться, чт? у вас в данную минуту в голове бурчит и какая глупость на дежурство назначается. Открываете ли вы славянских братьев, или пленяете умом заатлантических друзей, или собираетесь зазвонить вместо колокола в мужичьи лапти... Уловить это всегда нетрудно, чем вы бредите, а потом сейчас только пусти к вашей приме свою втору, и дело сделано. У вас так и заорут: «Вот она, наша провинция! вот она, наша свежая, непочатая сила! Она откликнулась не так, как мы, такие, сякие, ледащие, гадкие, скверные, безнатурные, заморенные на ингерманландских болотах». Вы себя черните да

бьете при содействии какого-нибудь литературного лгунищи, а наши провинциалы читают да думают: «Эва мы, братцы, в гору пошли!» И вот, которые пошельмоватее, поначитавшись, как вы там сами собою тяготи-тесь и ждете от нас, провинциалов, обновления, – снаряжаются и едут в Петербург, чтобы уделить вам нечто от нашей деловитости, от наших «здравых и крепких национальных идей». Хорошие и смирные люди, разумеется, глядят на это да удивляются, а ловкачи меж тем дело делают. Везут вам эти лгунищи как раз то, что вам хочется получить из провинции: они и славянам братья, и заатлантичникам – друзья, и впереди они вызывались бежать и назад рады спятиться до обров и дулебов. Словом, чего хотите, – тем они вам и скинут. А вы думаете: «Это земля! Это провинция». Но мы, домоседы, знаем, что это и не земля, и не провинция, а просто наши лгунищи. И тот, к которому ты теперь собираешься, именно и есть из этого сорта. У вас его величали, а по-нашему он имени человеческого не стоит, и у нас с ним бог весть с коей поры никто никакого дела иметь не хотел.

– Но, однако, по крайней мере – он хороший хозяин.

– Нимало.

– Но он при деньгах – это теперь редкость.

– Да, с того времени, как ездил в Петербург учить вас национальным идеям, у него в кармане кое-что стало позвякивать, но нам известно, чт? он там купил и кого продал.

– Ну, в этом случае, – говорю, – я сведущее вас всех: я сам видел, как он продал свою превосходную пшеницу.

– Нет у него такой пшеницы.

– Как это – «нет»?

– Нет да и только. Так нет, как и не было.

– Ну, уж это извини – я ее сам видел.

– В витрине?

– Да, в витрине.

– Ну, это не удивительно – это ему наши бабы руками отбирали.

– Полно, – говорю, – пожалуйста: разве это можно руками отбирать?

– Как! руками-то? А разумеется можно. Так – сидят, знаешь, бабы и девки весенним деньком в тени под амбарчиком, поют, как «Антон козу ведет», а сами на ладонях зер-

нышко к зернышку отбирают. Это очень возможно.

– Какие, – говорю, – пустяки!

– Совсем не пустяки. За пустяки такой скаред, как мой сосед, денег платить не станет, а он сорока бабам целый месяц по пятиалтынному в день платил. Время только хорошо выбрал: у нас ведь весной бабы нипочем.

– А как же, – спрашиваю, – у него на выставке было свидетельство, что это зерно с его полей!

– Что же, это и правда. Выбранные зернышки тоже ведь на его поле выросли.

– Да; но, однако, это значит – голое и очень наглое мошенничество.

– И не забудь – не первое и не последнее.

– Да, но как же... этот купец, которого он «обовязал» такими безвыходными условиями... Он начал, разумеется, против этого барина судебное дело, или он разорился?

– Да, пожалуй, – он начал дело, но только совсем в особой инстанции.

– Где же это?

– У мужика. Выше этого ведь теперь, по вашему вразумлению, ничего быть не может.

– Да полно, – говорю, – тебе эти крючки загинать да шутовствовать. – Расскажи лучше просто, как следует, – что такое происходит в вашей самодеятельности?

– Изволь, – отвечает приятель, – я тебе расскажу. – Да, батюшка, и рассказал такое, что в самом деле может и даже должно превышать всякие узкие, чужеземные понятия об оживлении дел в крае... Не знаю, как вам это покажется, но по-моему – оригинально и дух истинного, самобытного человека не может не радовать.

Тут фальцет перебил рассказчика и начал его упрашивать довести начатую трилогию до конца, то есть рассказать, как купец сделался с пройдохою-барином, и. как всех их помирил и выручил мужик, к которому теперь якобы идет какая-то апелляция во всех случаях жизни.

Баритон согласился продолжать и заметил:

– Это довольно любопытно. Представьте вы себе, что как ни смел и находчив был сейчас мною вам описанный дворянин, с которым никому не дай бог в делах встретиться,

но купец, которого он так беспощадно надул и запутал, оказался еще его находчивее и смелее. Какой-нибудь вертопрах-чужеземец увидел бы тут всего два выхода: или обратиться к суду, или сделать из этого – черт возьми – вопрос крови. Но наш простой, ясный русский ум нашел еще одно измерение и такой выход, при котором и до суда не доходили, и не ссорились, и даже ничего не потеряли, а напротив – все свою невинность соблюли, и все себе капиталы приобрели.

– Прелюбопытно!

– Да как же-с! Из такой возмутительной, предательской и вообще гадкой истории, которая какого хотите, любого западника вконец бы разорила, – наш православный пузатый купчина вышел молодцом и даже нажил этим большие деньги и, что всего важнее, – он, сударь, общественное дело сделал: он многих истинно несчастных людей поддержал, поправил и, так сказать, устроил для многих благоденствие.

– Прелюбопытно, – снова вставил фальцет.

– Ну уж одним словом – слушайте: купец, который сейчас перед вами является, уверяю

вас, барина лучше.

Глава вторая

Купец

Купец, которому было продано отборное зерно, разумеется, был обманут беспощадно. Все эти французы жидовского типа и англичане, равно как и дама *haut école*, у помещика были подставные лица, так сказать, его агенты, которые действовали, как известный Утешительный в гоголевских «Игроках». Иностранцам такое отборное зерно нельзя было продавать, потому что, во-первых, они не нашли бы способа, как с покупкою справиться, и завели бы судебный скандал, а во-вторых, у них у всех водятся консулы и посольства, которые не соблюдают правила невмешательства наших дипломатов и готовы вступать за своего во всякие мелочи. С иностранцами могла бы выйти прескверная история, и барин, стоя на почве, понимал, что русское изобретение только один русский же национальный гений и может преодолеть. Потому отборное, зерно и было продано своему еди-

новерцу.

Прислал этот купец к барину приказчика принимать пшеницу. Приказчик вошел в амбары, взглянул в закромы, ворохнул лопатою и видит, разумеется, что над его хозяином совершено страшное надувательство. А между тем купец уже запродал зерно по образцам за границу. Первая мысль у растерявшегося приказчика явилась такая, что лучше бы всего отказаться и получить назад задаток, но условие так написано, что спасенья нет: и урожай, и годы, и амбары – все обозначено, и задаток ни в каком случае не возвращается. У нас известно: «что взято, то свято». Сунулся приказчик туда-сюда, к законоведам, – те говорят, – ничего не поделаешь: надо принимать зерно, какое есть, и остальные деньги выплачивать. Спор, разумеется, завести можно, да неизвестно, чем он кончится, а десять тысяч задатку гулять будут, да и с заграничными покупателями шутить нельзя. Подавай им, что продано.

Приказчик посылает хозяину телеграмму, чтобы тот скорее сам приехал. Купец приехал, выслушал приказчика, посмотрел хлеб и

говорит своему молодцу:

– Ты, братец, дурак и очень глупо дело повел. Зерно хорошее, и никакой тут ссоры и огласки не надо; коммерция любит тайность: товар надо принять, а деньги заплатить.

А с барином он повел объяснение в другом роде.

Приходит, – помолился на образ и говорит:

– Здравствуй, барин!

А тот отвечает:

– И ты здравствуй!

– А ты, барин, плут, – говорит купец, – ты ведь меня надул как нельзя лучше.

– Что делать, приятель! а вы сами ведь тоже никому спуску не даете и нашего брата тоже объегориваете? – Дело обоюдное.

Так-то оно так, – отвечает купец, – дело это действительно обоюдное; но надо ему свою развязку сделать.

Барин очень согласен, только говорит:

– Желаю знать: в каких смыслах развязаться?

– А в таких, мол, смыслах, что если ты меня в свое время надул, то ты же должен мне теперь по-христиански помогать, а я тебе все

деньги отдам и еще, пожалуй, немножко на-
кину.

Дворянин говорит, что он на этих условиях
всякое добро очень рад сделать, только гово-
ри, мол, мне прямо; что вашей чести, какая
новая механика требуется?

Купец вкратце отвечает:

– Мне немного от тебя нужно, только по-
ступи ты со мною, как поступил благоразум-
ный домоправитель, о котором в евангелии
повествуется.

Барин говорит:

– Я всегда после Евангелия в церковь хожу:
не знаю, что там читается.

Купец ему довел на память: «Призвав кое-
гожда от должников господина своего глаго-
лаше: колицем должен еси? Приими писание
твое и напиши другое. И похвали господь до-
моправителя неправедного».

Дворянин выслушал и говорит:

– Понимаю. Это ты, верно, хочешь еще у
меня купить такой же редкой пшеницы.

– Да, – отвечал купец, – теперь уж надо про-
должать, потому что никаким другим мане-
ром нам себя соблюсти невозможно. А к тому,

нельзя все только о себе думать, – надо тоже дать и бедному народишку что-нибудь заработать.

Барин это о народушке пустил мимо ушей и спрашивает:

– А какое количество зерна ты у меня еще купить желаешь?

– Да я теперь много куплю... Мне так надо, чтобы целую барку одним этим добрым зерном нагрузить.

– Гм! Так, так! Ты верно хочешь ее особенно бережно везти?

– Вот это и есть.

– Ага! понимаю. Я очень рад, очень рад и могу служить.

– Документальное удостоверение нужно, что на целую барку зерна нагружаю.

– Само собою разумеется. Разве можно в нашем краю без документа?

– А какая цена? сколько возьмешь за эту добавочную покупку?

– Возьму не дороже, как за мертвые души.

Купец не понял, в чем дело, и перекрестился.

– Какие такие мертвые души? Что тебе про

них вздумалось! Им гнить, а нам жить. Мы про живое говорим: сказывай, сколько возьмешь, чтобы несуществующее продать?

– В одно слово?

– В одно слово.

– По два рубля за куль.

– Вот те и раз!

– Это недорого.

– Нет, ты по-божьему – получи по полтине за куль.

Дворянин сделал удивленное лицо.

– Как это – по полтине за куль пшеницы-то!

А тот его обрезаживает:

– Ну какая, – говорит, – это пшеница!

– Да уж об этом не будем спорить – такая она или сякая, однако ты за нее с кого-нибудь настоящие деньги слупишь.

– Это еще как бог даст.

– Да уж тебе-то бог непременно даст. К вам, к купцам, я ведь и не знаю за что, – бог ужасно милостив. Даже, ей-богу, завидно.

– А ты не завидуй, – зависть грех.

– Нет, да зачем это все деньги должны к вам плыть? Вам с деньгами-то хорошо.

– Да, мы припадаем и молимся, – и ты молись: кто молится, тому бог дает хорошо.

– Конечно, так, но вам тоже и есть чем – вы много жертвуете на храмы.

– И это.

– Ну, вот то-то и есть. А ты мне дай цену подороже, так тогда и я от себя пожертвую.

Купец рассмеялся.

– Ты, – говорит, – плут.

А тот отвечает:

– Да и ты тут.

– Нет, взаправду, вот что: так как я вижу, что ты знаешь писание и хочешь сам к вере придержаться, то я тебе дам по гривеннику на куль больше, чем располагал. Получай по шесть гривен, и о том, что мы сделали, никто знать не будет.

А барин отвечает:

– Хорошо, но еще лучше ты мне дай по рублю за куль и потом, если хочешь, всем об этом рассказывай.

Купец посмотрел на него, и оба враз рассмеялись.

– Ну, – говорит купец, – скажу я тебе, барин, что плутее тебя даже в самом нижнем

звании редко подыскать.

А тот, не смутясь, отвечает:

– Нельзя, братец, в нашем веке иначе: теперь у нас благородство есть, а нет крестьян, которые наше благородство оберегали, а во вторых, нынче и мода такая, чтобы русской простонародности подражать.

Купец не стал больше торговаться.

– Нечего, видно, с тобою говорить – ты чищенный, – крестись перед образом и по рукам.

Барин согласен молиться, но только деньги вперед требует и местечко на столе ударяет, где их перед ним положить желательно.

Купец о то самое место деньги и выклат.

– Ладно, мол, вели, только скорее, чем попало новое кулье набивать, – я хочу, чтобы при мне вся погрузка была готова и караван отплыл.

Нагрузили барку кулями, в которых черт знает какой дряни набили под видом драгоценной пшеницы; застраховал все это купец в самой дорогой цене, отслужили молебен с водосвятием, покормили православный народушко пирогами с легким и с сердцем и отправили судно в ход. Барки поплыли своим

путем, а купец, время не тратя, с барином подвел окончательные счета по-божьему, взял бумаги и полетел своим путем в Питер и прямо на Аглицкую набережную к толстому англичанину, которому раньше запродажу совершил по тому дивному образцу, который на выставке был.

«Зерно, – говорит, – отправлено в ход, и вот документы и страховка; прошу теперь мне отдать, что следует, на такое-то количество, вторую часть получения».

Англичанин посмотрел документы и сдал их в контору, а из несгораемого шкафа вынул деньги и заплатил.

Купец завязал их в платок и ушел.

Тут фальцет перебил рассказчика словами:

– Вы какие-то страсти говорите.

– Я говорю вам то, что в действительности было.

– Ну так значит, этот купец, взявши у англичанина деньги, бежал, что ли, с ними за границу?

– Вовсе не бежал. Чего истинный русский человек побежит за границу? Это не в его правилах, да он и никакого другого языка,

кроме русского, не знает. Никуда он не бежал.

– Так как же он ни аглицкого консула, ни посла не боялся? Почему дворянин их боялся, а купец не стал бояться?

– Вероятно потому, что купец опытнее был и лучше знал народные средства.

– Ну полноте, пожалуйста, какие могут быть народные средства против англичан!.. Эти всесветные торгоши сами кого угодно об-
лупят.

– Да кто вам сказал, что он хотел англичан обманывать? Он знал, что с ними шутить не годится и всему дальнейшему благополучно-
му течению дела усмотрел иной просpekt, а на том проспекте предвидел уже для себя по-
лезного деятеля, в руках которого были все средства все это дело огранить и в рамку вста-
вить. Тот и дал всему такой оборот, что ни Ротшильд, ни Томсон Бонер и никакой другой коммерческий гений не выдумает.

– И кто же был этот великий делец: адвокат или маклер?

– Нет, мужик.

– Как мужик?

– Да все дело обделал он – наш простой,

наш находчивый и умный мужик! Да я и не понимаю – отчего вас это удивляет? Ведь читали же вы небось у Щедрина, как мужик трех генералов прокормил?

– Конечно, читал.

– Ну так отчего же вам кажется странным, что мужик умел плутню распутать?

– Будь по-вашему: спрячу пока мои недоразумения.

– А я вам кончу про мужика, и притом про такого, который не трех генералов, а целую деревню один прокормил.

Глава третья

Мужик

Мужик, к помощи которого обратился купец, был, как всякий русский мужик, «с вида сер, но ум у него не черт съел». Родился он при матушке широкой реке-кормилице, а звали его, скажем так, – *Иваном Петровым*. Был этот раб божий Иван в свое время молод, а теперь достигал почтенной старости, но хлеба даром, лежа на печи, не кушал, а служил лоцманом при Толмачевских порогах, на

куриной переправе. Лоцманская должность, как вам, вероятно, известно, состоит в том, чтобы провожать суда, идущие через опасные для прохода места. За это провожатому лоцману платят известную плату, и та плата идет в артель, а потом разделяется между всеми лоцманами данной местности.

Всякий хозяин может повести свое судно и на собственную ответственность, без лоцмана, но тогда уже, если с «посудкой» случится какое-нибудь несчастье, – лоцманская артель не отвечает. А потому, если судно идет с застрахованным грузом, то условиями страховки требуется, чтобы лоцман был непременно. Взято это, конечно, с иностранных примеров, без надлежащего внимания к нашей беспримерной оригинальности и непосредственности. Заводили у нас страховые операции господа иностранцы и думали, что их Рейн или Дунай – это все равно что наши Свирь или Волга, и что их лоцман и наш – это опять одно и то же. Ну нет, брат, – извини!

Наши речные лоцманы – люди простые, не ученые, водят они суда, сами водимые единым богом. Есть какой-то навык и сноровка.

Говорят, что будто они после половодья дно реки исследуют и проверяют, но, полагать надо, все это относится более к области успокоительных всероссийских иллюзий; но в своем роде лоцманы – очень большие дельцы и наживают порою кругленькие капиталы. И все это в простоте и в смирении – бога почитаячи и не огорчая мир, то есть своих людей не позабывая.

Мужик Иван Петров был из зажиточных; ел не только щи с мясом, а еще, пожалуй, в жирную масляную кашу ложку сметаны клал, не столько уже «для скусу», сколько для степенства – чтобы по бороде текло, а ко всему этому выпивал для сварения желудка стакан-два нашего простого, доброго русского вина, от которого никогда подагры не бывает. По субботам он ходил в баню, а по воскресениям *молился* усердно и вежливо, то есть прямо от своего лица ни о чем просить не дерзал, а искал посредства просиявших угодников; но и тем не докучал с пустыми руками, а приносил во храм дары и жертвы: пелены, ризы, свечи и курения. Словом, был христианин самого заправского московского

письма.

Купцу, которого дворянин отборным зерном обидел, благочестивый мужик Иван Петров был знаем по верным слухам как раз с той стороны, с какой он ему нынче самому понадобился. Он-то и был тот, который мог все дело поправить, чтобы никому решительно убытка не было, *а всем польза*.

«Он выручал других – должен выручить и меня», рассудил купец и позвал к себе в кабинет того приказчика, который один знал, с чем у них застрахованные кули на барки нагружены, и говорит:

– Ты води караван, а я вас где надо встречу.

А сам поехал налегке простым, богомольным человеком прямо к Тихвинской, а вместо того попал к Толмачевым порогам на Куриный переход. «Где сокровище, там и сердце». Пристал наш купец здесь на постоялом дворе и пошел узнавать: где большой человек Иван Петров и как с ним свидеться.

Ходит купец по бережку и не знает: как за дело взяться. А просто взяться – невозможно: дело затеяно воровское.

К счастью своему, видит купец на береж-

ке, на обернутой кверху дном лодке сидит весь белый, матерой старик, в плисовом ватном картузе, борода празелень, и корсунский медный крест из-за пазухи касандрийской рубахи наружу висит.

Понравился старец купцу своим правильным видом. Прошел мимо этого старика купец раз и два, а тот его спрашивает:

– Чего ты здесь, хозяин, ищешь и что обрести желаешь: то ли, чего не имел, или то, что потерял?

Купец отвечает, что он так себе «прохаживается», но старик умный – улыбнулся и отвечает:

– Что это еще за прохаживание! В проходку ходить – это господское, а не христианское дело, а степенный человек за делом ходит и дела смотрит – дела пытается, а не от дела лытает. Неужели же ты в таких твоих годах даром время провождаешь?

Купец видит, что обрел человека большого ума и проницательности – сейчас перед ним и открылся, что он действительно дела пытается, а не от дела лытает.

– А к какому месту касающему?

- Касающее этого самого места.
- И в чем оно содержащее?
- Содержащее в том, что я обижен весьма несправедливым человеком.
- Так; нынче, друг, мало уже кто по правде живет, а всё по обиде. А кого ты на нашем берегу ищешь?
- Ищу себе человека поможательного.
- Так; а в какой силе?
- В самой большой силе – грех и обиду отнимающей.
- И-и, брат! Где весь грех омыть. В Писании у апостолов сказано: «Весь мир во грехе положен», – всего не омоешь, а разве хоть по малости.
- Ну хоть по малости.
- То-то и есть: господь грех потопом омыл, а он вновь настал.
- Научи меня, дедушка, – где для меня здесь полезный человек?
- А как ему имя от бога дано?
- Имя ему Иоанн.
- «Бысть человек послан от бога, имя ему Иоанн», – проговорил старик, – А как по изотчеству?

– Петрович.

– Ну, сам перед тобою я – Иван Петрович. Сказывай, какая твоя нужда?

Тот ему рассказал, впрочем только одну первую половину, то есть о том, какой плут был барин, который ему отборное зерно продал, а о том, какое он сам плутовство сделал, – про то умолчал, да и надобности рассказывать не было, потому что старец все в молчании постиг и мягко оформил ответное слово:

– Товар, значит, страховой?

– Да.

– И подконтрачен?

– Да, подконтрачен.

– Иностранцам?

– Англичанам.

– Ух! Это жохи!

Старик зевнул, перекрестил рот, потом встал и добавил:

– Приходи-ко ты ко мне, кручинная голова, на двор: о таком деле надо говорить – подумавши.

Через некоторое время, как там было у них условлено, приходит купец, «кручинная голова», к Ивану Петрову, а тот его на огород, – сел

с ним на банное крылечко и говорит:

– Я твое дело все обдумал. Пособить тебе от твоих обязательств – действительно надо, потому что своего русского человека грешно чужанам выдать, и как тебя избавить – это есть в наших руках, но только есть у нас одна своя мирская причина, которая здесь к тому не позволяет.

Купец стал упрашивать.

– Сделай милость, – говорит, – я тысяч не пожалею и деньги сейчас вперед хоть Николе, хоть Спасу за образник положу.

– Знаю, да взять нельзя.

– Отчего?

– Очень опасно.

– С коих же пор ты так опаслив стал? Старик на него поглядел и с солидным достоинством заметил, что он всегда был опаслив.

– Однако другим помогал.

– Разумеется, помогал, когда в своем правиле и весь мир за тебя стоять будет.

– А ныне разве мир против тебя стоит?

– Я так думаю.

– А почему?

– Потому что у нас, на Куриной переправе,

в прошлом году страховое судно затонуло и наши сельские на том разгрузе вволю и заработали, а если нынче опять у нас этому статья, то на Поросячьем броде люди осерчают и в донос пойдут. Там ноне пожар был, почитай все село сгорело, и им строиться надо и храм поправить. Нельзя все одним нашим предоставить благостыню, а надо и тем. А поезжай-ко ты нынче ночью туда, на Поросячий брод, да вызови из третьего двора в селе человека, Петра Иванова – вот той раб тебе все яже ко спасению твоему учредит. Да денег не пожалей – им строиться нужно.

– Не пожалею.

Купец в ту же ночь поехал, куда благословил дедушка Иоанн, нашел там без труда в третьем дворе указанного ему попомогательно-го Петра и очень скоро с ним сделался. Дал, может быть, и дорого, но вышло так честно и аккуратно, что одно только утешение.

– То есть какое же это утешение? – спросил фальцет.

– А такое утешение, что как подоспел сюда купцов караван, где плыла и та барка с сором вместо дорогой пшеницы, то все пристали

против часовой стрелки на берегу, помолебствовали, а потом лоцман Петр Иванов стал на буксир и повел, и все вел благополучно, да вдруг самую малость рулевому оборот дал и так похибил, что все суда прошли, а эта барка зацепилась, повернулась, как лягушка, пузом вверх и потонула.

Народу стояло на обоих берегах множество, и все видели, и все восклицали: «ишь ты! поди ж ты!» Словом, «случилось несчастье» невесть отчего. Ребята во всю мочь веслами били, дядя Петр на руле весь в поту, умаялся, а купец на берегу весь бледный, как смерть, стоял да молился, а все не помогло. Барка потонула, а хозяин только покорностью взял: перекрестился, вздохнул да молвил: «Бог дал, бог и взял – буди его святая воля».

Всех искреннее и оживленнее был народ: из народа к купцу уже сейчас же начали приставать люди с просьбами: «теперь нас не обессудь, – это на сиротскую долю бог дал». И после этого пошли веселые дела: с одной стороны исполнялись формы и обряды законных удостоверений и выдача купцу страховой

премии за погибший сор, как за драгоценную пшеницу; а с другой – закипело народное оживление и пошла поправка всей местности.

– Как это?

– Очень просто; немцы ведут всё по правилам заграничного сочинения: приехал страховой агент и стал нанимать людей, чтобы затонувший груз из воды доставать. Заботились, чтобы не все пропало. Труд немалый и долгий. Погорелые мужички сумели воспользоваться обстоятельствами; на мужчину брали в день полтора рубля, а на бабенку рубль. А работали потихонечку – все лето так с божией помощью и проработали. Зато на берегу точно гулянье стало – погорелые слезы высохли, все поют песни да приплясывают, а на горе у наемных плотников весело топоры стучат и домики, как грибки, растут на погорелом месте. И так, сударь мой, все село отстроилось, и вся беднота и голытьба попркрылась и понаелась, и божий храм поправили. Всем хорошо стало, и все зажили, хваляще и благодаряще господу, и никто, ни один человек не остался в убытке – и никто не в огорче-

нии. Никто не пострадал!

– Как никто?

– А кто же пострадал? Барин, купец, народ, то есть мужички, – все только нажились.

– А страховое общество.

– Страховое общество?

– Да.

– Батюшка мой, о чем вы заговорили!

– А что же – разве оно не заплатило?

– Ну, как же можно не заплатить – разумеется, заплатило.

– Так это по-вашему – не гадость, а социальность?!

– Да разумеется же социальность! Столько русских людей поправилось, и целое село год прокормилось, и великолепные постройки отстроились, и это, извольте видеть, по-вашему называется «гадость».

– А страховое-то общество – это что уже, стало быть, не социальное учреждение?

– Разумеется, нет.

– А что же это такое?

– Немецкая затея.

– Там есть акционеры и русские.

– Да, которые с немцами знают да всему

заграничному удивляются и Бисмарка хвалят.

– А вы его не хвалите.

– Боже меня сохрани! Он уже стал проповедовать, что мы, русские, будто «через меру своею глупостию злоупотреблять начали», – так пусть его и знает, как мы глупы-то; а я его и знать не хочу.

– Это черт знает что такое!

– А что именно?

– Вот то, что вы мне рассказывали.

Фальцет расхохотался и добавил:

– Нет, я вас решительно не понимаю.

– Представьте, а я вас тоже не понимаю.

– Да если бы нас слушал кто-нибудь сторонний человек, который бы нас не знал, то он бы непременно вправе был о нас подумать, что мы или плуты, или дураки.

– Очень может быть, но только он этим доказал бы свое собственное легкомыслие, потому что мы и не плуты и не дураки.

– Да, если это так, то, пожалуй, мы и сами не знаем, кто мы такие.

– Ну отчего же не знать. Что до меня касается, то я отлично знаю, что мы просто благо-

получные россияне, возвращающиеся с ингерманландских болот к себе *домой*, – на теплые полати, ко щам, да к бабам... А кстати, вот и наша станция.

Поезд начал убавлять ход, слышался визг тормозов, звонок, – и собеседники вышли.

Я приподнялся было, чтобы их рассмотреть, но в густом полумраке мне это не удалось. Видел только, что оба люди окладистые, и рослые.

Впервые опубликовано – журнал «живописное обозрение», 1884.

Обман

*Смоковница отметаает пупы своя от
ветра велика.*

Анк. VI, 13

Глава первая

Под самое Рождество мы ехали на юг и, сидя в вагоне, рассуждали о тех современных вопросах, которые дают много материала для разговора и в то же время требуют скорого решения. Говорили о слабости русских характеров, о недостатке твердости в некоторых органах власти, о классицизме и о евреях. Более всего прилагали забот к тому, чтобы усилить власть и вывести в расход евреев, если невозможно их исправить и довести, по крайней мере, хотя до известной высоты нашего собственного нравственного уровня. Дело, однако, выходило не радостно: никто из нас не видел никаких средств распорядиться властью, или достигнуть того, чтобы все, рожденные в еврействе, опять вошли в утробы и снова родились совсем с иными натурами.

– А в самой вещи, – как это сделать?

– Да никак не сделаешь.

И мы безотрадно поникли головами.

Компания у нас была хорошая, – люди скромные и несомненно основательные.

Самым замечательным лицом в числе пассажиров, по всей справедливости, надо было считать одного отставного военного. Это был старик атлетического сложения. Чин его был неизвестен, потому что из всей боевой амуниции у него уцелела одна фуражка, а все прочее было заменено вещами статского издания. Старик был беловолос, как Нестор, и крепок мышцами, как Сампсон, которого еще не остригла Далила. В крупных чертах его смуглого лица преобладало твердое и определенное выражение и решимость. Без всякого сомнения это был характер положительный и притом – убежденный практик. Такие люди не вздор в наше время, да и ни в какое иное время они не бывают вздором.

Старец все делал умно, отчетливо и с соображением; он вошел в вагон раньше всех других и потому выбрал себе наилучшее место, к которому искусно присоединил еще два со-

седние места и твердо удержал их за собою посредством мастерской, очевидно заранее обдуманной, раскладки своих дорожных вещей. Он имел при себе целые три подушки очень больших размеров. Эти подушки сами по себе уже составляли добрый багаж на одно лицо, но они были так хорошо гарнированы, как будто каждая из них принадлежала отдельному пассажиру: одна из подушек была в синем кубовом ситце с желтыми незабудками, – такие чаще всего бывают у путников из сельского духовенства; другая – в красном кумаче, что в большом употреблении по купечеству, а третья – в толстом полосатом тике – это уже настоящая штабс-капитанская. Пассажир, очевидно, не искал ансамбля, а искал чего-то более существенного, – именно приспособительности к другим гораздо более серьезным и существенным целям.

Три разношерстные подушки могли кого угодно ввести в обман, что занятые ими места принадлежат трем разным лицам, а предусмотрительному путешественнику этого только и требовалось.

Кроме того, мастерски заделанные подуш-

ки имели не совсем одно то простое название, какое можно было придать им по первому на них взгляду. Подушка в полосатом была собственно чемодан и погребец и на этом основании она пользовалась преимущественным перед другими вниманием своего владельца. Он поместил ее vis-a-vis перед собою, и как только поезд отвалил от амбаркадера — тотчас же облегчил и поослабил ее, расстегнув для того у ее наволочки белые костяные пуговицы. Из пространного отверстия, которое теперь образовалось, он начал вынимать разнокалиберные, чисто и ловко завернутые сверточки, в которых оказались сыр, икра, колбаса, сайки, антоновские яблоки и ржевская пастила. Всего веселее выглянула на свет хрустальная фляжка, в которой находилась удивительно приятного фиолетового цвета жидкость с известною старинною надписью: «Ея же и монаси приемлят». Густой аметистовый цвет жидкости был превосходный, и вкус, вероятно, соответствовал чистоте и приятности цвета. Знатоки дела уверяют, будто это никогда одно с другим не расходится.

Во все время, пока прочие пассажиры спо-

рили о жидках, об отечестве, об измельчании характеров и о том, как мы «во всем сами себе напортили», и, – вообще занимались «оздоровлением корней» – беловласый богатырь сохранял величавое спокойствие. Он держал себя, как человек, который знает, когда ему придет время сказать свое слово, а пока – он просто кушал разложенную им на полосатой подушке провизию и выпил три или четыре рюмки той аппетитной влаги «Ея же и монаси приемлют». Во все это время он не проронил ни одного звука. Но зато, когда у него все это важнейшее дело было окончено как следует, и когда весь буфет был им снова тщательно убран, – он щелкнул складным ножом и закурил с собственной спички невероятно толстую, самодельную папиросу, потом вдруг заговорил и сразу завладел всеобщим вниманием.

Говорил он громко, внушительно и смело, так что никто не думал ему возражать или противоречить, а, главное, он ввел в беседу живой общезанимательный любовный элемент, к которому политика и цензура нравов примешивалась только слегка, левою сторо-

ною, не докучая и не портя живых приключений мимо протекшей жизни.

Глава вторая

Он начал речь свою очень деликатно, – каким-то чрезвычайно приятным и в своем роде даже красивым обращением к пребывающему здесь «обществу», а потом и перешел прямо к предмету давних и ныне столь обыденных суждений.

– Видите ли, – сказал он, – мне все это, о чем вы говорили, не только не чуждо, но даже, вернее сказать, очень знакомо. Мне, как видите, уже не мало лет, – я много жил и могу сказать – много видел. Все, что вы говорите про жидов и поляков, – это все правда, но все это идет от нашей собственной русской, глупой деликатности; все хотим всех деликатней быть. Чужим мирволим, а своих давим. Мне это, к сожалению, очень известно и даже больше того, чем известно: я это испытал на самом себе-с, но вы напрасно думаете, что это только теперь настало: это давно завелось и напоминает мне одну роковую историю. Я положим, не принадлежу к прекрасному полу, к

которому принадлежала Шехеразада, однако я тоже очень бы мог позанять иного султана не пустыми рассказами. Жидов я очень знаю, потому что живу в этих краях и здесь постоянно их вижу, да и в прежнее время, когда еще в военной службе служил, и когда по роковому случаю городничим был, так не мало с ними повозился. Случалось у них и деньги занимать, случалось и за пейсы их трепать и в шею выталкивать, всего приводил бог, – особенно когда жид придет за процентами, а заплатить нечем. Но бывало, что я и хлеб-соль с ними водил, и на свадьбах у них бывал, и мацу, и гутель, и аманово ухо у них ел, а к чаю их булки с чернушкой и теперь предпочитаю непращенной сайке, но того, что с ними теперь хотят сделать, – этого я не понимаю. Нынче о них везде говорят и даже в газетах пишут... Из-за чего это? У нас, бывало, простохватишь его чубуком по спине, а если он очень дерзкий, то клюквой в него выстрелишь, – он и бежит. И жид большего не стоит, а выводить его совсем в расход не надо, потому что при случае жид бывает человек полезный.

Что же касается в рассуждении всех подлостей, которые евреям приписывают, так я вам скажу, это ничего не значит перед молдаванами и еще валахами, и что я с своей стороны предложил бы, так это не вводить жидов в утробы, ибо это и невозможно, а помнить, что есть люди хуже жидов.

– Кто же, например?

– А, например, румыны-с!

– Да, про них тоже нехорошо говорят, – отозвался солидный пассажир с табакеркой в руках.

– О-о, батюшка мой, – воскликнул, весь оживившись, наш старец: – поверьте мне, что это самые худшие люди на свете. Вы о них только слыхали, но по чужим словам, как по лестнице, можно черт знает куда залезть, а я все сам на себе испытал и, как православный христианин, свидетельствую, что хотя они и одной с нами православной веры, так что, может быть, нам за них когда-нибудь еще и воевать придется, но это такие подлецы, каких других еще и свет не видал.

И он нам рассказал несколько плутовских приемов, практикующихся или некогда прак-

тиковавшихся в тех местах Молдавии, которые он посещал в свое боевое время, но все это выходило не ново и мало эффектно, так что бывший среди прочих слушателей пожилой лысый купец даже зевнул и сказал:

– Это и у нас музыка известная!

Такой отзыв оскорбил богатыря, и он, слегка сдвинув брови, молвил:

– Да, разумеется, русского торгового человека плутом не удивишь!

Но вот рассказчик оборотился к тем, которые ему казались просвещеннее, и сказал:

– Я вам, господа, если на то пошло, расскажу анекдотик из ихнего привилегированного-то класса; расскажу про их помещичьи нравы. Тут вам кстати будет и про эту нашу дымку очес, через которую мы на все смотрим, и про деликатность, которою только своим и себе вредим.

Его, разумеется, попросили, и он начал, пояснив, что это составляет и один из очень достопримечательных случаев его боевой жизни.

Глава третья

Рассказчик начал так.

Человек, знаете, всего лучше познается в деньгах, картах и в любви. Говорят, будто еще в опасности на море, но я этому не верю, – в опасности иной трус развоюется, а смельчак спасует. Карты и любовь... Любовь даже может быть важней карт, потому что всегда и везде в моде: поэт это очень правильно говорит: «любовь царит во всех сердцах», без любви не живут даже у диких народов, – а мы, военные люди, ею «все движемся и едим». Положим, что это сказано в рассуждении другой любви, однако, что попы ни сочиняй, – всякая любовь есть «влечение к предмету». Это у Курганова сказано. А вот предмет предмету рознь, – это правда. Впрочем, в молодости, а для других даже еще и под старость, самый общеупотребительный предмет для любви все-таки составляет женщина. Никакие проповедники этого не могут отменить, потому что бог их всех старше и как он сказал: «не благо быть человеку единому», так и остается.

В наше время у женщин не было нынешних мечтаний о независимости, – чего я, впрочем, не осуждаю, потому что есть мужья совершенно невозможные, так что верность им даже можно в грех поставить. Не было тогда и этих гражданских браков, как нынче завелось. Тогда на этот счет холостежь была осторожнее и дорожила свободой. Браки были тогда только обыкновенные, настоящие, в церкви петые, при которых обычаем не возбранялась свободная любовь к военным. Этого греха, как и в романах Лермонтова, видно было действительно очень много, но только происходило все это по-раскольнически, то есть «без доказательств». Особенно с военными: народ перехожий, нигде корней не пускали: нынче здесь, а завтра затрубим и на другом месте очутимся – следовательно, что шито, что вито, – все позабыто. Стеснения никакого. Зато нас и любили, и ждали. Куда, бывало, в какой городишко полк ни вступит, – как на званный пир, сейчас и закипели шуры-муры. Как только офицеры почистятся, поправятся и выйдут гулять, так уже в прелестных маленьких домиках окна у барышень открыты

и оттуда летит звук фортепиано и пение. Любимый романс был:

*Как хорош, – не правда ль, мама,
Постоялец наш удалый,
Мундир золотом весь шитый,
И как жар горят ланиты,
Боже мой,
Боже мой,
Ах, когда бы он был мой.*

Ну уж, разумеется, из какого окна услышал это пение – туда глазом и мечешь – и никогда не даром. В тот же день к вечеру, бывало, уже полетят через денщиков и записочки, а потом пойдут порхать к господам офицерам горничные... Тоже не нынешние субретки, но крепостные, и это были самые бескорыстные создания. Да мы, разумеется, им часто и платить ничем иным не могли, кроме как поцелуями. Так и начинаются, бывало, любовные утехи с посланниц, а кончаются с пославшими. Это даже в водевиле у актера Григорьева на театрах в куплете пели:

*Чтоб с барышней слюбиться,
За девкой волочись.*

При крепостном звании горничною не называли, а просто – девка.

Ну, понятно, что при таком лестном внимании все мы военные люди были чертовски женщинами избалованы! Тронулись из Великой России в Малороссию – и там то же самое; пришли в Польшу – а тут этого добра еще больше. Только польки ловкие – скоро женить наших начали. Нам командир сказал: «Смотрите, господа, осторожно», и действительно у нас бог спасал – женитьбы не было. Один был влюблен таким образом, что побуждал предложение делать, но застал свою будущую тещу наедине и, к счастью, ею самою так увлекся, что уже не сделал дочери предложения. И удивляться нечему, что были успехи, – потому что народ молодой и везде встречали пыл страсти. Нынешнего житья, ведь, тогда в образованных классах не было... Внизу там, конечно, пищали, но в образованных людях просто зуд любовный одолевал, и притом внешность много значила. Девицы и замужние признавались, что чувствуют этакое, можно сказать, какое-то безотчетное замирание при одной военной форме... Ну, а мы зна-

ли, что на то селезню дано в крылья зеркальце, чтобы утице в него поглядеться хотелось. Не мешали им собой любоваться...

Из военных не много было женатых, потому что бедность содержания, и скучно. Женившись: тащись сам на лошадке, жена на коровке, дети на телятках, а слуги на собачках. Да и к чему, когда и одинокие тоски жизни одинокой, по милости божией, никогда нимало не испытывали. А уж о тех, которые собой поавантажнее, или могли петь, или рисовать, или по-французски говорить, то эти часто даже не знали, куда им деваться от рога изобилия. Случалось даже, в придачу к ласкам и очень ценные безделушки получали, и то так, понимаете, что отбиться от них нельзя... Просто даже бывали случаи, что от одного случая вся, бедняжка, вскрыется, как клад от аминя, и тогда непременно забирай у нее что отдает, а то сначала на коленях просит, а потом обидится и заплачет. Вот у меня и по сейчас одна такая заветная балаболка на руке застряла.

Рассказчик показал нам руку, на которой на одном толстом, одеревянелом пальце за-

плыл старинной работы золотой эмалированный перстень с довольно крупным алмазом. Затем он продолжил рассказ:

Но такой нынешней гнусности, чтобы с мужчин чем-нибудь пользоваться, этого тогда даже и в намеках не было. Да и куда, и на что? Тогда, ведь, были достатки от имений, и притом еще и простота. Особенно в уездных городках, ведь, чрезвычайно просто жили. Ни этих нынешних клубов, ни букетов, за которые надо деньги заплатить и потом бросить, не было. Одевались со вкусом, – мило, но простенько: или этакий шелковый марсельинец, или цветная кисейка, а очень часто не пренебрегали и ситчиком или даже какою-нибудь дешевенькою цветною холстинкою. Многие барышни еще для экономии и фартучки и бретельки носили с разными такими бахромочками и городками, и часто это очень красиво и нарядно было, и многим шло. А прогулки и все эти рандевушки совершались совсем не по-нынешнему. Никогда не приглашали дам куда-нибудь в загородные кабаки, где только за все дерут вдесятеро, да в щелки подсматривают. Боже сохрани! Тогда девушка

или дама со стыда бы сгорела от такой мысли, и ни за что бы не поехала в подобные места, где мимо одной лакузы-то пройти – все равно, как сквозь строй! И вы сами ведете свою даму под руку, видите, как те подлецы за вашими плечами зубы скалят, потому что в их холопских глазах, что честная девица, что женщина, увлекаемая любовною страстию, что какая-нибудь дама из Амстердама – это все равно. Даже если честная женщина скромнее себя держит, так они о ней еще ниже судят: «Тут, дескать, много поживы не будет: по барыньке и говядинка».

Нынче этим манкируют, но тогдашняя дама обиделась бы, если бы ей предложить хотя бы самое приятное уединение в таком месте.

Тогда был вкус и все искали, как все это облагородить, и облагородить не каким-нибудь фанфаронством, а именно изящной простотою, – чтобы даже ничто не подавало воспоминаний о презренном металле. Влюбленные всего чаще шли, например, гулять за город, рвать в цветущих полях васильки или где-нибудь над речечкой под лозою рыбу удить или вообще, что-нибудь другое этакое

невинное и простосердечное. Она выйдет с своею крепостною, а ты сидишь на рубежке, поджидаешь. Девушку, разумеется, оставишь где-нибудь на меже, а с барышней углубишься в чистую зреющую рожь... Это колося, небо, букашки разные по стебелькам и по земле ползают... А с вами молодое существо, часто еще со всей институтской невинностью, которое не знает, что говорить с военным, и точно у естественного учителя спрашивает у вас: «Как вы думаете: это букан или букашка?..» Ну, что тут думать: букашка это или букан, когда с вами наедине и на вашу руку опирается этаким живой, чистейший ангел! Закружатся головы и, кажется, никто не виноват и никто ни за что отвечать не может, потому что не ноги тебя несут, а самое поле в лес уплывает, где этакие дубы и клены, и в их тени задумчивы дриады!.. Ни с чем, ни с чем в мире не сравнимое состояние блаженства! Святое и безмятежное счастье!..

Рассказчик так увлекся воспоминаниями высоких минут, что на минуту умолк. А в это время кто-то тихо заметил, что для дриад это начиналось хорошо, но кончалось не без хло-

пот.

– Ну да, – отозвался повествователь, – после, разумеется, ищи что на орле, на левом крыле. Но я о себе-то, о кавалерах только говорю: мы привыкли принимать себе такое женское внимание и сакрифисы в простоте, без рассуждений, как дар Венеры Марсу следующий, и ничего продолжительного ни для себя не требовали, ни сами не обещали, а пришли да взяли – и поминай как звали. Но вдруг крутой перелом! Вдруг прямо из Польши нам пришло неожиданное назначение в Молдавию. Поляки мужчины страсть как нам этот румынский край расхваливали: «Там, говорят, куконы, то есть эти молдаванские дамы, – такая краса природы совершенство, как в целом мире нет. И любовь у них, будто, получить ничего не стоит, потому что они ужасно пламенные».

Что же, – мы очень рады такому кладу.

Наши ребята и расхорохорились. Из последнего тянуться, перед выходом всяких перчаток, помад и духов себе в Варшаве понакупили и идут с этим запасом, чтобы куконы сразу поняли, что мы на руку лапоть не обу-

ваем.

Затрубили, в бубны застучали и вышли с веселою песнею:

*Мы любовниц оставляем,
Оставляем и друзей.
В шумном виде представляем
Пулей свист и звук мечей.*

Ждали себе невесть каких благодатей, а вышло дело с такой развязкою, какой никаким образом невозможно было представить.

Глава четвертая

Вступали мы к ним со всем русским радушием, потому что молдаване все православные, но страна их нам с первого же впечатления не понравилась: низменность, кукуруза, арбузы и земляные груши прекрасные, но климат нездоровый. Очень многие у нас еще на походе переболели, а к тому же ни приветливости, ни благодарности нигде не встречаем.

Что ни понадобится – за все давай деньги, а если что-нибудь, хоть пустяки, без денег у молдава возьмут, так он, чумазый, заголосит,

будто у него дитя родное отняли. Воротишь ему – бери свои костыли, – только не голоси, так он спрячет и сам уйдет, так что его, черта лохматого, нигде и не отыщешь. Иной раз даже проводить или дорогу показать станет и некому – все разбегутся. Трусишки единственные в мире, и в низшем классе у них мы ни одной красивой женщины не заметили. Одни девчонки чумазые, да пребезобразнейшие старухи.

Ну, думаем себе, может быть у них это так только в хуторах придорожных: тут всегда народ бывает похуже; а вот придем в город, там изменится. Не могли же поляки совсем без основания нас уверять, что здесь хороши и куконы! Где они, эти куконы? Посмотрим.

Пришли в город, ан и здесь то же самое: за все решительно извольте платить.

В рассуждении женской красоты поляки сказали правду. Куконы и куконицы нам очень понравились – очень томны и так гибки, что даже полек превосходят, а ведь уж польки, знаете, славятся, хотя они на мой вкус немножко большероты, и притом в характере капризов у них много. Пока дойдет до

того, что ей по Мицкевичу скажешь: «Коханка моя! на цо нам размова», – вволю ей накла-
няешься. Но в Молдавии совсем другое—тут
во всем жид действует. Да-с, простой жид и
без него никакой поэзии нет. Жид является к
вам в гостиницу и спрашивает: не тяготитесь
ли вы одиночеством и не причуяли ли ка-
кую-нибудь кукону?

Вы ему говорите, что его услуги вам не го-
дятся, потому что сердце ваше уязвлено, на-
пример, такую-то или такую-то дамою, кото-
рую вы видели, например скажете, в таком-то
или таком-то доме под шелковым шатром на
балконе. А жид вам отвечает: «можно».

Поневоле окрик дашь:

– Что такое «можно»?!

Отвечает, что с этою дамою можно иметь
компанию, и сейчас же предлагает, куда надо
выехать за город, в какую кофейню, куда и
она приедет туда с вами кофе пить. Сначала
думали – это вранье, но нет-с, не вранье. Ну, с
нашей мужской стороны, разумеется, препят-
ствий нет, все мы уже что-нибудь присмот-
рели и причуяли и все готовы вместе с ка-
кою-нибудь куконою за город кофе пить.

Я тоже сказал про одну кукону, которую видел на балконе. Очень красивая. Жид сказал, что она богатая и всего один год замужем.

Что-то уж, знаете, очень хорошо показалось, так что даже и плохо верится. Переспросил еще раз, и опять то же самое слышу: богатая, год замужем и кофе с нею пить можно.

– Не врешь ли ты? – говорю жиду.

– Зачем врать? – отвечает, – я все честно сделаю: вы сидите сегодня вечером дома, а как только смеркнется к вам придет ее няня.

– А мне на какой черт нужна ее няня?

– Иначе нельзя. Это здесь такой порядок.

– Ну, если такой порядок, то делать нечего, в чужой монастырь с своим уставом не ходят. Хорошо; скажи ее няне, что я буду сидеть дома и буду ее дожидаться.

– И огня, – говорит, – у себя не зажигайте.

– Это зачем?

– А чтобы думали, что вас дома нет.

Пожал плечами и на это согласился.

– Хорошо, – говорю, – не зажгу.

В заключение жид с меня за свои услуги червонец потребовал.

– Как, – говорю, – червонец! Ничего еще не видя, да уж и червонец! Это жирно будет.

Но он, шельма этакий, должно быть, травленный. Улыбается и говорит:

– Нет; уж после того как увидите– поздно будет получать. Военные, говорят, тогда не того...

– Ну, – говорю, – про военных ты не смей рассуждать, – это не твое дело, а то я разобью тебе морду и рыло и скажу, что оно так и было.

А впрочем дал ему злата и проклял его и верного позвал раба своего.

Дал денщику двугривенный и говорю:

– Ступай куда знаешь и нарежься как сапожник, только чтобы вечером тебя дома не было.

Все, замечайте, прибавляется расход к расходу. Совсем не то, что васильки рвать. Да, может быть, еще и няньку надо позолотить.

Наступил вечер; товарищи все разошлись по кофейням. Там тоже девицы служат и есть довольно любопытные, – а я притворился, солгал товарищам, будто зубы болят и будто мне надо пойти в лазарет к фельдшеру ка-

ких-нибудь зубных капель взять, или совсем пускай зуб выдернет. Обежал поскорей квартал да к себе в квартиру, – нырнул незаметно; двери отпер и сел без огня при окошечке. Сижу как дурак, дожидаясь: пульс колотится и в ушах стучит. А у самого уже и сомнение закралось, думаю: не обманул ли меня жид, не наговорил ли он мне про эту няньку, чтобы только червонец себе схватить... И теперь где-нибудь другим жидам хвалится, как он офицера надул, и все помирают, хохочут. И в самом деле, с какой стати тут няня и что ей у меня делать?.. Преглупое положение, так что я уже решил: еще подожду, пока сто сосчитаю, и уйду к товарищам.

Глава пятая

Вдруг, я и полсотни не сосчитал, раздался тихонечко стук в двери и что-то такое вползает, – шуршит таким чем-то твердым. Тогда у них шалоновые мантоны носили, длинные, а шалон шуршит.

Без свечи-то темно у меня так, что ничего ясно не рассмотришь, что это за кукуруза.

Только от уличного фонаря чуть-чуть видно, что гостья моя, должно быть, уже очень большая старушенция. И однако, и эта с предосторожностями, так что на лице у нее вуаль.

Вошла и шепчет:

– Где ты?

Я отвечаю:

– Не бойся, говори громко: никого нет, а я ожидаюсь, как сказано. Говори, когда же твоя кукона поедет кофе пить?

– Это, – говорит, – от тебя зависит.

И все шепотом.

– Да я, – говорю, – всегда готов.

– Хорошо. Что же ты мне велишь ей передать?

– Передай, мол, что я ею поражен, влюблен, страдаю, и когда ей угодно, я тогда и явлюсь, хотя, например, завтра вечером.

– Хорошо, завтра она может приехать.

Кажется, ведь надо бы ей после этого уходить, – не так ли? Но она стоит-с!

– Чего-с!

Надо, видно, проститься еще с одним червонцем. Себе бы он очень пригодился, но уж нечего делать – хочу ей червонец подать, как она вдруг спрашивает:

– Согласен ли я сейчас, с нею послать куко-не *триста червонцев*?

– Что-о-о тако-о-ое?

Она преспокойно повторяет «триста червонцев», и начинает мне шептать, что муж ее куконы хотя и очень богат, но что он ей не верен и проживает деньги с итальянскою графиней, а кукона совсем им оставлена и даже должна на свой счет весь гардероб из Парижа выписывать, потому что не хочет хуже других быть...

То есть вы понимаете меня, – это черт знает что такое! Триста золотых червонцев – ни больше, ни меньше!.. А ведь это-с тысяча руб-

лей! Полковницкое жалованье за целый год службы... Миллион карточек! Как это выговорить и предъявить такое требование к офицеру? Но, однако, я нашелся: червонцев у меня, думаю, столько нет, но честь свою я поддерживать должен.

– Деньги, – говорю, – для нас, русских, пустяки. – Мы о деньгах не говорим, но кто же мне поручится, что ты ей передашь, а не себе возьмешь мои триста червонцев?

– Разумеется, – отвечает, – я ей передам.

– Нет, – говорю, – деньги дело не важное, – но я не желаю быть тобою одурачен. – Пусть мы с нею увидимся, и я ей самой, может быть, еще больше дам.

А кукуруза вломила в амбицию и начала наставление мне читать.

– Что ты это, – говорит, – разве можно, чтобы кукона сама брала.

– А я не верю.

– Ну, так иначе, – говорит, – ничего не будет.

– И не надобно.

Таковыми она меня впечатлениями исполнила, что я даже физическую усталость почув-

ствовал, и очень рад был, когда ее черт от меня унес.

Пошел в кофейню к товарищам, напился вина до чрезвычайности и проводил время, как и прочие, по-кавалерски; а на другой день пошел гулять мимо дома, где жила моя пригляженная кукона, и вижу, она как святая сидит у окна в зеленом бархатном спенсере, на груди яркий махровый розан, ворот низко вырезан, голая рука в широком распашном рукаве, шитом золотом, и тело... этакое удивительное розовое... из зеленого бархата, совершенно как арбуз из кожи, выглядывает.

Я не стерпел, подскочил к окну и заговорил:

– Вы меня так измучили, как женщина с сердцем не должна; я томился и ожидал минуты счастья, чтобы где-нибудь видеться, но вместо вас пришла какая-то жадная и для меня подозрительная старуха, насчет которой я, как честный человек, долгом считаю вас предупредить: она ваше имя марает.

Кукона не сердится; я ей брякнул, что старуха деньги просила, – она и на это только улыбается. Ах ты черт возьми! зубки откры-

ла – просто перлы среди кораллов, – все очаровательно, но как будто дурочкой от нее немножко пахнуло.

– Хорошо, – говорит, – я няню опять пришлю.

– Кого? эту же самую старуху?

– Да; она нынче вечером опять придет.

– Помилуйте, – говорю, – да вы, верно, не знаете, что эта алчная старуха какою не стоящею уважения особою вас представляет!

А кукона вдруг уронила за окно платок, и когда я нагнулся его поднять, она тоже слегка перевесилась так, что вырез-то этот проклятый в ее лифе весь передо мною, как детский бумажный кораблик, вывернулся, а сама шепчет:

– Я ей скажу... она будет добрее. – И с этим окном тюк на крюк.

«Я ее вечером опять пришлю». «Я велю быть добрее». Ведь тут уже не все глупость, а есть и смелая деловитость... И это в такой молоденькой и в такой хорошенькой женщине!

Любопытно, и кого это не заинтересует? Ребенок, а несомненно, что она все знает и все сама ведет и сама эту чертовку ко мне

присылала и опять ее пришлет.

Я взял терпение, думаю: делать нечего, буду опять дожидаться, чем это кончится.

Дождлся сумерек и опять притаился, и жду в потемках. Входит опять тот же самый шалоновый сверток под вуалем.

– Что, – спрашиваю, – скажешь?

Она мне шепотом отвечает:

– Кукона в тебя влюблена и с своей груди розу тебе прислала.

Очень, – говорю, – ее благодарю и ценю, – взял розу и поцеловал.

– Ей от тебя не надо трехсот червонцев, а только полтора.

Хорошо сожаление... Сбавка большая, а все-таки полтора червонцев пожалуйста. Шутка сказать! Да у нас решительно ни у кого тогда таких денег не было, потому что мы, выходя из Польши, совсем не так были обнадежены и закупили себе что нужно и чего не нужно, – всякого платья себе нашили, чтобы здесь лучше себя показать, а о том, какие здесь порядки, даже и не думали.

– Поблагодари, – говорю, – твою кукону, а ехать с нею на свидание не хочу.

– Отчего?

– Ну вот еще: отчего? не хочу да и баста.

– Разве ты бедный? Ведь у вас все богатые.

Или кукона не красавица?

– И я, – говорю, – не бедный, у нас нет бедных, – и твоя кукона большая красавица, а мы к такому обращению с нами не привыкли!

– А вы как же привыкли?

– Я говорю: «Это не твое дело».

– Нет, – говорит, – ты мне скажи: как вы привыкли, может быть и это можно.

А я тогда встал, приосанился и говорю:

– Мы вот как привыкли, что на то у селезня в крыльях зеркальце, чтобы уточка сама за ним бежала глядеться.

Она вдруг расхохоталась.

– Тут, – говорю, – ничего нет смешного.

– Нет, нет, нет, – говорит, – это смешное! И убежала так скоро, словно улетела.

Я опять расстроился, пошел в кофейню и опять напился.

Молдавское вино у них дешево. Кислит немножко, но пить очень можно.

Глава шестая

На другое утро, государи мои, еще лежу я в постели, как приходит ко мне жид, который сам собственно и ввел меня во всю эту дурацкую историю, и вдруг пришел просить себе за что-то еще червонец.

– Я говорю: «За что же это ты, мой любезный, стоишь еще червонца?»

– Вы, – говорит, – мне сами обещали.

Я припоминаю, что, действительно, я ему обещал другой червонец, но не иначе, как после того, как я буду уже иметь свидание с куконой.

Так ему и говорю. А он мне отвечает:

– А вы же с нею уже два раза виделись.

– Да, мол, – у окошка. Но это недостаточно.

– Нет, – отвечает: – она два раза у вас была.

– У меня какой-то черт старый был, а не кукона.

– Нет, – говорит, – у вас была кукона.

– Не ври, жид, – за это вашего брата бьют!

– Нет, я, – говорит, – не вру: это она сама у вас была, а не старуха. Она вам и свою розу подарила, а старухи... у нее совсем нет ника-

кой старухи.

Я свое достоинство сохранил, но это меня просто ошпарило. Так мне стало досадно и так горько, что я вцепился в жида и исколотил его ужасно, а сам пошел и нарезался молдавским вином до беспамятства. Но и в этом-то положении никак не забуду, что кукона у меня была и я ее не узнал и как ворона ее из рук выпустил. Недаром мне этот шалоновый сверток как-то был подозрителен... Словом, и больно, и досадно, но стыдно так, что хоть сквозь землю провалиться... Был в руках клад, да не умел брать, – теперь сиди дураком.

Но, к утешению моему, в то же самое время, в подобных же родах произошла история и с другими моими боевыми товарищами, и все мы с досады только пили, да арбузы ели с кофейницами, а настоящих куконов уже порешили наказать презрением.

Васильковое наше время невинных успехов кончилось. Скучно было без женщин порядочного образованного круга в сообществе одних кофейниц, но старые отцы капитаны нас куражили.

– Неужели, – говорили, – если в одном саду

яблоки не зародились, так и Спасова дня не будет? Кураж, братцы! Сбой поправкой кра-сен.

Куражились мы тем, что нас скоро выведут из города и расквартируют по хуторам. Там помещичьи барышни и вообще все общество, должно быть, не такое, как городское, и подобной скаредности, как здесь, быть не может. Так мы думали и не воображали того, что там нас ожидало еще худшее и гораздо больше досадное. Впрочем, и предвидеть невозможно было, чем нас одолжат в их деревенской простоте. Пришел вожделенный день, мы затрубили, забубнили, «Черную галку» запели и вышли на вольный воздух. — Авось, мол, тут опять заголубеют для нас васильки.

Глава седьмая

Распределение, где кому стоять, нам вышло самое разнообразное, потому что в Молдавии на заграничный манер, – таких больших деревень, как у нас, нет, а все хутора или мызы. Офицеры бились все ближе к мызе Холуян, потому что там жил сам бояр или бан, тоже по прозванию Холуян. Он был женатый, и жена, говорили, будто красавица, а о нем говорили, что он большой торгаш, – у него можно иметь все, только за деньги – и стол, и вино. Прежде нас там поблизости другие наши войска стояли, и мы встретили на дороге квартирмейстера, который у Холуяна квитанцию выправлял. Обратились к нему с расспросами: что и как? Но он был из полковых стихотворцев и все любил рифмами отвечать.

– Ничего, – говорит, – мыза хорошая, как придете, увидите:

*Между гор, между ям
Сидит птица Холуян.*

Предурацкая эта манера стихами о деле говорить. У таких людей ничего путного нико-

гда не добьешься.

– А куконы, – спрашиваем, – есть?

– Как же, – отвечает: – есть и куконы, есть и препоны.

– Хороши? то есть красивые?

– Да, – говорит, – красивые и не очень спесивые.

Спрашиваем: находили ли там их офицеры благорасположение?

– Как же, там, – отвечает, – на тонце, на древце наши животы скончались.

– Черт его знает, что за язык такой! – все загадки загадывает.

Однако, все мы поняли, что этот шельма из хитрых и ничего нам открыть не хотел.

А только вот, хотите верьте, хотите вы не верьте в предчувствие... Нынче ведь неверие в моде, а я предчувствиям верю, потому что в бурной жизни моей имел много тому доказательств, но на душе у меня, когда мы к этой мызе шли, стало так уныло, так скверно, что просто как будто я на свою казнь шел.

Ну, а пути и времени, разумеется, все убывает, и вот; пока я иду на своем месте в раздумчивости, сапогами по грязи шлепаю, кто-

то из передних увидал и крикнул:

– Холуян!

Прокатило это по рядам, а я отчего-то вдруг вздрогнул, но перекрестился и стал всматриваться, где этот чертовский Холуян.

Однако, и крест не отогнал от меня тоски. В сердце такое томление, как описывается, что было на походе с молодым Ионафаном, когда он увидал сладкий мед на поле. Лучше бы его не было, – не пришлось бы тогда бедному юноше сказать: «Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю».

А мыза Холуян, действительно, стояла совсем перед нами и взаправду была она между гор и между ям, то есть между таких-каких-то ледащих холмушков и плюгавеньких озерцов.

Первое впечатление она на меня произвела самое отвратительное.

Были уже и какие-то настоящие пустые ямы, как могилы. Черт их знает, когда и какими чертями и для кого они выкопаны, но преглубокие. Глину ли из них когда-нибудь доставали, или, как некоторые говорили, будто бы тут есть целебная грязь и будто ею еще

римляне пачкались. Но вообще местность прегрустная и престранная.

Виднеются кой-где и перелесочки, но точно маленькие кладбища. Грунт, что называется, мочажинный и, надо полагать, пропитан нездоровою сыростью. Настоящее гнездо злой молдаванской лихорадки, от которой людидохнут в молдавском поту.

Когда мы подходили вечером, небо зарилось, этакое ражее, красное, а над зеленью сине, как будто синяя тюль раскинута – такой туман. Цветков и васильков нет, а торчат только какие-то точно пухом осыпанные будылья, на которых сидят тяжелые желтые кувшины вроде лилий, но преядовитые: как чуть его понюхаешь, – сейчас нос распухнет. И что еще удивило нас, как тут много цапель, точно со всего света собраны, которая летит, которая в воде на одной ножке стоит. Терпеть не могу, где множится эта фараонская птица: она имеет что-то такое, что о всех египетских казнях напоминает. Мыза Холуян довольно большая, но, черт ее знает, как ее следовало назвать, – дрянная она или хорошая. Очень много разных хозяйственных построек, но все

как-то будто нарочно раскидано «между гор и между ям». Ничего почти одного от другого не разглядишь: это в ямке и то в ямке, а посреди бугорок. Точно как будто имели в виду делать здесь что-нибудь тайное под большим секретом. Всего вероятнее, пожалуй, наши русские деньги подделывали. Дом помещичий, низенький и очень некрасивый... Облупленный, труба высокая и снаружи небольшой, но просторный, – говорили, – будто есть комнат шестнадцать. Снаружи совсем похоже на те наши станционные дома, что покойный Клейнмихель по московскому шоссе настроил. И буфеты, и конторы, и проезжающие, и смотритель с семьею, и все это черт знает куда влезало, и еще просторно. Строено прямо без всякого фасона, как фабрика, крыльцо посередине, в передней буфет, прямо в зале бильярд, а жилые комнаты где-то так особенно спрятаны, как будто их и нет. Словом, все как на станции или в дорожном трактире. И в довершение этого сходства напоминаю вам, что в передней был учрежден буфет. Это, пожалуй, и хорошо было «для удобства господ офицеров», но вид-то все-таки странный, а

устройство этого буфета сделано тоже с подлостью, – чтобы ничем нашего брата бесплатно не попотчевать, а вот как: все, что у нас есть, мы все предоставляем к вашим услугам, только не угодно ли получить «за чистые денежки». Кредит, положим, был открыт свободный, но все, что получали, водку ли, или их местное вино, все этакий особый хлап, в синем жупане с красным гарусом, – до самой мелочи писал в книгу живота. Даже и за еду деньги брали; мы сначала к этому долго никак не могли себя приучить, чтобы в помещицьем доме и деньги платить. И надо вам знать, как они это ловко подвели, чтобы деньги брать. Тоже прекурьезно. У нас в России или в Польше у хлебосольного помещика стыда бы одного не взяли завести такую коммерцию. С первого же дня является этот жупан, обходит офицеров и спрашивает: не угодно ли будет всем с помещиком кушать?

Наши ребята, разумеется, простые, добрые и очень благодарят:

– Очень хорошо, – говорят, – мы очень рады.

– А где, – продолжает жупан, – прикажете

накрывать на стол: в зале или на веранде? У нас, – говорит, – есть и зала большая, и веранда большая.

– Нам, – говорим, – голубчик, это все равно, где хотите.

Нет-таки, добивается, говорит: «бояр велел вас спросить и накрывать стол непременно по вашему желанию».

«Вот, – думаем, – какая предупредительность! – Накрывай, брат, где лучше».

– Лучше, – отвечает, – на веранде.

– Пожалуй, там должно быть воздух свежее.

– Да, и там пол глиняный.

– В этом какое же удобство?

– А если красное вино прольется, или что-нибудь другое, то удобнее вытереть и пятна не останется.

– Правда, правда!

Замышляется, видим, что-то вроде разливного моря.

Вино у них, положим, дешевое, правда, с привкусом, но ничего: есть сорта очень изрядные.

Настает время обеда. Являемся, садимся за

стол – все честь честью, – и хозяйева с нами: сам Холуян, мужчина, этакий худой, черный, с лицом выжженной глины, весь, можно сказать, жилистый да глиняный и говорит с передушинкой, как будто больной.

– Вот, – говорит, – господа, у меня вина такого-то года урожая хорошего; не хотите ли попробовать?

– Очень рады.

Он сейчас же кричит слуге:

– Поддай господину поручику такого-то вина. Тот подает и непременно непочатую бутылку, а пред последним блюдом вдруг является жупан с пустым блюдом и всех обходит.

– Это что, мол, такое?!..

– Деньги за обед и за вино.

Мы переконфузились, – особенно те, с которыми и денег не случилось. Те под столом друг у друга потихоньку перехватывали.

Вот ведь какая черномазая рвань!

Но дело, которым до злого горя нас донял Холуян, разумеется, было не в этом, а в куконице, из-за которой на тонце, на древце все наши животы измотались, а я, можно сказать, навсегда потерял то, что мне было всего

дороже и милее, – можно сказать даже, священнее.

Глава восьмая

Семья у наших хозяев была такая: сам бан Холуян, которого я уж вам слегка изобразил: худой, жилистый, а ножки глиняные, еще не старый, а все палочкой подпирается и ни на минуту ее из рук не выпускает. Сядет, а палочка у него на коленях. Говорили, будто он когда-то был на дуэли ранен, а я думаю, что где-нибудь почту хотел остановить, да почтальон его подстрелил. После это объяснилось еще совсем иначе, и понятно стало, да поздно. А по началу казалось, что он человек светский и образованный, – ногти длинные, белые и всегда батистовый платок в руках. Для дамы, он, впрочем, кроме образования не мог обещать ни малейшего интереса, потому что вид у него был ужасно холодного человека. А у него куконица просто как сказочная царица: было ей лет не более, как двадцать два, двадцать три, – вся в полном расцвете, бровь тонкая, черная, кость легкая, а на плечиках уже первый молодой жирок ямочками пупит-

ся и одета всегда чудо как к лицу, чаще в палевом, или в белом, с расшивными узорами, и ножки в цветных башмаках с золотом.

Разумеется, началось смятение сердец. У нас был офицер, которого мы звали Фоблаз, потому что он удивительно как скоро умел обворожать женщин, – пройдет, бывало, мимо дома, где какая-нибудь мешчаночка хорошенькая сидит, – скажет всего три слова: «милые глазки ангелочки», – смотришь, уже и знакомство завязывается. Я сам был тоже предан красоте до сумасшествия. К концу обеда я вижу – у него уже все рыльце огнивцем, а глаза буравцом.

Я его даже остановил:

– Ты, – говорю, – неприличен.

– Не могу, – отвечает, – и не мешай, я ее раздеваю в моем воображении.

После обеда Холуян предложил метнуть банк.

Я ему говорю, – какая глупость! А сам вдруг о том же замечтал, и вдруг замечаю, что и у других у всех стало рыльце огнивцем, а глаза буравцом.

Вот она, мол, с какого симптома началась

проклятая молдавская лихорадка! Все согласились, кроме одного Фоблаза. Он остался при кулоне и до самого вечера с ней говорил.

Вечером спрашиваем:

– Что она, как – занимательна?

А он расхохотался.

– По-моему, – отвечает, – у нее, должно быть, матушка или отец с дуринкой были, а она по природе в них пошла. Решимости мало: никуда от дома не отходит. Надо сообразить – каков за нею здесь присмотр и кого она боится? Женщины часто бывают нерешительны да ненаходчивы. Надо за них думать.

А насчет досмотра в нас возбуждал подозрения не столько сам Холуян, как его брат, который назывался Антоний.

Он совсем был непохож на брата: такой мужиковатый, полного сложения, но на смешных тонких ножках.

Мы его так и прозвали «Антошка на тонкой ножке». – Лицо тоже было совершенно не такое, как у брата. Простой этакой, – ни скоблен, ни тесан, а слеplen да брошен, но нам сдавалось, что, несмотря на его баранью простоту, В нем клочок серой волчьей шерсти

есть... Однако, вышло такое удивление, что все наши подозрения были напрасны: за куконою совсем никакого присмотра не оказалось.

Образ жизни домашней у Холуянов был самый удивительный, – точно нарочно на нашу руку приспособлено.

Тонкого Холуяна Леонарда до самого обеда ни за что и нигде нельзя было увидеть. Черт его знает, где он скрывался! Говорили, будто безвыходно сидел в отдаленных, внутренних комнатах, и что-то там делал – литературой будто какой-то занимался. А Антошка на тонких ножках, как вставал, так уходил куда-то в поле с маленькою бесчеревной собачкою, и его также целый день не видно. Все по хозяйству ходит. Лучших, то есть, условий даже и пожелать нельзя.

Оставалось только расположить к себе кукону разговором и другими приемами. Думалось, что это недолго и что Фоблаз это сделает, но неожиданно замечаем, что наш Фоблаз не в авантаже обретается. Все он имеет вид человека, который держит волка за уши, – ни к себе его ни оборотит, ни выпустит, а между

тем уже видно, что руки набрякли и вот-вот сами отвалятся...

Видно, что малый ужасно сконфужен, потому что он к неудачам не привык, и не только нам, а самому себе этого объяснить не может.

– В чем же дело?

– Пароль донер, – говорит, – ничего не понимаю, кроме того, что она очень странная.

– Ну, богатая женщина, избалованная, капризничает, – весьма естественно.

Порядок жизни у нашей куконы был такой, что она не могла не скучать. С утра до обеда ее почти постоянно можно было видеть, как она мотается, и всегда одна-одинешенька или возится с самой глупейшей в мире птицей – с курицей: странное занятие для молодой, изящной, богатой дамы, но что сделать, если такова фантазия? Делать ей, видно, было совершенно нечего: выйдет она вся в белом или в палевом неглиже, сядет на широких плитах края веранды под зеленым хмелем, – в черных волосах тюльпан или махровый мак, и гляди на нее хоть целый день. Все ее занятие в том состояло, что, бывало, ка-

кую-то любимую свою маленькую курочку с сережками у себя на коленях лущеной кукурузой кормит. Ясное дело, что образования должно быть немного, а досуга некуда деть. Если с курицей возится, то, стало быть, ей очень скучно, а где женщине скучно, там кавалерское дело даму развлекать. Но ничего не выходит, – даже и разговор с нею вести трудно, потому что все только слышишь: «шти, эшти, молдованешти, кернешти» – десятого слова и того понять нельзя. А к мимике страстей она была ужасно беспонятна. Фоблаз совсем руки опустил, только конфузился, когда ему смеялись, что он с курицею не может соперничать. Пошли мы увиваться вокруг куконы все – кому больше счастье послужит, но ни одному из нас ничего не фортунило. Открываешься ей в любви, а она глядит на тебя своими черными волосками, или заговорит вроде: «шти, эшти, молдованешти», и ничего более.

Омерзело всем себя видеть в таком глупом положении, и даже ссоры пошли, друг к другу зависть и ревность, – придираемся, колкости говорим... Словом, все в беспокойнейшем со-

стоянии, то о ней мечтаем, то друг за другом в секрете смотрим за нею. А она сидит себе с этой курочкой и кончено. Так весь день глядим, всю ночь зеваем, а время мчится и строит нам еще другую беду. Я вам сказал, что с первого же дня, как обед кончился, Холуян предложил, что он нам банк заложит. С тех пор пошла ежедневно игра: с обеда режемся до полночи, и от того ли, что все мы стали рассеянные, или карты неверные, но многие из нас уже успели себя хорошо охолостить даже до последней копейки. А Холуян чистит, да чистит нас ежедневно, как баранов стрижет.

Разорились, оскудели и умом, и спокойствием, и неведомо до чего бы мы дошли, если бы вдруг не появилось среди нас новое лицо, которое, может быть, еще худшие беспокойства наделало, но, однако, дало толчок к развязке.

Приехал к нам с деньгами чиновник комиссариатский. Из поляков, и пожилой, но шельма ужасная: где взлает, где хвостом повилает, — и ото всех все узнал, как мы не живем, а зеваем. Пошел он тоже с нами к Холуя-

ну обедать, а потом остался в карты играть, – а на кукону, подлец, и не смотрит. Но на другой день-с вдруг говорит: «я заболел». Молдавская лихорадка, видите ли, схватила. И что же выдумал: не лекаря позвал, а попа, – молебен о здравии отслужить. Пришел поп – настоящий тараканный лоб: весь черный и запел ни на что похоже, – хуже армянского. У армянов хоть поймешь два слова: «Григориос Арнениос», а у этого ничего не разобрать, что он лопочет.

Поляк же, шельма, по-ихнему знал немножко и такую с попом конституцию развел, что приятелями сделались и оба друг другом довольны: поп рад, что комиссионер ему хорошо заплатил, а тот сразу же от его молебна выздоровел и такую штуку удрал, что мы и рты разинули.

Вечером, когда уже при свечах мы все в зале банк метали, – входит наш комиссионер и играть не стал, но говорит: «я болен еще», и прямо прошел на веранду, где в сумраке небес, на плитах, сидела кукона – и вдруг оба с нею за густым хмелем скрылись и исчезли в темной тени. Фоблаз не утерпел, выскочил, а

они уже преавантажно вдвоем на плотике через заливчик плывут к островку... На его же глазах переплыли и скрылись...

А Холуян хоть бы, подлец, глазом моргнул. Тасует карты и записи смотрит на тех, которые уже в долг промотались...

Глава девятая

Но надо вам сказать, что это был за островок, куда они отплывали.

Когда я говорил про мызу, я забыл вам сказать, что там при усадьбе было самого лучшего, – это вот и есть маленький островок перед верандой. Перед верандой прямо был цветник, а за цветником сейчас заливчик, а за ним островок, небольшой, так сказать, величины с хороший двор помещичьего дома. Весь он зарос густою жимолостью и разными цветущими кустами, в которых было много соловьев. Соловей у них хороший, – не такой крепкий как курский, но на манер бердичевского. Площадь острова была вся в бугорках или в холмиках, и на одном холмике была устроена беседочка, а под нею в плитах грот, где было очень прохладно. Тут стоял старин-

ный диван, на котором можно было отдохнуть, и большая золоченая арфа, на которой кукона играла и пела. По острову были расчищены дорожки и в одном месте по другую сторону дерновая скамья, откуда был широкий вид на луга. Сообщение через проливчик к островку было устроено посредством маленького прекрасного плотика. Перильца и все это на нем раскрашено в восточном вкусе, а посередине золоченое кресло. Садится кукона на это кресло, берет пестрое весло с двумя лопастями и переплывает. Другой человек мог стоять только сзади за ее креслом.

Остров этот и грот мы звали: «грот Калипсы», но сами там не бывали, потому что плотик у куконы был на цепочке заперт. Комиссионер нашел ключи к этой цепи...

Мы, по правде сказать, просто хотели его избить, но он смел был, каналья, и всех успокоил.

– Господа! – говорит: – из-за чего нам ссориться. Я вам весь путь покажу. Это мне поп сказал. Я его спросил: какая кукона? А он говорит: «очень хорошая – о бедных заботится». Я взял пятьдесят червонцев и ей подал молча,

для ее бедных, а она, также молча, мне руку подала и повезла с собою на остров. Головой вам отвечаю, – берите прямо в руки сверточек червонцев и, ни слова не разговаривая, тем же счастьем можете пользоваться. Вид лунный прекрасен, арфа сладкозвучна, но я ничем этим более наслаждаться не могу, потому что долг службы моей меня призывает, и я завтра еду от вас, а вы остаетесь.

Вот так развязка!

Он уехал, а мы смотрим друг на друга: кто может жертвовать в пользу бедных здешнего прихода по пятидесяти червонцев? Некоторые храбрились, – «я вот-вот из дома жду», – и другой тоже из дома ждет, а дома-то, верно, и в своих приходах случились бедные. Что-то никому не присылают.

И вдруг среди этого – неожиданнейшее приключение: Фоблаз оторвал цепь, которою был прикован плотик, переплыл туда один и в гроте застрелился.

Черт знает, что за происшествие! И товарища жаль, и глупо это как-то... совсем глупо, а однако, печальный факт совершился и одного из храбрых не стало.

Застрелился Фоблаз, конечно, от любви, а любовь разгорелась от раздражения самолюбия, так как он у всех женщин на своей родине был счастлив. Похоронили его честь честью, – с музыкой, а за упокой его души все, у одного собравшись, выпили и заговорили, что это так невозможно оставить, – что мы тут с нашей всегдашней простотою совсем пропадаем. А батальонный майор, который у нас был женатый и человек обстоятельный, говорит:

– Да вы и не беспокойтесь, я уже донес по начальству, что не ручаюсь, будет ли в чем вас из этой мызы вывести, и жду завтра же нового распоряжения. Пусть тут черт стоит у этого Холуяна! Проклятая мыза и проклятый хозяин!

И все мы то же самое чувствовали и радовались возможности уйти отсюда, но всем господам офицерам досадно было уйти отсюда так, – не наказавши подлецов.

Придумывали разные штуки устроить над Холуянами; думали его высечь или как-нибудь смешно обрить, но майор сказал:

– Боже спаси, господа: прошу вас, чтобы

ничего похожего на малейшее насилие не было, и кто ему должен – извольте, где хотите занять денег и с ним рассчитаться. А если что-нибудь невинненькое, для отыграния своей чести придумаете, – это можете.

Лиха беда, отыграния чести-то не было на что этого произвести.

Майор сказал, наконец, что он от нас только скрывает, а что собственно у него уже есть в кармане предписание выступить и что завтра здесь последний день нашей красы, а послезавтра на заре и выступим в другие места.

Тут мне и взбрыкнула на ум какая-то кобылка:

– Если, – говорю, – мы послезавтра выходим, так что завтра здесь наш последний вечер, то, сделайте милость, Холуян будет хорошо проучен, и никому не похвалится, что ему довелось русских офицеров надуть.

Некоторые похвалили, говорили, – «молодец», а другие не верили и смеялись: «ну, где тебе! лучше не трогай».

А я говорю:

– Это, господа, мое дело: я все беру за свой пай.

- Но что же такое ты сделаешь?
- Это мой секрет.
- Но Холуян будет наказан?
- Ужасно!
- И честь наша будет отомщена?
- Непременно.
- Поклянись.

Я поклялся тенью несчастного друга нашего Фоблаза, которая сама себя осудила одиноко блуждать в этом проклятом месте, и разбил свой стакан об пол.

Все товарищи меня подхватили, одобрили, расцеловали и запили нашу клятву, но только майор удержал, чтобы стаканов не бить.

– Это, – говорит, – один театральный фарс и больше ничего...

Разошлись прекрасно. Я был в себе крепко уверен, потому что план мой был очень хорош. Холуян в своих проделках должен быть совершенно одурачен.

Глава десятая

Настало завтра и последний день нашей красоты. Получили мы свое жалованье, отдали все сполна, кто сколько был должен Холуяну, и осталось у каждого столько денег, что и кошеля не надо. У меня было с чем-нибудь сто рублей, то есть на ихние, по-тогдашнему, это составляло с небольшим десять червонцев. А для меня, по плану затеи моей, еще требовалось, по крайней мере, сорок червонцев. Где же их взять? У товарищей и не было, да я и не хотел, потому что у меня другой план имелся. Я его и привел в исполнение.

Приходим на последнюю вечерю к Холуяну – он очень радушен и приглашает меня играть.

Я говорю:

– Рад бы играть, да игрушек нет.

Он просит не стесняться, – взять займы у него из банка.

– Хорошо, – говорю, – позвольте мне пятьдесят червонцев.

– Сделайте милость, – говорит, – и подвигает кучку.

Я взял и опустил их в карман.

Верил нам, шельма, будто мы все Шереметьевы.

Я говорю:

– Позвольте, я не буду пока ставить, а минуточку погуляю на воздухе, – и вышел на веранду.

За мною выбегают два товарища и говорят:

– Что ты это делаешь: чем отдать?

Я отвечаю:

– Не ваше дело, – не беспокойтесь.

– Ведь это нельзя, пристают, – мы завтра выходим, – непременно надо отдать.

– И отдам.

– А если проиграешь?

. – Во всяком случае отдам.

И соврал им, будто у меня есть на руках казенные.

Они отстали, а я прямо подлетаю к куконе, ногой шаркнул и подаю ей горсть червонцев.

– Прошу, – говорю, – вас принять от меня для бедных вашего прихода.

Не знаю, как она это поняла, но сейчас же встала, дала мне свою ручку; мы обошли

клумбу, да на плотике и поплыли.

Глава одиннадцатая

Об игре ее на арфе отменного сказать нечего: вошли в грот: она села и какой-то экосез заиграла. Тогда не было еще таких воспалительных романсов, как «мой тигренок», или «затигри меня до смерти», – а экосезки-с, все простые экосезки, под которые можно только одни па танцевать, а тогда, бывало, ни весть что под это готов сделать. Так и в настоящий раз, – сначала экосез, а потом «гули, да люли пошли ходули, – эшти, да молдаванешти», – кок да и дело в мешок... И благополучным образом назад оба переплыли.

Глава двенадцатая

Откровенно признаться – я не утаю, что был в очень мечтательном настроении, которое совсем не отвечало задуманному мною плану. Но, знаете, к тридцати годам уже подходило, а в это время всегда начинаются первые оглядки. Вспомнилось все – как это началась «жизнь сердца» – все эти скромные васильки во ржи на далекой родине, потом эти хохлушечки и польки в их скромных будиночках, и вдруг – черт возьми, – грот Калипсы... и сама эта богиня... Как хотите, есть о чем привести воспоминания... И вдруг сделалось мне так грустно, что я оставил кукону в уединении приковывать цепочкою ее плотик, а сам единолично вхожу в залу, которую оставил, как банк метали, а теперь вместо того застаю ссору, да еще какую! Холуян сидит, а наши офицеры все встали и некоторые даже нарочно фуражки надели, и все шумят, спорят о справедливости его игры. Он их опять всех обыграл.

Офицеры говорят:

– Мы вам заплатим, но, по справедливости

говоря, мы вам ничего не должны.

Я как раз на эти слова вхожу и говорю:

– И я тоже не должен – пятьдесят червонцев, которые я у вас занял, – я вашей жене отдал.

Офицеры ужасно смутились, а он как плотно побледнел с досады, что я его перехитрил. Схватил в руку карты, затрясся и закричал:

– Вы врете! вы плут!

И прямо, подлец, бросил в меня картами. Но я не потерялся и говорю:

– Ну, нет, брат, – я выше плута на два фута, – да бац ему пощечину... А он тряхнул свою палку, а из нее выскочила толедская шпага, и он с нею, каналья, на безоружного лезет!

Товарищи кинулись и не допустили. Одни его держали за руки, другие – меня. А он кричит:

– Вы подлец! никто из вас никогда моей жены не видал!

– Ну, мол, батюшка, – уж это ты оставь нам доказывать, – очень мы ее видали!

– Где? Какую?

Ему говорят:

– Оставьте, об этом-то уже нечего спорить. Разумеется, мы знаем вашу супругу.

А он, в ответ на это, как черт расхохотался, плюнул и ушел за двери, и ключом заперся.

Глава тринадцатая

И что же вы думаете? – ведь он был прав! Вы себе даже и вообразить не можете, что тут такое над нами было сделано. Какая хитрость над хитростью и подлость над подлостью! Представьте, оказалось, ведь, что мы его жены, действительно, никогда ни одного разу в глаза не видали! Он нас считал как бы недостойными, что ли, этой чести, чтобы познакомить нас с его настоящим семейством, и оно на все время нашей стоянки укрывалось в тех дальних комнатах, где мы не были. А эта кукона, по которой мы все с ума сходили и за счастье считали ручки да ножки ее целовать, а один даже умер за нее, – была черт знает что такое... просто арфистка из кофейни, которую за один червонец можно нанять танцевать в костюме Евы... Она была взята из профита к нашему приходу из ко-

фейни, и он с нее доход имел... И сам этот Холуян-то, с которым мы играли, совсем был не Холуяном, а тоже наемный шулер, а настоящий Холуян только был Антошка на тонких ножках, который все с бесчеревной собакой на охоту ходил... Он и был всему этому делу антрепренер! Вот это плуты, так уж плуты! теперь посудите же, каково было нам, офицерам, чувствовать, в каком мы были дурацком положении, и по чьей милости? – По милости такой, можно сказать, наипрезреннейшей дряни!

А узнал об этом прежде всех я, но только тоже уж слишком поздно, – когда вся моя военная карьера через эту гадость была испорчена, благодаря глупости моих товарищей. Господа же офицеры наши еще и обиделись моим поступком, нашли, что я будто поступил нечестно, – выдал, извольте видеть, тайну дамы ее мужу... Вот ведь какая глупость! Однако, потребовали, чтобы я из полка вышел. Нечего было делать – я вышел. Но при проезде через город жид мне все и открыл.

Я говорю:

– Да как же, их поп-то зачем же он про

свою кукону говорил, что ей будто можно под предлогом на бедных давать?

— А это, — говорит, — справедливо, только поп это про настоящую кукону говорил, которая в комнатах сидела, а не про ту свинью, которую вы за бобра приняли.

Словом сказать—кругом одурачены. Я человек очень сильной комплекции, но был этим так потрясен, что у меня даже молдавская лихорадка сделалась. Насилу на родину дотащился к своим простым сердцам, и рад был, что городническое местишко себе в жидовском городке достал... Не хочу отрицать, — ссорился с ними не мало и, признаться сказать, из своих рук учил, но... слава богу — жизнь прожита и кусок хлеба даже с маслом есть, а вот, когда вспомнишь про эту молдавскую лихорадку, так опять в озноб бросит.

И от такого неприятного ощущения рассказчик опять распаковал свою вместительную подушку, налил стакан аметистовой влаги с надписью «Ея же и монаси приемлят», и молвил:

— Выпьемте, господа, за жидов и на погибель злым плутам — румынам.

– Что же, это будет преоригинально.

– Да, – отозвался другой собеседник, – но не будет ли еще лучше, если мы в эту ночь, когда родился «Друг грешников», пожелаем «всем добра и никому зла».

– Прекрасно, прекрасно!

И воин согласился, сказал: «абгемахт», и выпил чарку.

Впервые опубликовано – журнал «Россия», 1883.

Штопальщик

Глава первая

Преглупое это пожелание сулить каждому в новом году новое счастье, а ведь иногда что-то подобное приходит. Позвольте мне рассказать вам на эту тему небольшое событие, имеющее совсем святочный характер.

В одну из очень давних моих побывок в Москве я задержался там дольше, чем думал, и мне надоело жить в гостинице. Псаломщик одной из придворных церквей услышал, как я жаловался на претерпеваемые неудобства приятелю моему, той церкви священнику, и говорит:

– Вот бы им, батюшка, к куму моему, – у него нынче комната свободная на улицу.

– К какому куму? – спрашивает священник.

– К Василью Конычу.

– Ах, это «метр тальер Лепутан»!

– Так точно-с.

– Что же – это действительно очень хоро-

шо. И священник мне пояснил, что он и людей этих знает, и комната отличная, и псаломщик добавил еще про одну выгоду:

– Если, – говорит, – что прорвется или низки в брюках обобьются – все опять у вас будет исправно, так что глазом не заметить.

Я всякие дальнейшие осведомления почел излишними и даже комнаты не пошел смотреть, а дал псаломщику ключ от моего номера с доверительною надписью на карточке и поручил ему рассчитаться в гостинице, взять оттуда мои вещи и перевезти всё к его куму. Потом я просил его зайти за мною сюда и проводить меня на мое новое жилище.

Глава вторая

Псаломщик очень скоро обделал мое поручение и с небольшим через час зашел за мною к священнику.

– Пойдемте, – говорит, – всё уже ваше там разложили и расставили, и окошечки вам открыли, и дверку в сад на балкончик отворили, и даже сами с кумом там же, на балкончике, чайку выпили. Хорошо там, – рассказывает, – цветки вокруг, в крыжовнике птички гнездятся, и в клетке под окном соловей свищет. Лучше как на даче, потому – зелено, а меж тем все домашнее в порядке, и если какая пуговица ослабела или низки обились, – сейчас исправят.

Псаломщик был парень аккуратный и большой франт, а потому он очень напирал на эту сторону выгоды моей новой квартиры. Да и священник его поддерживал.

– Да, – говорит, – *tailleur Leroutant* [6] такой артист по этой части, что другого ни в Москве, ни в Петербурге не найдете.

– Специалист, – серьезно подсказал, подавая мне пальто, псаломщик.

Кто это Leroutant – я не разобрал, да при-
том это до меня и не касалось.

Глава третья

МЫ пошли пешком.

Псаломщик уверял, что извозчика брать не стоит, потому что это будто бы «два шага проминажи».

На самом деле это, однако, оказалось около получасу ходьбы, но псаломщику хотелось сделать «проминажу», может быть, не без умысла, чтобы показать бывшую у него в руках тросточку с лиловой шелковой кистью.

Местность, где находился дом Лепутана, была за Москвой-рекою к Яузе, где-то на берегу. Теперь я уже не припомню, в каком это приходе и как переулок называется. Впрочем, это, собственно, не был и переулок, а скорее какой-то непроезжий закоулочек, вроде старинного погоста. Стояла церковка, а вокруг нее угольничком объезд, и вот в этом-то объезде шесть или семь домиков, все очень небольшие, серенькие, деревянные, один на каменном полуэтаже. Этот был всех показнее и всех больше, и на нем во весь фронтон была

прибита большая железная вывеска, на которой по черному полю золотыми буквами крупно и четко выведено:

«Maitr tailler Leroutant».

Очевидно, здесь и было мое жилье, но мне странно показалось: зачем же мой хозяин, по имени Василий Коныч, называется «Maitr tailler Leroutant»? Когда его называл таким образом священник, я думал, что это не более как шутка, и не придавал этому никакого значения, но теперь, видя вывеску, я должен был переменить свое заключение. Очевидно, что дело шло всерьез, и потому я спросил моего провожатого:

– Василий Коныч – русский или француз?

Псаломщик даже удивился и как будто не сразу понял вопрос, а потом отвечал:

– Что вы это? Как можно француз, – чистый русский! Он и платье делает на рынок только самое русское: поддевки и тому подобное, но больше он по всей Москве знаменит починкою: страсть сколько старого платья через его руки на рынке за новое идет.

– Но все-таки, – любопытствую я, – он, верно, от французов происходит?

Псаломщик опять удивился.

– Нет, – говорит, – зачем же от французов? Он самой правильной здешней природы, русской, и детей у меня воспринимает, а ведь мы, духовного звания, все числимся православные. Да и почему вы так воображаете, что он приближен к французской нации?

– У него на вывеске написана французская фамилия.

– Ах, это, – говорит, – совершенные пустяки – одна лаферма. Да и то на главной вывеске по-французски, а вот у самых ворот, видите, есть другая, русская вывеска, эта вернее.

Смотрю, и точно, у ворот есть другая вывеска, на которой нарисованы армяк и поддевка и два черные жилета с серебряными пуговицами, сияющими, как звезды во мраке, а внизу подпись:

«Делают кустумы русского и духовного платья, со специальностью ворса, выверта и починки».

Под эту вторую вывескою фамилия производителя «кустумов, выверта и починки» не обозначена, а стояли только два инициала «В. Л.».

Глава четвертая

Помещение и хозяин оказались в действительности выше всех сделанных им похвал и описаний, так что я сразу почувствовал себя здесь как дома и скоро полюбил моего доброго хозяина Василья Коныча. Скоро мы с ним стали сходитьсь пить чай, начали благобеседовать о разнообразных предметах. Таким образом, раз, сидя за чаем на балкончике, мы завели речи на царственные темы Когелета о суете всего, что есть под солнцем, и о нашей неустанной склонности работать всякой суете. Тут и договорились до Лепутана.

Не помню, как именно это случилось, но только дошло до того, что Василий Коныч пожелал рассказать мне странную историю: как и по какой причине он явился «под французским заглавием».

Это имеет маленькое отношение к общественным нравам и к литературе, хотя писано на вывеске.

Коныч начал просто, но очень интересно. – Моя фамилия, сударь, – сказал он, – вовсе не Лепутан, а иначе, – а под французское за-

главие меня поместила сама судьба.

Глава пятая

— Я природный, коренной москвич, из беднейшего звания. Дедушка наш у Рогожской заставы стелечки для древлестепенных староверов продавал. Отличный был старичок, как святой, — весь седенький, будто подлняный зайчик, а все до самой смерти своими трудами питался: купит, бывало, войлочек, нарежет его на кусочки по подошевке, смечет парочками на нитку и ходит «по христианам», а сам поет ласково: «Стелечки, стелечки, кому надо стелечки?» Так, бывало, по всей Москве ходит и на один грош у него всего товару, а кормится. Отец мой был портной по древнему фасону. Для самых законных староверов рабские кафташки шил с тремя оборочками и меня к своему мастерству выучил. Но у меня с детства особенное дарование было — штопать. Крою не фасонисто, но штопать у меня первая охота. Так я к этому приспособился, что, бывало, где угодно на самом видном месте подштопаю и очень трудно заметить.

Старики отцу говорили:

– Это мальцу от Бога талан дан, а где талан, там и счастье будет.

Так и вышло; но до всякого счастья надо, знаете, покорное терпение, и мне тоже даны были два немалые испытания: во-первых, родители мои померли, оставив меня в очень молодых годах, а во-вторых, квартирка, где я жил, сгорела ночью на самое Рождество, когда я был в божьем храме у заутрени, – и там погорело все мое заведение, – и уют, и колодка, и чужие вещи, которые были взяты для штопки. Очутился я тогда в большом злострадании, но отсюда же и начался первый шаг к моему счастью.

Глава шестая

Один давалец, у которого при моем разорении сгорела у меня крытая шуба, пришел и говорит:

– Потеря моя большая, и к самому празднику неприятно остаться без шубы, но я вижу, что взять с тебя нечего, а надо бы еще тебе помочь. Если ты путный парень, так я тебя на хороший путь выведу, с тем однако, что ты мне со временем долг отдашь.

Я отвечаю:

– Если бы только бог позволил, то с большим моим удовольствием – отдать долг считаю за первую обязанность.

Он велел мне одеться и привел в гостиницу напротив главнокомандующего дома к подбуфетчику, и рассказывает ему при мне:

– Вот, – говорит, – тот самый подмастерье, который, я вам говорил, что для вашей коммерции может быть очень способный.

Коммерция их была такая, чтобы разутюживать приезжающим всякое платье, которое приедет в чемоданах замявшись, и всякую починку делать, где какая потребуется.

Подбуфетчик дал мне на пробу одну штуку сделать, увидал, что исполняю хорошо, и приказал оставаться.

– Теперь, – говорит, – Христов праздник и господ много наехало, и все пьют-гуляют, а впереди еще Новый год и Крещение – безобразия будет еще больше, – оставайся.

Я отвечаю:

– Согласен.

А тот, что меня привел, говорит:

– Ну, смотри, действуй, – здесь нажить можно. А только его (то есть подбуфетчика) слушай, как пастыря. Бог пристанет и пастыря приставит.

Отвели мне в заднем коридоре маленький уголок при окошечке, и пошел я действовать. Очень много, – пожалуй и не счесть, сколько я господ перечинил, и грех жаловаться, сам хорошо починился, потому что работы было ужасно как много и плату давали хорошую. Люди простой масти там не останавливались, а приезжали одни козыри, которые любили, чтобы постоять с главнокомандующим на одном местоположении из окон в окна.

Особенно хорошо платили за штуковки да за штопку при тех случаях, если повреждение вдруг неожиданно окажется в таком платье, которое сейчас надеть надо. Иной раз, бывало, даже совестно, – дырка вся в гривенник, а зачинить ее незаметно – дают золотой.

Меньше червонца дырочку подштопать никогда не плачивали. Но, разумеется, требовалось уже и искусство настоящее, чтобы, как воды капля с другою слита и нельзя их различить, так чтобы и штука была вштукована.

Из денег мне, из каждой платы, давали третью часть, а первую брал подбуфетчик, другую – служащие, которые в номерах господам чемоданы с приезда разбирают и платье чистят. В них все главное дело, потому они вещи и помнут, и потрут, и дырочку клюнут, и потому им две доли, а остальное мне. Но только и этого было на мою долю так достаточно, что я из коридорного угла ушел и себе: на том же дворе поспокойнее комнатку занял, а через год подбуфетчикова сестра из деревни приехала, я на ней и женился. Теперешняя моя супруга, как ее видите, – она и есть, дожила до старости с почтением, и, мо-

жет быть, на ее долю все бог и дал. А женился просто таким способом, что подбуфетчик сказал; «Она сирота, и ты должен ее осчастливить, а потом через нее тебе большое счастье будет». И она тоже говорила: «Я, – говорит, – счастливая, – тебе за меня Бог даст»; и вдруг словно через это в самом деле случилась удивительная неожиданность.

Глава седьмая

Пришло опять Рождество, и опять канун на Новый год. Сижу я вечером у себя – что-то штопаю, и уже думаю работу кончить да спать ложиться, как прибегает лакей из номеров и говорит:

– Беги скорей, в первом номере страшный Козырь остановившись, – почитай всех перебил, и кого ударит – червонцем дарит, – сейчас он тебя к себе требует.

– Что ему от меня нужно? – спрашиваю.

– На бал, – говорит, – он стал одеваться и в самую последнюю минуту во фраке на видном месте прожженную дырку осмотрел, человека, который чистил, избил и три червонца дал. Беги как можно скорее, такой серди-

тый, что на всех зверей сразу похож.

Я только головой покачал, потому что знал, как они проезжающих вещи нарочно портят, чтобы профит с работы иметь, но, однако, оделся и пошел смотреть Козыря, который один сразу на всех зверей похож.

Плата непременно предвиделась большая, потому что первый номер во всякой гостинице считается «козырной» и не роскошный человек там не останавливается; а в нашей гостинице цена за первый номер полагалась в сутки, по-нынешнему, пятнадцать рублей, а по-тогдашнему счету на ассигнации – пятьдесят два с полтиною, и кто тут стоял, звали его Козырем.

Этот, к которому меня теперь привели, на вид был ужасно какой страшный – ростом огромный и с лица смугл и дик и действительно на всех зверей похож.

– Ты – спрашивает он меня злобным голосом, – можешь так хорошо дырку заштопать, чтобы заметить нельзя?

Отвечаю:

– Зависит от того, в какой вещи. Если вещь ворсистая, так можно очень хорошо сделать,

а если блестящий атлас или шелковая мо-
ве-материя, с теми не берусь.

– Сам, – говорит, – ты мове, а мне какой-то
подлец вчера, вероятно, сзади меня сидевши,
цигаркою фрак прожег. Вот осмотри его и ска-
жи.

Я осмотрел и говорю:

– Это хорошо можно сделать.

– А сколько времени?

– Да через час, – отвечаю, – будет готово.

– Делай, – говорит, – и если хорошо сдела-
ешь, получишь денег полушку, а если нехоро-
шо, то головой об кадушку. Поди расспроси,
как я здешних молодцов избил, и знай, что
тебя я в сто раз больше изобью.

Глава восьмая

Пошел я чинить, а сам не очень и рад, потому что не всегда можно быть уверенным, как сделаешь: попроще сукнецо лучше слипнет, а которое жестче, – трудно его подворсить так, чтобы не было заметно.

Сделал я, однако, хорошо, но сам не понес, потому что обращение его мне очень не нравилось. Работа этакая капризная, что как хорошо ни сделай, а всё кто охоч придраться – легко можно неприятность получить.

Послал я фрак с женою к ее брату и наказал, чтобы отдала, а сама скорее домой воротчалась, и как она прибежала назад, так поскорее заперлись изнутри на крюк и легли спать.

Утром я встал и повел день своим порядком: сижу за работою и жду, какое мне от козырного барина придут сказывать жалование – денег полушку или головой об кадушку.

И вдруг, так часу во втором, является лакей и говорит:

– Барин из первого номера тебя к себе требует.

Я говорю:

– Ни за что не пойду.

– Через что такое?

– А так – не пойду, да и только; пусть лучше работа моя даром пропадает, но я видеть его не желаю.

А лакей стал говорить:

– Напрасно ты только страшишься: он тобою очень доволен остался и в твоём фраке на бале Новый год встречал, и никто на нём дырки не заметил. А теперь у него собрались к завтраку гости его с Новым годом поздравлять и хорошо выпили и, ставши о твоей работе разговаривать, об заклад пошли: кто дырку найдет, да никто не нашел. Теперь они на радости, к этому случаю присыпавшись, за твое русское искусство пьют и самого тебя видеть желают. Иди скорей – через это тебя в Новый год новое счастье ждет.

И жена тоже на том настаивает – иди да иди:

– Мое сердце, – говорит, – чувствует, что с этого наше новое счастье начинается.

Я их послушался и пошел.

Глава девятая

Господ в первом номере я встретил человек десять, и все много выпивши, и как я пришел, то и мне сейчас подают покал с вином и говорят:

– Пей с нами вместе за твое русское искусство, в котором ты нашу нацию прославить можешь.

И разное такое под вином говорят, чего дело совсем и не стоит.

Я, разумеется, благодарю и кланяюсь, и два покала выпил за Россию и за их здоровье, а более, говорю, не могу сладкого вина пить через то, что я к нему не привычен, да и такой компании не заслуживаю.

А страшный барин из первого номера отвечает:

– Ты, братец, осел, и дурак, и скотина, – ты сам себе цены не знаешь, сколько ты по своим дарованиям заслуживаешь. Ты мне помог под новый год весь предлог жизни исправить, через то, что я вчера на балу любимой невесте важного рода в любви открылся и согласие получил, в этот мясоед и свадьба моя

будет.

– Желаю, – говорю, – вам и будущей супруге вашей принять закон в полном счастье.

– А ты за это выпей.

Я не мог отказаться и выпил, но дальше прошу отпустить.

– Хорошо, – говорит, – только скажи мне, где ты живешь и как тебя звать по имени, отчеству и прозвищу: я хочу твоим благодетелем быть.

Я отвечаю:

– Звать меня Василий, по отцу Кононов сын, а прозвищем Лапутин, и мастерство мое тут же рядом, тут и маленькая вывеска есть, обозначено: «Лапутин».

Рассказываю это и не замечаю, что все гости при моих словах чего-то порскнули и со смеху покатались; а барин, которому я фрак чинил, ни с того ни с сего хлясь меня в ухо, а потом хлясь в другое, так что я на ногах не устоял. А он подтолкнул меня выступком к двери да за порог и выбросил.

Ничего я понять не мог, и дай бог скорее ноги.

Прихожу, а жена спрашивает:

– Говори скорее, Васенька: как мое счастье тебе послужило?

Я говорю:

– Ты меня, Машенька, во всех частях подробно не расспрашивай, но только если по этому началу в таком же роде дальше пойдет, то лучше бы для твоего счастья не жить. Избил меня, ангел мой, этот барин.

Жена встревожилась, – что, как и за какую провинность? – а я, разумеется, и сказать не могу, потому что сам ничего не знаю.

Но пока мы этот разговор ведем, вдруг у нас в сеничках что-то застучало, зашумело, загремело, и входит мой из первого номера благодетель.

Мы оба встали с мест и на него смотрим, а он, покрасневшись от внутренних чувств или еще вина подбавивши, и держит в одной руке дворницкий топор на долгом топорище, а в другой поколотую в щепы дощечку, на которой была моя плохая вывесочка с обозначением моего бедного ремесла и фамилии: «Старье чинит и выворачивает Лапутин».

Глава десятая

Вошел барин с этими поколотыми досточками и прямо кинул их в печку, а мне говорит: «Одевайся, сейчас вместе со мною в коляске поедem, – я счастье жизни твоей устрою. Иначе и тебя, и жену, и все, что у вас есть, как эти доски поколю».

Я думаю: чем с таким дебоширом спорить, лучше его скорее из дома увести, чтобы жене какой обиды не сделал.

Торопливо оделся, – говорю жене: «Перекрести меня, Машенька!» – и поехали. Приехали в Бронную, где жил известный покупной, сводчик Прохор Иваныч, и барин сейчас спросил у него:

– Какие есть в продажу дома и в какой местности, на цену от двадцати пяти до тридцати тысяч или немножко более. – Разумеется, по-тогдашнему, на ассигнации. – Только мне такой дом требуется, – объясняет, – чтобы его сию минуту взять и перейти туда можно.

Сводчик вынул из комода китрадь, вздел очки, посмотрел в один лист, в другой, и говорит:

– Есть дом на все виды вам подходящий, но только прибавить немножко придется.

– Могу прибавить.

– Так надо дать до тридцати пяти тысяч.

– Я согласен.

– Тогда, – говорит, – все дело в час кончим, и завтра въехать в него можно, потому что в этом доме дьякон на крестинах куриной ко-
стью подавился и помер, и через то там те-
перь никто не живет.

Вот это и есть тот самый домик, где мы с вами теперь сидим. Говорили, будто здесь покойный дьякон ночами ходит и давится, но только все это совершенные пустяки, и никто его тут при нас ни разу не видывал. Мы с женою на другой же день сюда переехали, потому что барин нам этот дом по дарственной перевел; а на третий день он приходит с рабочими, которых больше как шесть или семь человек, и с ними лестница и вот эта самая вывеска, что я будто французский портной.

Пришли и приколотили и назад ушли, а барин мне наказал:

– Одно, – говорит, – тебе мое приказание: вывеску эту никогда не смей перемениать и

на это название отзываться. – И вдруг вскрикнул:

– Лепутан!

– Чего изволите?

– Молодец, – говорит. – Вот тебе еще тысячу рублей на ложки и плошки, но смотри, Лепутан, – заповеди мои соблюди, и тогда сам соблюден будешь, а ежели что... да, спаси тебя господи, станешь в своем прежнем имени утверждаться, и я узнаю... то во первое предисловие я всего тебя изобью, а во-вторых, по закону «дар дарителю возвращается». А если в моем желании пребудешь, то объясни, что тебе еще надо, и все от меня получишь.

Я его благодарю и говорю, что никаких желаний не имею и не придумаю, кроме одного – если его милость будет, сказать мне: что все это значит и за что я дом получил?

Но этого он не сказал.

– Это, – говорит, – тебе совсем не надо, но только помни, что с этих пор ты называешься – «Лепутан», и так в моей дарственной именован. Храни это имя: тебе это будет выгодно.

Глава одиннадцатая

Остались мы в своем доме хозяйствовать, и пошло у нас все очень благополучно, и считали мы так, что все это жениным счастьем, потому что настоящего объяснения долгое время ни от кого получить не могли, но один раз пробежали тут мимо нас два господина и вдруг остановились и входят.

Жена спрашивает:

– Что прикажете?

Они отвечают:

– Нам нужно самого мусье Лепутана.

Я выхожу, а они переглянулись, оба враз засмеялись и заговорили со мною по-французски.

Я извиняюсь, что по-французски не понимаю.

– А давно ли, – спрашивают, – вы стали под этой вывеской?

Я им сказал, сколько лет.

– Ну так и есть. Мы вас, – говорят, – помним и видели: вы одному господину под Новый год удивительно фрак к балу заштопали и потом от него при нас неприятность в го-

стинице перенесли.

– Совершенно верно, – говорю, – был такой случай, но только я этому господину благодарен и через него жить пошел, но не знаю ни его имени, ни прозвания, потому все это от меня скрыто.

Они мне сказали его имя, а фамилия его, прибавили, – Лапутин.

– Как Лапутин?

– Да, разумеется, – говорят, – Лапутин. А вы разве не знали, через что он вам все это благодетельство оказал? Через то, чтобы его фамилии на вывеске не было.

– Представьте, – говорю, – а мы о ею пору ничего этого понять не могли; благодеянием пользовались, а словно как в потемках.

– Но, однако, – продолжают мои гости, – ему от этого ничего не помоглось, – вчера с ним новая история вышла.

И рассказали мне такую новость, что стало мне моего прежнего однофамильца очень жалко.

Глава двенадцатая

Жена Лапутина, которой они сделали предложение в заштопанном фраке, была еще щекотистее мужа и обожала важность. Сами они оба были не бог весть какой породы, а только отцы их по откупам разбогатели, но искали знакомства с одними знатными. А в ту пору у нас в Москве был главнокомандующим граф Закревский, который сам тоже, говорят, был из поляцких шляхтецов, и его настоящие господа, как князь Сергей Михайлович Голицын, не высоко числили; но прочие обольщались быть в его доме приняты. Моего прежнего однофамильца супруга тоже этой чести жаждали. Однако, бог их знает почему, им это долго не выходило, но, наконец, нашел господин Лапутин сделать графу какую-то приятность, и тот ему сказал:

– Заезжай, братец, ко мне, я велю тебя принять, скажи мне, чтобы я не забыл: как твоя фамилия?

Тот отвечал, что его фамилия – Лапутин.

– Лапутин? – заговорил граф, – Лапутин... Пстой, пстой, сделай милость, Лапутин... Я

что-то помню, Лапутин... Это чья-то фамилия.

– Точно так, – говорит, – ваше сиятельство, это моя фамилия.

– Да, да, братец, действительно это твоя фамилия, только я что-то помню... как будто был еще кто-то Лапутин. Может быть, это твой отец был Лапутин?

Барин отвечает, что его отец был Лапутин.

– То-то я помню, помню... Лапутин. Очень может быть, что это твой отец. У меня очень хорошая память; приезжай, Лапутин, завтра же приезжай; я тебя велю принять, Лапутин.

Тот от радости себя не помнит и на другой день едет.

Глава тринадцатая

Но граф Закревский память свою хотя и хвалил, однако на этот раз оплошал и ничего не сказал, чтобы принять господина Лапутина.

Тот разлетелся.

– Такой-то, – говорит, – и желаю видеть графа.

А швейцар его не пускает:

– Никого, – говорит, – не велено принимать.

Барин так-сяк его убеждать, – что «я, – говорит, – не сам, а по графскому зову приехал», – швейцар ко всему пребывает нечувствителен.

– Мне, – говорит, – никого не велено принимать, а если вы по делу, то идите в канцелярию.

– Не по делу я, – обижается барин, – а по личному знакомству; граф наверно тебе сказал мою фамилию – Лапутин, а ты, верно, напутал.

– Никакой фамилии мне вчера граф не говорил.

– Этого не может быть; ты просто позабыл фамилию – Лапутин.

– Никогда я ничего не забываю, а этой фамилии я даже и не могу забыть, потому что я сам Лапутин.

Барин так и вскипел.

– Как, – говорит, – ты сам Лапутин! Кто тебя научил так назваться?

А швейцар ему отвечает:

– Никто меня не научал, а это наша природа, и в Москве Лапутиных обширное множество, но только остальные незначительны, а в настоящие люди один я вышел.

А в это время, пока они спорили, граф с лестницы сходит и говорит:

– Действительно, это я его и помню, он и есть Лапутин, и он у меня тоже мерзавец. А ты в другой раз приди, мне теперь некогда. До свидания.

Ну, разумеется, после этого уже какое свидание?

Глава четырнадцатая

Рассказал мне это maître tailleur Leroutant с сожалительною скромностью и прибавил в виде финала, что на другой же день ему довелось, идучи с работою по бульвару, встретить самого анекдотического Лапутина, которого Василий Коныч имел основание считать своим благодетелем.

– Сидит, – говорит, – на лавочке очень грустный. Я хотел проюркнуть мимо, но он лишь заметил и говорит:

– Здравствуй, monsieur Leroutant! Как живешь-можешь?

– По божьей и по вашей милости очень хорошо. Вы как, батюшка, изволите себя чувствовать?

– Как нельзя хуже; со мною прескверная история случилась.

– Слышал, – говорю, – сударь, и порадовался, что вы его по крайней мере не тронули.

– Тронуть его, – отвечает, – невозможно, потому что он не свободного трудолюбия, а при графе в мерзавцах служит; но я хочу знать: кто его подкупил, чтобы мне эту под-

лость сделать?

А Коныч, по своей простоте, стал барина утешать.

– Не ищите, – говорит, – сударь, подучения. Лапутиных, точно, много есть, и есть между них люди очень честные, как, например, мой покойный дедушка, – он по всей Москве стелечки продавал...

А он меня вдруг с этого слова враз через всю спину палкою... Я и убежал, и с тех пор его не видал, а только слышал, что они с супругой за границу во Францию уехали, и он там разорился и умер, а она над ним памятник поставила, да, говорят, по случаю, с такою надписью, как у меня на вывеске: «Лепу-тан». Так и вышли мы опять однофамильцы.

Глава пятнадцатая

Василий Коныч закончил, а я его спросил: почему он теперь не хочет переменить вывески и выставить опять свою законную, русскую фамилию?

– Да зачем, – говорит, – сударь, ворошить то, с чего новое счастье стало, – через это можно вред всей окрестности сделать.

– Окрестности-то какой же вред?

– А как же-с, – моя французская вывеска, хотя, положим, все знают, что одна лаферма, однако через нее наша местность другой эффект получила, и дома у всех соседей совеем другой против прежнего профит имеют.

Так Коныч и остался французом для пользы обывателей своего замоскворецкого закоулка, а его знатный однофамилец без всякой пользы сгнил под псевдонимом у Пер-Лашеза.

*Впервые опубликовано – «Газета
А. Гатиука», 1882.*

Жидовская кувырколлегия

Глава первая

Дело было на святках после больших еврейских погромов. События эти служили повсеместно темой для живых и иногда очень странных разговоров на одну и ту же тему: как нам быть с евреями? Куда их выпроводить, или кому подарить, или самим их на свой лад переделать? Были охотники и дарить, и выпроваживать, но самые практические из собеседников встречали в обоих этих случаях неудобство и более склонялись к тому, что лучше евреев приспособить к своим домашним надобностям – по преимуществу изнурительным, которые вели бы род их на убыль.

– Но это вы, господа, задумываете что-то вроде «египетской работы», – молвил некто из собеседников... – Будет ли это современно?

– На современность нам смотреть нечего, – отвечал другой: – мы живем вне современности, но евреи прескверные строители, а наши

инженеры и без того гадко строят. А вот война... военное дело тоже убыточно, и чем намлить на полях битвы русскую кровь, гораздо бы лучше поливать землю кровью жидовскою.

С этим согласились многие, но только слышались возражения, что евреи ничего не стоят как воины, что они – трусы и им совсем чужды отвага и храбрость.

А тут сидел один из заслуженных военных, который заметил, что и храбрость, и отвагу в сердца жидов можно влить.

Все засмеялись, и кто-то заметил, что это до сих пор еще никому не удавалось.

Военный возразил:

– Напротив, удавалось, и притом с самым блестящим результатом.

– Когда же это и где?

– А это целая история, о которой я слышал от очень верного человека.

Мы попросили рассказать, и тот начал.

– В Киеве, в сороковых годах, жил некто полковник Стадников. Его многие знали в местном высшем круге, образовавшемся из чиновного населения, и в среде настоящего

киевского аристократизма, каковым следует, без сомнения, признавать «киевских старожилых мещан». Эти хранили тогда еще воспоминания о своих магдебургских правах и своих предках, выезжавших, в силу тех прав, на днепровскую Иордань верхом на конях и с рушницами, которые они, по команде, то вскидывали на плечо, то опускали «товстым кинцем до чобота!» Захудалые потомки этой настоящей киевской знати именовали Стадника «Штаниковым»; так, вероятно, на их вкус выходило больше «по-московски» или, просто, так было легче для их мягкого и нежного произношения.

Стадников пользовался в городе хорошою репутациею и добрым расположением; он был отличный стрелок и, как настоящий охотник, сам не ел дичи, а всегда ее раздари-вал. Поэтому известная доля общества была даже заинтересована в его охотничьих успехах. Кроме того, полковник был, что называется, «приятный собеседник». Он уже довольно прожил на своем веку; честно служил и храбро сражался; много видел умного и глупого и при случае умел рассказать занима-

тельную историю.

В рассказах Стадников всегда держался короткого, так сказать, лапидарного стиля, в котором прославился король баварский, но высшего совершенства, по моему мнению, достиг Степан Александрович Хрулев.

Стадников, впрочем, и с вида был похож на Хрулева да имел и некоторые другие, сходные с ним, черты. Так, он, например, подобно Хрулеву, мог играть в карты без сна и без отдыха по целой неделе. Соперников по этой выносливости у него во всем Киеве не было ни одного, но были только два, достойные его сил, партнера. Один из них был просто иерей, а другой – протоиерей. Первого из них звали Евфимием, а второго – Василием. Оба они были люди предобрые и пользовались в городе большою известностью, а притом обладали как замечательными силами физическими, так и дарами духовными. Но при всем том полковник далеко превосходил их в выносливости и однажды до того их спутал, что отец протоиереи, перейдя от карточного стола к совершению утреннего служения, не вовремя позабылся и, вместо положенного возгласа:

«яко твое царство», — возгласил причетнику:
«пасс!»

Впрочем, в доброй компании, которая состояла из этих трех милых людей, не только делали, что играли: случалось, что они иногда отрывались от карт для других занятий, например, закусывали и кое о чем говорили. Рассказывал, впрочем, по преимуществу, более один Стадников и как некоторые примечали, он, будто бы, как рассказчик, не очень строго держался сухой правды, а немного «расцветчал» свои повествования, или, как поохотничьи говорится, немножко привирал, но ведь без этого и невозможно. Довольно того, что полковник делал это так складно и ладно, что вводную неправду у него было очень трудно отличать от действительной основы. Притом же Стадников был неуступчив и переспорить его было невозможно. Рассказывали, будто полковник победоносно выходил из всевозможных в этом роде затруднений до того, что его никто никогда не останавливал и ему не возражали; да это и было бесполезно. Один раз полковник ошибкой или по увлечению сказал, будто он имел где-

то в степях ордынских овец, у которых было по пуду в курдюке, а некто, случившийся здесь, перехватил еще более, что у его овец по пуду слишком... Полковник только посмотрел на смельчака и спросил с состраданием:

– Да, но что же такое было в хвостах у ваших овец?

– Разумеется, сало, – отвечал собеседник.

– Ага, то-то и есть! А у моих был воск!

Тем и покончил. Разумеется, с таким человеком спорить было невозможно, но слушать его приятно.

Говорить здесь любили о материях важных, и один раз тут при мне шла замечательная речь о министрах и царедворцах, причем все тогдашние вельможи были подвергаемы очень строгой критике; но вдруг усилием одного из иереев был выдвинут и высокопревознесен Николай Семенович Мордвинов, который «один из всех» не взял денег жидов и настоял на призыве евреев к военной службе, наравне со всеми прочими податными людьми в русском государстве.

История эта, сколько помню, излагалась тогда таким образом.

Когда государь Николай Павлович обратил внимание на то, что жидаы не несут рекрутской повинности, и захотел обсудить это с своими советниками, то жидаы подкупили, будто, всех важных вельмож и согласились советовать государю, что евреев нельзя орать в рекруты на том основании, что «они всю армию перепортят». Но не могли жидаы задарить только одного графа Мордвинова, который был хоть и не богат, да честен, и держался насчет жидов таких мыслей, что если они живут на русской земле, то должны одинаково с русскими нести все тягости и служить в военной службе. А что насчет порчи армии, то он этому не верил. Однако евреи все-таки от своего не отказывались и не теряли надежды сделаться как-нибудь с Мордвиновым: подкупить его или погубить клеветою. Нашли они какого-то одного близкого графу бедного родственника и склонили его за немалый дар, чтобы он упросил Мордвинова принять их и выслушать всего только «два слова»; а своего слова он им мог ни одного не сказать. Иначе дали намек, что они все равно, если не так, то иначе графа остепенят.

Бедный родственник соблазнился, принял жидовские дары и говорит графу Мордвинову:

– Так и так, вы меня при моей бедности можете осчастливить.

Граф спрашивает:

– Что же для этого надо сделать, какую неправду?

А бедный родственник отвечает:

– Никакой неправды не надо, а надо только, чтобы вы для меня два жидовские слова выслушали и ни одного своего не сказали. Через это, – говорит, – и вам собственный покой и интерес будет.

Граф подумал, улыбнулся и, как имел сердце очень доброе, то отвечал:

– Хорошо, так и быть, я для тебя это сделаю: два жидовские слова выслушаю и ни одного своего не скажу.

Родственник побежал к жидам, чтобы их обрадовать, а они ему сейчас же обещанный дар выдали настоящими золотыми лобанчиками, по два рубля семи гривен за штуку, только не прямо из рук в руки кучкой дали, а каждый лобанчик по столу, покрытому сук-

ном, перешмыгнули, отчего с каждого золотого на четвертак золотой пыли соскочило и в их пользу осталось. Бедный же родственник ничего этого не понял и сейчас побежал себе домик купить, чтобы ему было где жить с родственниками. А жида на другое же утро к графу и принесли с собою три сельдяных бочонка.

Камердинер графский удивился, с какой это стати графу селедки принесли, но делать было нечего, допустил положить те бочонки в зале и пошел доложить графу. А жида, между тем, пока граф к ним вышел, эти свои сельдяные бочонки раскрыли и в них срезь с краями полно золота. Все монетки новенькие, как жар горят, и биты одним калибром: по пяти рублей пятнадцати копеек за штуку.

Мордвинов вошел и стал молча, а жида показали руками на золото и проговорили только два слова: «Возьмите, – молчите», а сами с этим повернулись и, не ожидая никакого ответа, вышли.

Мордвинов велел золото убрать, а сам поехал в государственный совет и, как пришел, то точно воды в рот набрал – ничего не гово-

рит... Так он молчал во все время, пока другие говорили и доказывали государю всеми доказательствами, что евреям нельзя служить в военной службе. Государь заметил, что Мордвинов молчит, и спрашивает его:

– Что вы, граф Николай Семенович, молчите? Для какой причины? Я ваше мнение знать очень желаю.

А Мордвинов будто отвечал:

– Простите, ваше величество, я не могу ничего говорить, потому что я жидам продался.

Государь большие глаза сделал и говорит:

– Этого быть не может.

– Нет, точно так, – отвечает Мордвинов: – я три сельдяные бочонка с золотом взял, чтобы ни одного слова правды не сказывать.

Государь улыбнулся и сказал:

– Если вам три бочонка золота дали за то, чтобы вы только молчали, сколько же надо было дать тем, которые взялись говорить?.. Но мы это теперь без дальних слов покончим.

И с этим взял со стола проект, где было написано, чтобы евреев брать в рекруты наравне с прочими, и написал: «быть по сему». Да в прибавку повелел еще за тех, кои, если укло-

няться вздумают, то брать за них трех, вместо одного, штраф.

Кажется, это построено слишком по австрийскому анекдоту, известному под заглавием: «одно слово министру...». Из этого давно сделана пьеска, которая тоже давно уже разыгрывается на театрах и близко знакома русским по Превосходному исполнению Самойловым трудной мимической роли жида; но в то время, к которому относится мой рассказ, этот слух ходил повсеместно, и все ему вполне верили, и русские восхваляли честность Мордвинова, а евреи жестоко его проклинали.

Анекдот этот был целиком вспомнят в той задушевной беседе полковника Стадникова с иереями Василием и Евфимием, с которой начинается наш рассказ, и отсюда речь повели далее.

Не любивший делать в чем бы то ни было уступки, полковник не выдержал и сказал:

– Да, эта песня всем знакома, и давно вы ее все дудите, а того никто не знает, что все бы это ни к чему еще не повело, если бы в это дело не вмешался еще один человек. – И

неуступчивый полковник сейчас же пояснил, что Мордвинов настроил это дело только в теории, а на самом исполнении оно еще могло погибнуть. И в этой своей, гораздо более важной, части оно спасено другим лицом, с которым Мордвинов, по справедливости, должен бы поделиться честью. Но как справедливости нет на земле, то этот достойный человек не только ничем не награжден, но даже остается в полнейшей неизвестности.

– А кто же это такой? – спросили оба иерея.

– Это один простодушный кромчанин незнатного происхождения, по имени Симеон Машкин или Мамашкин, – судя по фамилии, должно быть, сын пылкой, но незаконной любви, которому я дал за всю его патристическую услугу три гривенника, да и те ему впрок не пошли.

Отцы иереи вспомнили, как полковник спорил про бараньи курдюки, и сказали:

– Ну, это вы, вероятно, опять что-нибудь такое, из чего воск выйдет.

Но полковник отвечал, что это не воск, а история, и притом самая настоящая, самая

правдивая история, которой ни за что бы не должно забыть неблагодарное потомство, ибо она свидетельствует о ясном уме и глубокой сообразительности человека из народа.

– Ну, так подавайте вашу историю и, если она интересна, мы ее охотно послушаем.

– Да, она очень интересна, – сказал Стадников и, перестав тасовать карты, начал следующее повествование.

Глава вторая

Весть, что еврейская просьба об освобождении их от рекрутства не выиграла, стрелою пролетела по пантофлевой почте во все места их оседлости. Тут сразу же и по городам, и по местечкам поднялся ужасный гвалт и вой. Жиды кричали громко, а жидовки еще громче. Все всполошились и заметались как угорелые. Совсем потеряли головы и не знали, что делать. Даже не знали, какому богу молиться, которому жаловаться. До того дошло, что к покойному императору Александру Павловичу руки вверх все поднимали и вопили на небо:

– Ай, Александер, Александер, посмотри,

що з нами твій Миколайчик робит!

Думали, верно, что Александр Павлович, по огромной своей деликатности, оттуда для них назад в Ильиной колеснице спустится и братнино слово «быть по сему» вычеркнет.

Долго они с этим, как угорелые, по школам и базарам бегали, но никого с неба не выкликали. Тогда все вдруг это бросили и начали, куда кто мог, детей прятать. Отлично, шельмы, прятали, так что никто не мог разыскать. А которым не удалось спрятать, те их калечили, — плакали, а калечили, чтобы сделать негодными.

В несколько дней все молодое жидовство, как талый снег, в землю ушло или поверглось в отвратительные лихие болезни. Этаким гадости, какую они над собой производили, кажется, никогда и не видала наша сарматская сторона. Одни сплошь до шеи покрывались самыми злокачественными золотушными паршами, каких ни на одной русской собаке до тех пор было не видано; другие сделали себе падучую болезнь; третьи охромели, окривели и осухоручели. Бретонские компрачи́ксы, надо полагать, даже не знали того, что тут

умели делать. В Бердичеве были слухи, будто бы объявился такой доктор, который брал сто рублей за «прецепт», от которого «кишки наружу выходили, а душа в теле сидела». Во многих польских аптеках продавалось какое-то жестокое снадобье под невинным и притом исковерканным названием: «капель с датского корабля». От этих капель человек надолго, чуть ли не на целые полгода, терял владение всеми членами и выдерживал самое тщательное испытание в госпиталях. [7] Все это покупали и употребляли, предпочитая, кажется, самые ужасные увечья служебной неволе. Только умирать не хотели, чтобы не сокращать чрез то род израилев.

Набор, назначенный вскоре же после решения вопроса, с самого начала пошел ужасно туго, и вскоре же понадобились самые крутые меры побуждения, чтобы закон, с грехом пополам, был исполнен. Приказано было за каждого недоимочного рекрута брать трех штрафных. Тут уже стало не до шуток. Сдатчики набирали кое-каких, преимущественно, разумеется, бедняков, за которых стоять было некому. Между этими попадались и здоро-

венькие, так как у них, видно, не хватало средств, чтобы купить спасительных капель «с датского корабля». Иной, бывало, свеклой ноженьки вымажет или ободранный козий хвостик себе приткнет, будто кишки из него валяются, но сейчас у него это вытащат и браво – лоб забреют, и служи богу и государю верой и правдой.

Со всеми возмутительными мерами побуждения кое-какие полужаботы, наконец, были забриты и началась новая мука с их устройством к делу. Вдруг сюрпризом начало обнаруживаться, что евреи воевать не могут. Здесь уже ваш Николай Семенович Мордвинов никакой помощи нам оказать не мог, а военные люди трусили, как бы «не пошел портеж в армии». Жидки же этого, разумеется, весьма хотели и пробовали привести в действие хитрость несказанную.

Глава третья

Набрано было евреев в войска и взрослых, и малолеток, которым минуло будто уже двенадцать лет. Взрослых было немного сравнительно с малолетками, зато с ними возни было во сто раз более, чем с малолетками. Маленьких помещали в батальоны военных кантонистов, где наши отцы духовные, по распоряжению отцов-командиров, в одно мановение ока приводили этих ребятишек к познанию истин православной христианской веры и крестили их во славу имени господа Иисуса, а со взрослыми это было гораздо труднее, и потому их оставляли при всем их ветхозаветном заблуждении и размещали в небольшом количестве в команды.

Все это была, как я вам сказал, самая препоганая калечь, способная наводить одноуныние на фронт. И жалостно, и смешно было на них смотреть, и поневоле думалось:

«Из-за чего и спор был? Стоило ли брать в службу таких козерогов, чтобы ими только фронт поганить?»

Само дело показывало, что надо их уби-

рать куда-нибудь с глаз подальше. В большинстве случаев они и сами этого желали и сразу же, обняв умом свое новое положение, старались попадать в музыкантские школы или в швальни, где нет дела с ружьем. А от ружья пятились хуже, чем черт от поповского кропила, и вдруг обнаружили твердое намерение от настоящего военного ремесла совсем отбиться.

В этом роде и началась у нас могущественная игра природы, которой вряд ли быть бы выигранною, если бы на помощь государству не пришел острый гений Семена Мамашкина. Задумано это было очень серьезно и, по несчастью, начало практиковаться как раз в той маленькой отдельной части, которою я тогда командовал, имея в своем ведении трех жидовинов.

Глава четвертая

Я тогда был в небольшом чине и стоял с ро-
тою в Белой Церкви. (Свой чин полковни-
ка Стадников почитал уже большим. Тогда на-
чины было поскупее нынешнего.) Белая Цер-
ковь, как вам известно, это жидовское цар-
ство: все местечко сплошь жидовское. Они
тут имеют свою вторую столицу. Первая у
них – Бердичев, а вторая, более старая и более
загаженная, – Белая Церковь. У них это соот-
ветствует своего рода Петербургу и Москве.
Так это и в жидовских прибаутках сказывается.

Жизнь в Белой Церкви, можно сказать, бы-
ла и хорошая, и прескверная. Виден палац
Браницких и их роскошный парк – Александ-
рия. Река тоже прекрасная и чистая, Рось, ко-
торая свежит одним своим приятным назва-
нием, не говоря уже об ее прозрачных водах.
Воды эти текут среди таких берегов, которы-
ми вволю налюбоваться нельзя, а в местечке
такая жидовская нечисть, что жить невоз-
можно. Всякий день, бывало, дегтярным мы-
лом с ног до головы моешься, чтобы не по-

крыться паршами или коростой. Это – одна противность квартирования в жидовских местечках; а другая заключается в том, что как ни вертись, а без жидов тут совсем пропасть бы пришлось, потому что жид сапоги шьет, жид кастрюли лудит, жид булки печет, – все жид, а без него ни «пру», ни «ну». Противное положение!

Офицеров со мною было три человека, да все, как говорят, с бычками. Один из них, всех постарше, был русский, по фамилии Рослов, из солдат, все богу молился и каждое первое число у себя водосвятие правил. Жидов он за людей не считал. Другой был немец, по фамилии Фингершпилер, очень большой чистюля: снаружи все чистился, а изнутри, по собственному его выражению, «сохранял себя в спирту», т. е. был всегда пьян. В редкие минуты просветления, когда Фингершпилер случался без спиртного сохранения, он был очень скор на руку, но, впрочем, службист. Третий же, в чине прапорщика, только что был произведен из фендриков, в которые его сдали тетки, недовольные какими-то его семейными качествами. И он, и его тетки были

русские, но за какое-то наказание или, может быть, для важности – судьба дала им иностранные фамилии и притом пресмешные. Из его собственной фамилии солдаты сделали «Полуферт», а тетки его назывались, кажется, одна – мадам Сижу, а другая – мадам Лежу. Ни в одном из этих господ я не имел настоящего помощника на предстоящий мне трудный подвиг, но прапорщик был мне всех вреднее. Полуферт имел отвратительные свойства. Это был аристократически глупый хлыщ и нестерпимый резонер, а в то же время любил деньги и не страдал разборчивостью в средствах для их приобретения. Он даже занимал деньги у фельдфебеля и не отдавал их ему в срок, но любил делать дамам презенты и сопровождал их стихами своего сочинения. Но что было для меня всего непереноснее в этом человеке – это его ужасная привычка говорить по-французски, тогда как он, несмотря на свою полуфранцузскую фамилию, не знал ни одного слова на этом языке. На день, на два – это смешно, но в долготу дней, на летнем постое, такая штука нервного человека в гроб уложить может. Службою Полуферт за-

нимался мало, а больше всего рисовал родословное дерево с длинными хворостинами, на которых он рассаживал в кружках каких-то перепелок с коронами на макушках. Это все были его предки, через которых он имел твердое намерение доказать свое прямое родство с какою-то княжескою линиею от Бурбонских блюдолизов. Тут же были и m-me Сижу и m-me Лежу.

Полуферту очень хотелось быть князем, и то с корыстною целью, чтобы жениться в Москве на какой-нибудь богатой купчихе. Пока он искал тридцати тысяч взаймы, чтобы дать кому-то в герольдии за утверждение его в княжестве; но только у нас-то ни у кого таких денег не было, и он твердил себе на ветер: – Муа же суйи юн пренс!

Это «пренс» было для него самое главное в жизни, а между тем, при ханжестве одного офицера и пьянстве другого, этот Полуферт был моим самым надежным помощником в то роковое время, когда мне в роту были присланы три новобранца-жидовина, из которых от каждого можно было прийти в самое безнадёжное отчаяние. Попробую их вам пред-

ставить.

Глава пятая

Один из трех первозванных жидов, мною полученных, был рыжий, другой – черный или вороной, а третий – пестрый или пегий. По последнему прошла какая-то прелюбопытная игра причудливой природы: у него на голове были три цвета волос и располагались они, не переходя из тона в тон с какою-нибудь постепенностью, а прямо располагались пестрыми клочками друг возле друга. Вся его башка была как будто холодильный пузырь из шотландкой клеенки – вся пестрая. Особенно чуден был хохол – весь седой, отчего этот жидовин имел некоторым образом вид черта, каких пишут наши благочестивые изографы на древних иконах.

Словом, из всех трех, что ни портрет – то рожа, но каждый антик в своем роде; так, например, у рыжего физия была прехитрая и презлая, и, к тому же, он заикался. Черный смотрел дураком и на самом деле был не умен или, по крайней мере, все мы так думали до известного случая, когда мудрец Ма-

машкин и в нем ум отыскал. У этого брюнета были пристрашной толщины губы и такой жирный язык, что он во рту не вмещался и все наружу лез. Одно то, чтобы выучить этого франта язык за губы убирать, невесть каких трудов стоило, а к обучению его говорить по-русски мы даже и приступать не смели, потому что этому вся его природа противилась, и он, при самых усиленных стараниях что-нибудь выговорить, мог только плевать. Но третий, пегий или пестрый, имел безобразие, которое меня даже к нему как-то располагало. Это был человек удивительно плоскорожий, с впалыми глазами и одним только жидовским носом навывкате; но выражение лица имел страдальческое и притом он лучше всех своих товарищей умел говорить по-русски.

Летами этот пегий был старше товарищей: тем двум было этак лет по двадцати, а пегому, хотя значилось двадцать четыре года, но он уверял, будто ему уже есть лет за тридцать. В эти годы жидов уже нельзя было сдавать в рекруты, но он, вероятно, был сдан на основании присяжного удостоверения двенадцати добросовестных евреев, поклявшихся всемо-

гущим Еговою, что пегому только двадцать четыре года.

Клятвопреступничество тогда было в большом ходу и даже являлось необходимостью, так как жидаы или совсем не вели метрических книг, либо предусмотрительно пожгли их, как только слышали, «що з ними Миколайчик зробыт». Без книг лета их стали определять по так называемому присяжному разысканию. Соберут, бывало двенадцать прохвостов, приведут их к присяге с незаметным нарушением форм и обрядов, – и те врут, что им закажут. Кому надо назначить сколько лет, столько они и покажут, а власти обязаны были им верить... Смех и грех!

Так, бывало, и расхаживают такие шайки присяжных разбойников, всегда числом по двенадцати, сколько закон требует для несомненной верности, и при них всегда, как при артели, свой рядчик, который их водит по должностным лицам и осведомляется:

– Чи нема чого присягать?

Отвратительнейшее растление, до какого едва ли кто иной доходил, и все это, повторяю, будучи прикрыто именем всемогущего

Еговы, принималось русскими властями за доказательство и даже протезировалось...

Так был сдан и мой пегий воин, которого имя было Лейзер, или по-нашему, – Лазарь.

И имя это чрезвычайно ему шло, потому что он весь, как я вам говорю, был прежалкий и внушал к себе большое сострадание.

Всегда этот Лазарь был смирен и безответен; всегда смотрел прямо в глаза, точно сейчас высеченный пудель, который старается прочесть в вашем взгляде: кончена ли произведенная над ним экзекуция или только рука у вас устала и по малом ее отдыхе, начнется новое продолжение.

Глава шестая

Пегий был дамский портной и, следуя влечению природы, принес с собою из мира в команду свою портновскую иглу с вощенной ниткой и ножницы, и немедленно же открыл мастерскую и пошел всей этой инструментальной действовать.

Более он производил какие-то «фантазии» – из старого делал новое, потому что тогда в провинции в моду вошли какие-то этикие особенные мантилии, которые назывались «палантины». Забавная была штука: фасон – совершенно как будто мужские панталоны, – так это и носили: назади за спиною у дамы словно огузье треплется, а наперед, через плечи, две штанины спущены. Пресмешно, точно солдат, который штаны вымыл и домой их несет, чтобы на ветерке сохли. И сходство это солдатами было замечено и вело к некоторым неприятностям, которым я должен был положить конец весьма энергичскою мерою.

Вымоет, бывало, солдат на реке свои белые штаны, накинёт их на плечи палантином и

идет. А один до того разрезвился, что, встретясь с становихой, присел ей по-дамски и сказал:

– Кланяйтесь бабушке и поцелуйте ручку.

Становой на это пожаловался, и я солдатышка велел высечь.

Лазарь отлично строил эти палантины из старых платьев и нарядил в них всех белоцерковских пань и панянок. Но, впрочем, говорили, что он тоже и новые платья будто хорошо шил. Я в этом, разумеется, не знаток, но меня удивляло его досужество – как он добывал для себя работу и где находил место ее производить? Тоже удивительна мне была и цена, какую он брал за свое артистическое искусство: за целое платье он брал от четырех до пяти злотых, т. е. шестьдесят или семьдесят пять копеек. А палантины прямо ставил по два злота за штуку и притом половину из этого еще отдавал фельдфебелю или, по-ихнему – «подфебелю», чтобы от него помехи в работе не было, а другую половину посылал куда-то в Нежин или в Каменец семейству «на воспитание ребенков и прочего семейства».

«Ребенков» у него было, по его словам, что-

то очень много, едва ли не «семь штук», которые «все себе имеют желудки, которые кушать просят».

Как не почтить человека с такими семейными добродетелями, и мне этого Лазаря, повторяю вам, было очень жалко, тем больше, что, обиженный от своего собственного рода, он ни на какую помощь своих жидов не надеялся и даже выражал к ним горькое презрение, а это, конечно, не проходит даром, особенно в роде жидовском.

Я его раз спросил:

– Как ты это, Лазарь, своего рода не любишь?

А он отвечал, что добра от них никакого не видел.

– И в самом деле, – говорю я, – как они не пожалели, что у тебя семь «ребенков» и в рекруты тебя отдали? Это бессовестно.

– Какая же, – отвечает он, – у наших жидов совесть?

– Я, мол, думал, что по крайности, хоть против своих чего-нибудь посовестьются, ведь вы все одной веры.

Но Лазарь только рукой махнул.

– Неужели, – спрашиваю, – они уж и бога не боятся?

– Они, – говорит, – его в школе запирают.

– Ишь, какие хитрые!

– Да, хитрее их, – отвечает, – на свете нет.

Таким образом, если замечаете, мы с этим пегим рекрутом из жидов даже как будто единомыслили и пришли в душевное согласие, и я его очень полюбил и стал лелеять тайное намерение как-нибудь облегчить его, чтобы он мог больше зарабатывать для своих «ребенков».

Даже в пример его своим ставил как трезвого и трудолюбивого человека, который не только сам постоянно работает, но и обоих своих товарищей к делу приспособил: рыжий у него что-то подшивал, а черный губан утюги грел да носил.

В строю они учились хорошо; фигуры, разумеется, имели неважные, но выучились стоять прямо и носки на маршировке вытягивать, как следует, по чину Мельхиседекову. Вскоре и ружьем стали артикул выкидывать, – словом все, как подобало; но вдруг, когда я к ним совсем расположился и даже сде-

лался их первым защитником, они выкинули такую каверзу, что чуть с ума меня не свели. Измыслили они такую штуку, что ею всю мудрую стойкость Мордвинова чуть под плотину не выбросили, если бы не спас дела Мамашкин.

Вдруг все мои три жида начали «падать»!

Все исполняют как надо: и маршировку, и ружейные приемы, а как им скамандуют: «пали!» – они выпалят и повалятся, ружья бросят, а сами ногами дрыгают...

И заметьте, что ведь это не один который-нибудь, а все трое: и вороной, и рыжий, и пегий... А тут точно назло, как раз в это время, получается известие, что генерал Рот, который жил в своей деревне под Звенигородкою, собирается объехать все части войск в местах их расположения и будет смотреть, как обучены новые рекруты.

Глава седьмая

Рот – это теперь для всех один звук, а на нас тогда это имя страх и трепет наводило. Рот был начальник самый бедовый, каких не дай господи встречать: человек сухой, формалист, желчный и злой, притом такая страшная придира, что угодить ему не было никакой возможности. Он всех из терпения выводил, и в подведомых ему частях тогда того только и ждали, что его кто-нибудь прикончит по образу графа Каменского или Аракчеевской Настьки. Был, например, такой случай, что один ремонтер, человек очень богатый, подержал пари, что он избежит от Рота всяких придирок, и в этом своем усердии ремонтер затратил на покупку много своих собственных денег и зато привел превосходных коней, что на любой императору сесть не стыдно. Особенно между ними одна всех восхищала, потому что во всех статьях была совершенство. Но Рот, как стал смотреть, так у всех нашел недостатки и всех перебраковал. А как дошло дело до этой самой лучшей, тут и вышла история.

Вывели эту лошадушку, а она такая веселая, точно барышня, которая сама себя показать хочет: хвост и гриву разметала и заржала.

Рот к этому и придрался:

– Лошадь, – говорит, – хороша, а голос у нее скверный.

Тут ремонтер уже не выдержал.

– Это, – говорит, – ваше высокопревосходительство, оттого, что «рот» скверен.

Анекдот этот тогда разошелся по всей армии.

Генерал понял, рассердился, а ремонтера в отставку выгнал.

С таким-то, прости господи, чертом мне надо было видеться и представлять ему падучих жидов. А они, заметьте, успели уже произвести такой скандал, что солдаты их зачислили особою командою и прозвали «Жидовская кувыркаллегия».

Можете себе представить, каково было мое положение! Но теперь извольте же прослушать, как я из него выпутался.

Глава восьмая

Разумеется, мы всячески бились отучить наших жидков от «падежа», и труды эти составляют весьма характерную историю.

Самый первый одобрителный прием в строю тогдашнего времени был хороший материальный окрик и два-три легких угощения шато-скуловоротом. Это подносилось в счет абонементов, а потом следовало поднятие казенных хвостиков у мундира за фронтом и, наконец, настоящие розги в обширной пропорции. Все это и было испробовано как следует, но не помогло: опять чуть скомандуют «пали» – все три жидовина с ног валятся.

Велел я их очень сильно взбрызнуть, и так сильно сбрызнули, что они перестали шить сидя, а начали шить лежа на животах, но все-таки при каждом выстреле падают.

Думаю: давай я их попробую какими-нибудь трогательными резонами обрезать.

Призвал всех троих и обращаю к ним свое командирское слово:

– Что это, – говорю, – вы такое выдумали – падать?

– Сохрани бог, ваше благородие, – отвечает пегий: мы ничего не выдумываем, а это наша природа, которая нам не позволяет палить из ружья, которое само стреляет.

– Это еще что за вздор!

– Точно так, отвечает: – потому Бог создал жидов не к тому, чтобы палить из ружья, ежели которое стреляет, а мы должны торговать и всякие мастерства делать. Мы ружьем, которое стреляет, все махать можем, а стрелять, если которое стреляет, – мы этого не можем.

– Как так «которое стреляет»? Ружье всякое стреляет оно для того и сделано.

– Точно так, – отвечает он: – ружье, которое стреляет, оно для того и сделано.

– Ну, так и стреляйте.

Послал стрелять, а они опять попадали.

Глава девятая

Черт знает, что такое! Хоть рапорт по начальству подавай, что жида по своей природе не могут служить в военной службе.

Вот тебе и Мордвинов и вся его победа над супостатом!

Срам и досада! И стало мне казаться, что надо мною даже свои люди издеваются и подают мне насмешливые советы.

Так, например, поручик Рослое все советовал «перепороть их хорошенько».

– Пороны уже, – говорю, – они достаточно.

– Выпороть, – говорит, – еще их «на-бело» и окрестить. Тогда они иной дух примут.

Но отец-батюшка, который там был, сомневался и говорил, что крещение, пожалуй, не поможет, а он иное советовал.

– Надо бы, – говорит, – выписать из Петербурга протоиерейского сына, который из духовного звания в техноложцы вышел.

– Что же, – говорю, – тут техноложец может сделать!

– А он, – говорит, – когда в прошлом году к отцу в гости приезжал, то для маленькой

племянницы, которая ходить не умела, такие ходульные креслица сделал, что она не падала.

– Так это вы хотите, чтобы и солдаты в ходульных креслицах ходили?

И только ради сана его не обругал материально, а послал его ко всем чертям мысленно.

А тут Полуферт приходит и говорит, что будто точно такая же кувыркаллегия началась и в других частях, которые стояли в Василькове, в Сквире и в Тараще.

– Я даже, говорит, – «пар сет оказиен» и стихи написал: вот «экутэ», пожалуйста.

И начинает мне читать какую-то свою рифмованную окрошку из слов жидовских, польских и русских.

Целым этим стихотворением, которое я немного помню, убедительно доказывалось, что евреям не следует и невозможно служить в военной службе, потому что, как у моего поэта было написано:

*Жид, который привык торговать
Люкем и гужалькем,
Ляпсардак класть на спину
И подпирацься с палькем;*

*Жид, ктурый, як се уродзил,
Нигде по воде без мосту не ход-
зил.*

И так далее, все «который», да «ктурый», и в результате то, что жиду никак нельзя служить в военной службе.

– Так что же по-вашему с ними делать?

– Перепасе люи дан отр режиман.

– Ага? «перепасе...» А вы, говорю, напрасно им заказываете палантины для ваших «танте» шить.

Полуферт сконфузился и забожился.

– Нон, дьо ман гард, – говорит, – я это просто так, а ву ком вуле ву, и же ву зангаже в цукерню – выпьемте по рюмочке высочайше утвержденного.

Я, разумеется, не пошел.

Досада только, что черт знает, какие у меня помощники, даже не с кем посоветоваться: один глуп, другой пьян без просыпа, а третий только поэзию разводит, да что-то каверзит.

Но у меня был денщик-хохол из породы этаких Шельменок; он видит мое затруднение и говорит:

– Ваше благородие, осмеливаюсь я вашему

благородию доложить, что как ваше благородие с жидами ничего не зробите, почему що як ваше благородие из России, которые русские люди к жидам непривычные.

– А ты, привычный, что ты мне посоветуешь?

– А я, – отвечает, – тое вам присоветую, що тут треба поляка приставить; есть у нас капральный из поляков, отдайте их тому поляку, – поляк до жида майстровитее.

Я подумал:

– А и справды попробовать! поляки их круто донимали.

Поляк этот был парень ловкий и даже очень образованный; он был из шляхты, не доказавшей дворянства, но обладал сведениями по истории и однажды пояснял мне, что есть правление, которое называется республика, и есть другое – республиканция. Республика – это выходило то, где «есть король и публика, а республиканция, где нет королю вакансии».

Велел я позвать к себе этого образованного шляхтича и говорю ему:

– Ведь ты, братец, поляк?

– Действительно так, – отвечает, – римско-католического исповедания, верно поданный его императорского величества.

– Ты, говорят, – отлично знаешь евреев?

– Еще как маленький был, то их тогда горохом да клюквой стрелял для испугания.

– Знаешь ты, какую у нас жида досаду делают, – падают. Не можешь ли ты их отучить?

– Со всем моим удовольствием.

– Ну, так я отдаю их на твою ответственность. Делай с ними что знаешь, только помни, что они уже до сих пор и начерно и набело выпороны, так что даже сидеть не могут, а лежа на брюхе работают.

– Это, – отвечает, – ничего, не суть важно: жид поляка не обманет.

– Ну, иди и делай.

– Счастливо оставаться, – говорит, – и завтра же узнаете, что господь бог и поляка недаром создал.

– Хорошо, – говорю, – доказывай.

На другой день иду посмотреть, как мои жидки обретаются, и вижу, что все они уже не сидят и не лежат на брюхе, а стоя шьют.

– Отчего, – спрашиваю, – вы стоя шьете?

разве вам так ловко?

– Никак нет, – совсем даже неловко, – отвечают.

– Так отчего же вы не садитесь?

– Невозможно, – отвечают, – потому – мы с этой стороны пострадали.

– Ну, так, по крайней мере, хоть лежа на брюхе шейте.

– Теперь и так, – говорят, – невозможно, потому что мы и с этой стороны тоже пострадали.

Поляк их, извольте видеть, по другой стороне отстрочил. В этом и было все его тонкое доказательство, зачем бог поляка создал; а жидовское падение все-таки и после этого продолжалось.

Узнал я, что мой Шельменко нарочно поляка подвел, и посадил их обоих на хлеб на воду, а сам послал за поручиком Фингершпилером и очень удивился, когда тот ко мне почти в ту же минуту явился и совсем в трезвом виде.

«Вот, думаю, немец их достигнет».

Глава десятая

— Очень рад, — говорю, — что могу вас видеть и совсем свежего.

— Как же, капитан, — отвечает, — я уже очень давно, даже еще со вчерашнего дня, совсем ничего не пью.

— Ну, вот видите ли, — говорю, — это мне очень большая радость, потому что я терплю смешную, но неодолимую досаду: вы знаете, у нас во фронте три жида, очень смирные люди, но должно быть отбиться от службы хотят — все падают. Вы — немец, человек твердой воли, возьмитесь вы за них и одолейте эту проклятую их привычку.

— Хорошо, — говорит, — я их отучу.

Учил он их целый день, а на следующее утро опять та же история: выстрелили и попадали.

Повел их немец доучивать, а вечером я спрашиваю вестового:

— Как наши жида?

— Живы, — говорит, — ваше благородие, а только ни на что не похожи.

— Что это значит?

– Не могу знать для чего, ваше благородие, а ничего распознать нельзя.

Обеспокоился я, не случилось ли чего чересчур глупого, потому что с одной стороны они всякого из терпения могли вывести, а с другой – уже они меня в какую-то меланхолию вогнали и мне так и стало чудиться – не нажить бы с ними беды.

Оделся я и иду к их закуту; но, еще не доходя, встречаю солдата, который от них идет, и спрашиваю:

– Живы жиды?

– Как есть живы, ваше благородие.

– Работают?

– Никак нет, ваше благородие.

– Что же они делают?

– Морды вверх держат.

– Что ты врешь, – зачем морды вверх держат?

– Очень морды у них, ваше благородие, попухли, как будто пчелы изъели, и глаз не видеть; работать никак невозможно, только пить просят.

– Господи! – воскликнул я в душе своей, – да что же за мука такая мне ниспослана с эти-

ми тремя жидовинами; не берет их ни таска, ни ласка, а между тем того и гляди, что переломить их не переломишь, а либо тот, либо другой изувечит их.

И уже сам я в эти минуты был против Мордвинова.

— Гораздо лучше, — думаю, — если бы их в рекруты не брали.

Вхожу в таком волнении где были жидаы, и вижу — действительно, все они трое сидят на коленях, а руками в землю опираются и лица кверху задрали.

Но, боже мой, что это были за лица! Ни глаз, ни рта — ничего не рассмотришь, даже носы жидовские и те обесформились, а все вместе скипелось и слилось в одну какую-то безобразную, сине-багровую нашлапку. Я просто ужаснулся и, ничего не спрашивая, пошел домой, понуря голову.

Но тут-то, в момент величайшего моего сознания своей немоци, и пришла ко мне помощь нежданная и необыкновенно могущественная.

Глава одиннадцатая

Вхожу я в свою квартиру, которая была заперта, после посаждения под арест Шельменки, и вижу – на полу лежит довольно поганенький конвертик и подписан он моему благородию с обозначением слова «секрет».

Все надписание сделано неумелым почерком, вроде того, каким у нас на Руси пишут лавочные мальчишки. Способ доставки мне тоже понравился – подметный, т. е. самый великорусский.

Письмо, очевидно, было брошено мне в окно тем обычным путем, которым в старину подбрасывались изветы о «слове и деле», а ныне возвещается о красном петухе и его делах.

Ломаю конверт и достаю грязноватый листок, на котором начинается сначала долгое титулование моего благородия, потом извинения о беспокойстве и просьбы о прощении, а затем такое изложение: «осмеливаюсь я вам доложить, что как после телесного меня наказания за дамскую никсу (т. е. книксен), лежал я все время в обложной болезни с внутренно-

стями в киевском вошпитале и там дают нашему брату только одну булычку и несчастной суп, то очень желамши черного христианского хлеба, задолжал я фершалу три гривенника и оставил там ему в заклад сапоги, которые получил с богомольцами из своей стороны, из Кром, заместо родительского благословения. А потому прибегаю к вашему благородию как к командеру за помощью: нет ли в царстве вашего благородия столько милосердных денежек на выкуп моего благословения для обуви ног, за что вашему благородию все воздаст бог в день страшного своего пришествия, а я, в ожидании всей вашей ко мне благоволения, остаюсь по гроб жизни вашей роты рядовой солдат, Семеон Мамашкин».

Тем и кончилась страница «секрета», но я был так благоразумен, что, несмотря на подпись, заключающую письмо, перевернул листок и на следующих его страницах нашел настоящий «секрет». Пишет мне далее господин Мамашкин нижеследующее:

«А что у нас от жидов по службе, через их падение начался обегдот и вашему благородию есть опасение, что через то может после-

довать портеж по всей армии, то я могу все эти кляверзы уничтожить».

Прочел я еще это письмо, и, сам не знаю почему, оно мне показалось серьезным.

Только немало меня удивило, что я всех своих солдат отлично знаю и в лицо и по имени, а этого Семеона Мамашкина будто не слышал и про какую он дамскую никсу писал – тоже не помню. Но как раз в это время заходит ко мне Полуферт и напоминает мне, что это тот самый солдатик, который, выполоскав на реке свои белые штаны, надел их на плечи и, встретясь с становихою, сделал ей реверанс и сказал: «кланяйтесь бабушке и поцелуйте ручку». За это мы его в успокоение штатских властей посекли, потом он от какого-то другого случая был болен и лежал в лазарете.

Впрочем, Полуферт рекомендовал мне этого Мамашкина как человека крайне легкомысленного.

– Муа же ле коню бьен, – говорил Полуферт; – сет бет Мамашкин: он у меня в взводе и, – ву саве, – иль мель боку, и все просит себе «хлеба насупротив человеческого положения».

– Пришлите его, пожалуйста, ко мне; я хочу его видеть.

– Не советую, – говорит Полуферт.

– А почему?

– Пар се ке же ву ди – иль мель боку.

– Ну, «мель» не «мель», а я хочу его выслушать.

И с этим кликнул вестового и говорю:

– Слтай на одной ноге, братец, в роту, позови ко мне из второго взвода рядового Мамашкина.

А вестовой отвечает:

– Он здесь, ваше благородие.

– Где здесь?

– В сенях, при кухне, дожидается.

– Кто же его звал?

– Не могу знать, ваше благородие, сам пришел, – говорит, будто известился в том, что скоро требовать будут.

– Ишь, говорю, какой торопливый, времени даром не тратит.

– Точно так, – говорит, он уже щенка вашего благородия чистым дегтем вымазал и с золой отмыл.

– Отлично, – думаю, – я все забывал прика-

зять этого щенка отмыть, а мосье Мамашкин сам догадался, значит – практик, а не то что «иль мель боку», и я приказал Мамашкина сейчас же ввести.

Глава двенадцатая

Входит этакий солдатик чистенький, лет двадцати трех-четырех, с маленькими усиками, бледноват немножко, как бывает после долгой болезни, но карие маленькие глазки смотрят бойко и сметливо, а в манере не только нет никакой робости, а, напротив, даже некоторая простодушная развязность.

– Ты, – говорю, – Мамашкин, есть очень сильно желаешь?

– Точно так, – очень сильно желаю.

– А все-таки нехорошо, что ты родительское благословение проел.

– Виноват, ваше благородие, удержаться не мог, потому дают, ваше благородие, все одну булочку да несносный суп.

– А все же, – говорю, – отец тебя не похвалит.

Но он меня успокоил, что у него нет ни отца, ни матери.

– Тятеньки, – говорит, – у меня совсем и в заводе не было, а маменька померла, а сапоги прислал целовальник из орловского кабака, возле которого Мамашкин до своего рекрутства калачи продавал. Но сапоги были важнейшие: на двойных передачах и с поднарядом.

– А какой, – говорю, – ты мне хотел секрет сказать об обегдоте?

– Точно так, – отвечает, а сам на Полуферта смотрит.

Я понял, что, по его мнению, тут «лишние бревна есть», и без церемонии послал Полуферта исполнять какое-то порученьишко, а солдата спрашиваю:

– Теперь можешь объяснить?

– Теперь могу-с, – отвечает: – евреи в действительности не по природе падают, а делают один обегдот, чтобы службы обежать.

– Ну, это я и без тебя знаю, а ты какое средство против их обегдота придумал?

– Всю их хитрость, ваше благородие, в два мига разрушу.

– Небось, как-нибудь еще на иной манер их бить выдумал?

– Боже сохрани, ваше благородие! реши-

тельно без всякого бойла; даже без самой пустой подщечины.

– То-то и есть, а то они уже и без тебя и в хвост и в голову избиты... Это противно.

– Точно так, ваше благородие, – человечество надо помнить: я, рассмотрев их, видел, что весь спинной календарь до того расписан, что открывку поднять невозможно. Я оттого и хочу их сразу от всего страданья избавить.

– Ну, если ты такой добрый и надеешься их без битья исправить, так говори в чем твой секрет?

– В рассуждении здравого рассудка.

– Может быть голодом их морить хочешь?

Опять отрицается.

– Боже, – говорит, – сохрани! пускай себе что хотят едят: хоть свой рыбный суп, хоть даже говяжий мыштекс, – что им угодно.

– Так мне, – говорю, – любопытно: чем же ты их хочешь донять?

Просит этого не понуждать его открывать, потому что так уже он поладил сделать все дело в секрете. И клянется, и божится, что никакого обмана нет и ошибки быть не может, что средство его верное и безопасное. А чтобы

я не беспокоился, то он кладет такой зарок, что если он нашу жидовскую кувыркаллегию уничтожит, то ему за это ничего, кроме трех гривенников на выкуп благословенных сапогов не нужно, «а если повторится опять тот самый многократ, что они упадут», то тогда ему, господину Мамашкину, занести в спинной календарь двести палок.

Пари, как видите, для меня было совсем беспроегрышное, а он кое-чем рисковал.

Я задумался и, как русский человек, заподозрил, что землячок какою ни на есть хитростью хочет с меня что-то сорвать.

Глава тринадцатая

Посмотрел я на Мамашкина в упор и спрашиваю:

– Что же тебе, может быть, расход какой-нибудь нужен?

– Точно так, – говорит, – расход надо беспрерывно.

– И большой?

– Очень, ваше благородие, значительный.

Ну, лукавь, думаю, лукавь, – откройся скорее, – на сколько ты замахнулся отца-командира обьегорить.

– Хорошо, – говорю, – я тебе дам сколько надо, – и для вящего ему соблазна руку к кошельку протягиваю, но он заметил мое движение и перебивает:

– Не извольте, ваше благородие, беспокоиться, на такую неткаль не надо ничего из казны брать, – мы сею статьею так раздобудемся. Мне позвольте только двух товарищей – Петрова да Иванова с собой взять.

– Воровства делать не будете?

– Боже сохрани! зайдем что надо, и как все справим, так в исправности назад отдадим.

Убеждаюсь, что человек этот не стремится с меня сорвать, а хочет произвести свой полезный для меня и евреев опыт собственными средствами, и снова чувствую к нему доверие и, разрешив ему взять Петрова и Иванова, отпускаю с обещанием, если опыт удастся, выкупить его благословенные сапоги.

А как все это было вечеру сущу, то сам я, мало годя, лег спать и заснул скоро и крепко.

Да! – позабыл вам сказать, что весьма важно для дела: Мамашкин, после того, как я его отпустил, пожелав «счастливо оставаться», выговорил, чтобы обработанные фингершпи-лером евреи были выпущены из-под запора на «вольность вольдуха», дабы у них морды поотпухли. Я на это соблаговолил и даже еще посмеялся: – откуда он берет такое красноречие, как «вольность вольдуха», а он мне объяснил, что все разные такие хорошие слова он усвоил, продавая проезжим господам калачи.

– Ты, брат, способный человек, – похвалил я его и лег спать, по правде сказать, ничего от него не ожидая.

Глава четырнадцатая

Во сне мне снился Полуферт, который все выпытывал, что говорил мне Мамашкин, и уверял, что «иль мель боку», а потом звал меня «жуе о карт императорского воспитательного дома», а я его прогонял. В этом прошла у меня украинская ночь; и чуть над Белой Церковью начала алеть слабая предрассветная заря, я проснулся от тихого зова, который несся ко мне в открытое окно спальни.

Это будил меня Мамашкин.

Слышу, что в окно точно любовный шепот веет:

– Вставайте, ваше благородие, – все готово.

– Что же надо сделать?

– Пожалуйте на ученье, где всегда собираемся.

А собирались мы на реке Роси, за местечком, в превосходном расположении. Тут и лесок, и река, и просторный выгон.

Было это немножко рано, но я встал и пошел посмотреть, что мой Мамашкин там устроил.

Прихожу и вижу, что через всю реку про-

тянута веревка, а на ней держатся две лодки, а на лодках положена кладка в одну доску. А третья лодка впереди в лозе спрятана.

– Что же это за флотилия? – спрашиваю.

– А это, – говорит, – ваше благородие, «снасть». Как ваше благородие скомандуете ружья зарядить на берегу, так сейчас добавьте им команду: «налево кругом», и чтобы фаршированным маршем на кладку, а мне впереди; а как жида за мною взойдут, так – «оборот лицом к реке», а сами сядьте в лодку, посередь реки к нам визавидом станьте и дайте команду: «пли». Они выстрелят и ни за что не упадут.

Посмотрел я на него и говорю:

– Да ты, пожалуй, три гривенника стоишь.

И как люди пришли на ученье, – я все так и сделал как говорил Мамашкин, и... представьте себе – жид ведь в самом деле ни один не упал! Выстрелили и стоят на досточке, как журавлики.

Я говорю: «Что же вы не падаете?»

А они отвечают: «Мозе, ту глубоко».

Глава пятнадцатая

Мы не вытерпели и спросили полковника:
– Неужто тем и кончилось?

– Никогда больше не падали, – отвечал Стадников: – и все как рукой сняло. Сейчас же, по всем трактам к Василькову, Сквире и Звенигородке, все, во едином образе, видели, как проезжал верхом какой-то «жид каштановатый, конь сивый, бородатый», – и кувыр-каллегия повсеместна сразу кончилась. Да и нельзя иначе: ведь евреи же люди очень умные: как они увидели, что ни шибком да рывком, а настоящим умом за них взялись, – они и полно баловаться. Даже благодарили, что, говорят, «теперь наши видят, что нам нельзя было не служить». Ведь они больше своих боятся. А вскоре и «Рвот» приехал, и орал, орал: «заппаррю... закккаттаю!» а уж к чему это относилось, того, чай, он и сам не знал, а за жи-дов мы от него даже получили отеческое «благодарррю!», которое и старались употребить на улучшение солдатского приварка, – только не очень наварно выходило.

– Ну, а что же за все это было Мамашкину?

– Я ему выдал три гривенника на благословенные сапоги и четвертый гривенник прибавил за сбор этой снасти его собственными средствами. Он ведь все это у жидов те и позаимствовал: и лодки, и доски, и веревки – надо было потом все это честно возвратить собственникам, чтобы никто не обижался. Но этот гривенник все и испортил – не умели дурачки разделить десять на три без остатка и все у жида в шинке пропили.

– А благословенные сапоги?

– Вероятно, так и пропали. Ну, да ведь когда дело государственных вопросов касается, тогда частные интерес не важны.

Впервые опубликовано – «Газета А. Гатцука», 1882.

Дух госпожи Жанлис Спиритический случай

*Духа иногда гораздо легче вызвать,
чем от него избавиться.*

А. Б. Калмет

Глава первая

Странное приключение, которое я намерен рассказать, имело место несколько лет тому назад, и теперь оно может быть свободно рассказано, тем более что я выговариваю себе право не называть при этом ни одного собственного имени.

Зимой 186* года в Петербург прибыло на жительство одно очень зажиточное и именитое семейство, состоявшее из трех лиц: матери – пожилой дамы, княгини, слывшей женщиною тонкого образования и имевшей наилучшие светские связи в России и за границею; сына ее, молодого человека, начавшего в этот год служебную карьеру по дипломатическому корпусу, и дочери, молодой княжны, которой едва пошел семнадцатый год.

Новоприбывшее семейство до сей поры обыкновенно проживало за границею, где покойный муж старой княгини занимал место представителя России при одном из второстепенных европейских дворов. Молодой князь и княжна родились и выросли в чужих краях, получив там вполне иностранное, но очень тщательное образование.

Глава вторая

Княгиня была женщина весьма строгих правил и заслуженно пользовалась в обществе самой безукоризненной репутацией. В своих мнениях и вкусах она придерживалась взглядов прославленных умом и талантами французских женщин времен процветания женского ума и талантов во Франции. Княгиню считали очень начитанною и говорили, что она читает с величайшим разбором. Самое любимое ее чтение составляли письма г-жи Савиньи, Лафает и Ментенон, а также Коклюс и Данго Куланж, но всех больше она уважала г-жу Жанлис, к которой она чувствовала слабость, доходившую до обожания. Маленькие томики прекрасно сделанно-

го в Париже издания этой умной писательницы, скромно и изящно переплетенные в голубой сафьян, всегда помещались на красивой стенной этажерке, висевшей над большим креслом, которое было любимым местом княгини. Над перламутровой инкрустацией, завершавшей самую этажерку, свешиваясь с темной бархатной подушки, покоилась превосходно сформированная из terracota миниатюрная ручка, которую целовал в своем Фернее Вольтер, не ожидавший, что она уронит на него первую каплю тонкой, но едкой критики. Как часто перечитывала княгиня томики, начертанные этой маленькой ручкой, я не знаю, но они всегда были у ней под рукою и княгиня говорила, что они имеют для нее особенное так сказать таинственное значение, о котором она не всякому решилась бы рассказывать, потому что этому не всякий может поверить. По ее словам выходило, что она не расстанется с этими волюмами «с тех пор, как себя помнит», и что они лягут с нею в могилу.

– Мой сын, – говорила она, – имеет от меня поручение положить книжечки со мной в гроб, под мою гробовую подушку, и я уверена,

что они пригодятся мне даже после смерти.

Я осторожно пожелал получить хотя бы самые отдаленные объяснения по поводу последних слов, – и получил их.

– Эти маленькие книги, – говорила княгиня, – напоены духом Фелиситы (так она называла m-me Genlis, вероятно в знак короткого с нею общения). Да, свято веря в бессмертие духа человеческого, я также верю и в его способность свободно сноситься из-за гроба с теми, кому такое сношение нужно и кто умеет это ценить. Я уверена, что тонкий флюид Фелиситы избрал себе приятное местечко под счастливым сафьяном, обнимающим листки, на которых опочили ее мысли, и если вы не совсем неверующий, то я надеюсь, что вам это должно быть понятно.

Я молча поклонился. Княгине, по-видимому, понравилось, что я ей не возражал, и она в награду мне прибавила, что все, ею мне сейчас сказанное, есть не только вера, но настоящее и полное убеждение, которое имеет такое твердое основание, что его не могут поколебать никакие силы.

– И это именно потому, – заключила она, –

что я имею множество доказательств, что дух Фелиситы живет, и живет именно здесь!

При последнем слове княгиня подняла над головою руку и указала изящным пальцем на этажерку, где стояли голубые волюмы.

Глава третья

Я от природы немножко суеверен и всегда с удовольствием слушаю рассказы, в которых есть хотя какое-нибудь место таинственному. За это, кажется, прозорливая критика, зачислявшая меня по разным дурным категориям, одно время говорила, будто я спирит.

Притом же, к слову сказать, все, о чем мы теперь говорим, происходило как раз в такое время, когда из-за границы к нам приходили в изобилии вести о спиритических явлениях. Они тогда возбуждали любопытство, и я не видал причины не интересоваться тем, во что начинают верить люди.

«Множество доказательств», о которых упоминала княгиня, можно было слышать от нее множество раз: доказательства эти заключались в том, что княгиня издавна образовала привычку в минуты самых разнообраз-

разных душевных настроений обращаться к сочинениям г-жи Жанлис как к оракулу, а голубые волюмы, в свою очередь, обнаруживали неизменную способность разумно отвечать на ее мысленные вопросы.

Это, по словам княгини, вошло в ее «абитюды», которым она никогда не изменяла, и «дух», обитающий в книгах, ни разу не сказал ей ничего неподходящего.

Я видел, что имею дело с очень убежденной последовательницей спиритизма, которая притом не обделена умом, опытностью и образованием, и потому чрезвычайно всем этим заинтересовался.

Мне было уже известно кое-что из природы духов, и в том, чему мне доводилось быть свидетелем, меня всегда поражала одна общая всем духам странность, что они, являясь из-за гроба, ведут себя гораздо легкомысленнее и, откровенно сказать, глупее, чем проявляли себя в земной жизни.

Я уже знал теорию Кардека о «шаловливых духах» и теперь крайне интересовался: как удостоит себя показать при мне дух остроумной маркизы Сюльери, графини Брюс-

ляр?

Случай к тому не замедлил, но, как и в коротком рассказе, так же как в маленьком хозяйстве, не нужно портить порядка, то я прошу еще минуту терпения, прежде чем довести дело до сверхъестественного момента, способного превзойти всяческие ожидания.

Глава четвертая

Люди, составлявшие небольшой, но очень избранный круг княгини, вероятно, знали ее причуды; но, как все это были люди воспитанные и учтивые, то они умели уважать чужие верования, даже в том случае, если эти верования резко расходились с их собственными и не выдерживал критики. А потому никто и никогда с княгиней об этом не спорил. Впрочем, может быть и то, что друзья княгини не были уверены в том, что она считает свои голубые волюмы обиталищем «духа» их автора в прямом и непосредственном смысле, а принимали эти слова как риторическую фигуру. Наконец, может быть и еще проще, то есть что они принимали все это за шутку.

Один, кто не мог смотреть на дело таким образом, к сожалению, был я; и я имел к тому свои основания, причины которых, может быть, кроются в легковерии и впечатлительности моей натуры.

Глава пятая

Внимание этой великосветской дамы, которая открыла мне двери своего уважаемого дома, я был обязан трем причинам: во-первых, ей почему-то нравился мой рассказ «Запечатленный ангел», незадолго перед тем напечатанный в «Русском вестнике»; во-вторых, ее заинтересовало ожесточенное гонение, которому я ряды лет, без числа и меры, подвергался от моих добрых литературных собратий, желавших, конечно, поправить мои недоразумения и ошибки, и, в-третьих, княгиня меня хорошо рекомендовал в Париже русский иезуит, очень добрый князь Гагарин — старик, с которым мы находили удовольствие много беседовать и который составил себе обо мне не наихудшее мнение.

Последнее было особенно важно, потому что княгине было дело до моего образа мыс-

лей и настроения; она имела, или по крайней мере ей казалось, будто она может иметь, необходимость в небольших с моей стороны услугах. Как это ни странно для человека такого скромного значения, как я, это было так. Необходимость эту княгине сочинила ее материнская заботливость о дочери, которая совсем почти не знала по-русски... Привозя прелестную девушку на родину, мать хотела найти человека, который мог бы сколько-нибудь ознакомить княжну с русскою литературою, — разумеется, исключительно *хорошею*, то есть настоящею, а не зараженною «злобою дня».

О последней княгиня имела представления самые смутные и притом до крайности преувеличенные. Довольно трудно было понять, чего именно она боялась со стороны современных титанов русской мысли, — их ли силы и отваги, или их слабости и жалкого самомнения; но, улавливая кое-как, с помощью наведения и догадок, «головки и хвостики» собственных мыслей княгини, я пришел к безошибочному, на мой взгляд, убеждению, что она всего определительнее боялась «нецеломудренных намеков», которыми, по ее по-

нятиям, была вконец испорчена вся наша нескромная литература.

Разуверять в этом княгиню было бесполезно, так как она была в том возрасте, когда мнения уже сложились прочно и очень редко кто способен подвергать их новому пересмотру и проверке. Она, несомненно, была не из этих, и чтобы ее переуверить в том, во что она уверовала, недостаточно было слова обыкновенного человека, а это могло быть по силам разве духу, который счел бы нужным прийти с этою целью из ада или из рая. Но могут ли подобные мелкие заботы занимать бесплотных духов безвестного мира; не мелкие ли для них все, подобные настоящему, споры и заботы о литературе, которую и несравненно большая доля живых людей считает пустым занятием пустых голов?

Обстоятельства, однако, скоро показали, что, рассуждая таким образом, я очень грубо заблуждался. Привычка к литературным прегрешениям, как мы скоро увидим, не оставляет литературных духов и за гробом, а читателю будет предстоять задача решить: в какой мере эти духи действуют успешно и остаются

верны своему литературному прошлому.

Глава шестая

Благодаря тому, что княгиня имела на все строго сформированные взгляды, моя задача помочь ей в выборе литературных произведений для молодой княжны была очень определительна. Надо было, чтобы княжна могла из этого чтения узнавать русскую жизнь, и притом не встретить ничего, что могло бы смутить девственный слух. Материнскою цензурой княгини целиком не допускался ни один автор, даже Державин и Жуковский. Все они ей представлялись не вполне надежными. О Гоголе, разумеется, нечего было и говорить, — он целиком изгонялся. Из Пушкина допускались: «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин», но последний с значительными урезками, которые собственноручно отмечала княгиня. Лермонтов не допускался, как и Гоголь. Из новейших одобрялся несомненно один Тургенев, но и то кроме тех мест, где говорят о любви, а Гончаров был изгнан, и хотя я за него довольно смело заступался, но это не помогло, княгиня от-

вечала:

– Я знаю, что он большой художник, но это тем хуже, – вы должны признать, что у него есть разжигающие предметы.

Глава седьмая

Я во что бы то ни стало хотел знать: что такое именно понимает княгиня под *разжигающими предметами*, которые она нашла в сочинениях Гончарова. Чем он мог, при его мягкости отношений к людям и обуревающим их страстям, оскорбить чье бы то ни было чувство?

Это было до такой степени любопытно, что я напустил на себя смелость и прямо спросил, какие у Гончарова есть разжигающие предметы?

На этот откровенный вопрос я получил откровенный же, острым шепотом произнесенный, односложный ответ: «локти».

Мне показалось, что я не вслушался или не понял.

– Локти, локти, – повторила княгиня и, видя мое недоразумение, как будто рассердилась. – Неужто вы не помните... как его этот...

герой где-то... там засматривается на голые локти своей... очень простой какой-то дамы?

Теперь я, конечно, вспомнил известный эпизод из «Обломова» и не нашел ответить ни слова. Мне, собственно, тем удобнее было молчать, что я не имел ни нужды, ни охоты спорить с недоступною для переубеждений княгинею, которую я, по правде сказать, давно гораздо усерднее наблюдал, чем старался служить ей моими указаниями и советами. И какие указания я мог ей сделать после того, как она считала возмутительным неприличием «локти», а вся новейшая литература шагнула в этих откровениях несравненно далее?

Какую надо было иметь смелость, чтобы, зная все это, назвать хотя одно новейшее произведение, в которых покровы красоты приподняты гораздо решительнее!

Я чувствовал, что, при таком раскрытии обстоятельств, моя роль советчика должна быть кончена, – и решился не советовать, а противоречить.

– Княгиня, – сказал я, – мне кажется, что вы несправедливы: в ваших требованиях к худо-

жественной литературе есть преувеличение.

Я изложил ей все, что по моему мнению, относилось к делу.

Глава восьмая

Увлекаясь, я произнес не только целую кри-
тику над ложным пуризмом, но и привел
известный анекдот о французской даме, кото-
рая не могла ни написать, ни выговорить сло-
ва «culotte», [8] но зато, когда ей однажды
неизбежно пришлось выговорить это слово
при королеве, она запнулась и тем заставила
всех расхохотаться. Но я никак не мог вспом-
нить; у кого из французских писателей мне
пришлось читать об ужасном придворном
скандале, которого совсем бы не произошло,
если бы дама выговорила слово «culotte» так
же просто, как выговаривала его своими авгу-
стейшими губками сама королева.

Цель моя была показать, что излишняя
щепетильность может служить во вред
скромности и что поэтому чересчур строгий
выбор чтения едва ли нужен.

Княгиня, к немалому моему изумлению,
выслушала меня, не обнаруживая ни малей-

шего неудовольствия, и, не покидая своего места, подняла над головою свою руку и взяла один из голубых волюмов.

– У вас, – сказала она, – есть доводы, а у меня есть оракул.

– Я, – говорю, – интересуюсь его слышать.

– Это не замедлит: я призываю дух Genlis, и он будет отвечать вам. Откройте книгу и прочтите.

– Потрудитесь указать, где я должен читать? – спросил я, принимая волюмчик.

– Указать? Это не мое дело: дух сам вам укажет. Раскройте где попало.

Мне это становилось немножко смешно и даже как будто стыдно за мою собеседницу; однако я сделал так, как она хотела, и только что окинул глазом первый период раскрывшейся страницы, как почувствовал досадительное удивление.

– Вы смущены? – спросила княгиня.

– Да.

– Да; это бывало со многими. Я прощу вас читать.

Глава девятая

«Чтение – занятие слишком серьезное и слишком важное по своим последствиям, чтобы при выборе его не руководить вкусами молодых людей. Есть чтение, которое нравится юности, но оно делает их беспечными и предполагает к ветрености, после чего трудно исправить характер. Все это я испытала на опыте». Вот что прочел я и остановился.

Княгиня с тихой улыбкой развела руками и, деликатно торжествуя надо мною свою победу, проговорила:

– По-латыни это, кажется, называется dixi?
[9]

– Совершенно верно.

С тех пор мы не спорили, но княгиня не могла отказать себе в удовольствии поговорить иногда при мне о невоспитанности русских писателей, которых, по ее мнению, «никак нельзя читать вслух без предварительного пересмотра»

О «духе» Genlis я, разумеется, серьезно не думал. Мало ли что говорится в этом роде.

Но «дух» действительно жил и был в дей-

ствии, и вдобавок, представьте, что он был на нашей стороне, то есть на стороне литературы. Литературная природа взяла в нем верх над сухим резонерством и, неуязвимый со стороны приличия, «дух» г-жи Жанлис, заговорив du fond du coeur, [10] отколол (да, именно отколол) в строгом салоне такую школярскую штуку, что последствия этого были исполнены глубокой трагикомедии.

Глава десятая

У княгини раз в неделю собирались вечером к чаю «три друга». Это были достойные люди, с отличным положением. Два из них были сенаторы, а третий – дипломат. В карты, разумеется, не играли, а беседовали.

Говорили обыкновенно старшие, то есть княгиня и «три друга», а я, молодой князь и княжна очень редко вставляли свое слово. Мы более поучались, и, к чести наших старших, надо сказать, что у них было чему поучиться, – особенно у дипломата, который удивлял нас своими тонкими замечаниями.

Я пользовался его расположением, хотя не знаю за что. В сущности, я обязан думать, что

он считал меня не лучше других, а в его глазах «литераторы» были все «одного корня». Шутя он говорил: «И лучшая из змей есть все-таки змея».

Это-то самое мнение и послужило поводом к наступающему ужасному случаю.

Глава одиннадцатая

Будучи стоически верна своим друзьям, княгиня не хотела, чтобы такое общее определение распространялось и на г-жу Жанлис и на «женскую плеяду», которую эта писательница держала под своей защитой. И вот, когда мы собрались у этой почтенной особы встречать тихо Новый год, незадолго до часа полночи у нас зашел обычный разговор, в котором опять упомянуто было имя г-жи Жанлис, а дипломат припомнил свое замечание, что «и лучшая из змей есть все-таки змея».

– Правила без исключения не бывает, – сказала княгиня.

Дипломат догадался – *кто* должен быть исключением, и промолчал.

Княгиня не вытерпела и, взглянув по направлению к портрету Жанлис, сказала:

– Какая же она змея!

Но искушенный жизнью дипломат стоял на своем: он тихо помавал пальцем и тихо же улыбался, – он не верил ни плоти, ни духу.

Для решения несогласия, очевидно, нужны были доказательства, и тут-то способ обращения к духу вышел кстати.

Маленькое общество было прекрасно настроено для подобных опытов, а хозяйка сначала напомнила о том, что мы знаем насчет ее верований, а потом и предложила опыт.

– Я отвечаю, – сказала она, – что самый придирчивый человек не найдет у Жанлис ничего такого, чего бы не могла прочесть вслух самая невинная девушка, и мы это сейчас попробуем.

Она опять, как в первый раз, закинула руку к помещавшейся так же над ее этаблисманом этажерке, взяла без выбора волюм – и обратилась к дочери:

– Мое дитя! раскрой и прочти нам страницу.

Княжна повиновалась.

Мы все изображали собою серьезное ожидание.

Глава двенадцатая

Если писатель начинает обрисовывать внешность выведенных им лиц в конце своего рассказа, то он достоин порицания; но я писал эту безделку так, чтобы в ней никто не был узнан. Поэтому я не ставил никаких имен и не давал никаких портретов. Портрет же княжны и превышал бы мои силы, так как она была вполне, что называется «ангел во плоти». Что же касается всесовершенной ее чистоты и невинности, – она была такова, что ей можно было даже доверить решить неодолимой трудности богословский вопрос, который вели у Гейне «Bernardiner und Rabiner» [11]. За эту не причастную ни к какому греху душу, конечно, должно было говорить нечто, стоящее превыше мира и страстей. И княжна, с этою именно невинностью, прелестно грасируя, прочитала интересные воспоминания Genlis о старости madame Dudeffand, когда она «слаба глазами стала». Запись говорила о толстом Джиббоне, которого французской писательнице рекомендовали как знаменитого автора. Жанлис, как известно, скоро его разга-

дала и едко осмеяла французов, увлеченных дутой репутацией этого иностранца.

Далее я привожу по известному переводу с французского подлинника, который читала княжна, способная решить спор между «Bernardiner und Rabiner».

«Джиббон мал ростом, чрезвычайно толст и у него преудивительное лицо. На этом лице невозможно различить ни одной черты. Ни носа, ни глаз, ни рта совсем не видно; две жирные, толстые щеки, похожие черт знает на что, поглощают всё... Они так надулись, что совсем отошли от всякой соразмерности, которая была бы мало-мальски прилична для самых больших щек; каждый, увидав их, должен был бы удивляться: зачем это место помещено не на своем месте. Я бы характеризовала лицо Джиббона одним словом, если бы только возможно было сказать такое слово. Лозен, который был очень короток с Джиббоном, привел его однажды к Duffend. М-me Duffend тогда уже была слепа и имела обыкновение ощупывать руками лица вновь представляемых ей замечательных людей. Таким образом она усвояла себе довольно

верное понятие о чертах нового знакомого. К Джиббону она приложила тот же осязательный способ, и это было ужасно. Англичанин подошел к креслу и особенно добродушно подставил ей свое удивительное лицо. М-те Dudeffand приблизила к нему свои руки и повела пальцами по этому шаровидному лицу. Она старательно искала, на чем бы остановиться, но это было невозможно. Тогда лицо слепой дамы сначала выразило изумление, потом гнев и, наконец, она, быстро отдернув с гадливостью свои руки, вскричала: „Какая гадкая шутка!“»

Глава тринадцатая

Здесь был конец и чтению, и беседе друзей, и ожидаемой встрече наступающего года, потому что, когда молодая княжна, закрыв книгу, спросила: „Что такое показалось m-me Dudeffand?“, то лицо княгини было столь страшно, что девушка вскрикнула, закрыла руками глаза и опрометью бросилась в другую комнату, откуда сейчас же слышался ее плач, похожий на истерику.

Брат побежал к сестре, и в ту же минуту широким шагом поспешила туда княгиня.

Присутствие посторонних людей было теперь некстати, и потому все „три друга“ и ясию же минуту потихоньку убрались, а приготовленная для встречи Нового года бутылка вдовы Клико осталась завернутою в салфетку, но не раскупоренною.

Глава четырнадцатая

Чувства, с которыми мы расходились, были томительны, но не делали чести нашим сердцам, ибо, содержа на лицах усиленную серьезность, мы едва могли хранить разрывавший нас смех и не в меру старательно наклонялись, отыскивая свои галоши, что было необходимо, так как прислуга тоже разбежалась, по случаю тревоги, поднятой внезапной болезнью барышни.

Сенаторы сели в свои экипажи, а дипломат прошелся со мною пешком. Он хотел освежиться и, кажется, интересовался узнать мое незначущее мнение о том, что могло представиться мысленным очам молодой княжны после прочтения известного нам места из сочинений m-me Жанлис?

Но я решительно не смел делать об этом никаких предположений.

Глава пятнадцатая

С несчастного дня, когда случилось это происшествие, я не видал более ни княгини, ни ее дочери. Я не мог решиться идти поздравить ее с Новым годом, а только послал узнать о здоровье молодой княжны, но и то большою нерешительностью, чтоб не приняли этого в другую сторону. Визиты же „кондолеансы“ мне казались совершенно неуместными. Положение было преглупое: вдруг перестать посещать знакомый дом выходило грубостью, явиться туда – тоже казалось некстати.

Может быть, я был и неправ в своих заключениях, но мне они казались верными; и я не ошибся: удар, который перенесла княгиня под Новый год от „духа“ г-жи Жанглис был очень тяжел и имел серьезные последствия.

Глава шестнадцатая

Около месяца спустя я встретился на Невском с дипломатом: он был очень приветлив, и мы разговорились.

– Давно не видал вас, – сказал он.

– Негде встречаться, – отвечал я.

– Да, мы потеряли милый дом почтенной княгини: она, бедняжка, должна была уехать.

– Как, – говорю, – уехать... Куда?

– Будто вы не знаете?

– Ничего не знаю.

– Они все уехали за границу, и я очень счастлив, что мог устроить там ее сына. Этого нельзя было не сделать после того, что тогда случилось... Какой ужас! Несчастлиная, вы знаете, она в ту же ночь сожгла все свои волюмы и разбила вдребезги терракотовую ручку, от которой, впрочем, кажется, уцелел на память один пальчик, или, лучше сказать, шиш. Вообще пренеприятное происшествие, но зато оно служит прекрасным доказательством одной великой истины.

– По-моему, даже двух и трех.

Дипломат улыбнулся и, смотря мне в упор,

спросил:

– Каких-с?

– Во-первых, это доказывает, что книги, о которых решаемся говорить, нужно прежде прочесть.

– А во-вторых?

– А во-вторых, – что неблагоприятно держать девушку в таком детском неведении, в каком была до этого случая молодая княжна; иначе она, конечно, гораздо раньше бы остановилась читать о Джиббоне.

– И в-третьих?

– В-третьих, что на духов так же нельзя полагаться, как и на живых людей.

– И все не то: дух подтверждает одно *мое мнение*, что и лучшая из змей есть все-таки змея» и притом, чем змея лучше, тем она опаснее, потому что *держит свой яд в хвосте*.

Если бы у нас была сатира, то это для нее превосходный сюжет.

К сожалению, не обладая никакими сатирическими способностями, я могу передать это только в простой форме рассказа.

*Впервые опубликовано – журнал
«Осколки», 1881.*

Старый гений

Гений лет не имеет – он преодолевает все, что останавливает обыкновенные умы.

Ларошфуко

Глава первая

Несколько лет назад в Петербург приехала маленькая старушка-помещица, у которой было, по ее словам, «вопиющее дело». Дело это заключалось в том, что она по своей сердечной доброте и простоте, чисто из одного участия, выручила из беды одного великосветского франта, – заложив для него свой домик, составлявший все достояние старушки и ее недвижимой, увечной дочери да внушки. Дом был заложен в пятнадцать тысячach, которые франт полностью взял, с обязательством уплатить в самый короткий срок.

Добрая старушка этому верила, да и не мудрено было верить, потому что должник принадлежал к одной из лучших фамилий, имел перед собою блестящую карьеру и полу-

чал хорошие доходы с имений и хорошее жалование по службе. Денежные затруднения, из которых старушка его выручила, были последствием какого-то мимолетного увлечения или неосторожности за картами в дворянском клубе, что поправить ему было, конечно, очень легко, – «лишь бы только доехать до Петербурга».

Старушка знавала когда-то мать этого господина и, во имя старой приязни, помогла ему; он благополучно уехал в Питер, а затем, разумеется, началась довольно обыкновенная в подобных случаях игра в кошку и мышку. Приходят сроки, старушка напоминает о себе письмами – сначала самыми мягкими, потом немножко пожестче, а наконец, и бранится – намекает, что «это нечестно», но должник ее был зверь травленный и все равно ни на какие письма не отвечал. А между тем время уходит, приближается срок закладной – и перед бедной женщиной, которая уповала дожить свой век в своем домишке, вдруг разверзается страшная перспектива холода и голода с увечной дочерью и маленькою внучкою.

Старушка в отчаянии поручила свою боль-

ную и ребенка доброй соседке, а сама собрала кое-какие крохи и полетела в Петербург «хлопотать».

Глава вторая

Хлопоты ее вначале были очень успешны: Адвокат ей встретился участливый и милостивый, и в суде ей решение вышло скорое и благоприятное, но как дошло дело до исполнения – тут и пошла закорюка, да такая, что и ума к ней приложить было невозможно. Не то, чтобы полиция или иные какие пристава должнику мирволили – говорят, что тот им самим давно надоел и что они все старушку очень жалеют и рады ей помочь, да *не смеют* ... Было у него какое-то такое могущественное родство или свойство, что нельзя было его приструнить, как всякого иного грешника.

О силе и значении этих связей достоверно не знаю, да думаю, что это и не важно. Все равно – какая бабушка ему ни ворожила и все на милость преложила.

Не умею тоже вам рассказать в точности, что над ним надо было учинить, но знаю, что

нужно было «вручить должнику с распискою» какую-то бумагу, и вот этого-то никто – никакие лица никакого уряда – не могли сделать. К кому старушка ни обратится, все ей в одном роде советуют:

– Ах, сударыня, и охота же вам! Бросьте лучше! На очень вас жаль, да что делать, когда он никому не платит. Утешьтесь тем, что не вы первая, не вы и последняя.

– Батюшки мои, – отвечает старушка, – да какое же мне в этом утешение, что не мне одной худо будет? Я голубчики, гораздо лучше желала, чтобы и мне и всем другим хорошо было.

– Ну, – отвечают, – чтоб всем-то хорошо – вы уж это оставьте, это специалисты выдумали, и это невозможно.

А та, в простоте своей, пристаёт:

– Почему же невозможно? У него состояние во всяком случае больше, чем он всем нам должен, и пусть он должное отдаст, а ему еще много останется.

– Э, сударыня, у кого «много», тем никогда много не бывает, а им всегда недостаточно, но главное дело в том, что он платить не при-

вык, и если очень докучать станете – может вам неприятность сделать.

– Какую неприятность?

– Ну, что вам расспрашивать: гуляйте лучше тихонько по Невскому проспекту, а то вдруг уедете.

– Ну, извините, – говорит старушка, – я вам не поверю – он замотался, но человек хороший.

– Да, – отвечают, – конечно, он барин хороший, но только дурной платить; а если кто этим занялся, тот и все дурное сделает.

– Ну, так тогда употребите меры.

– Да вот тут-то, – отвечают, – и точка с запятой: мы не можем против всех «употреблять меры». Зачем с такими знали.

– Какая же разница?

А вопрошаемые на нее только посмотрят да отвернутся или даже предложат идти высшим жаловаться.

Глава третья

Ходила она и к высшим. Там и доступ труднее и разговору меньше, да и отвлеченнее.

Говорят: «Да где он? о нем доносят, что его нет!»

– Помилуйте, – плачет старушка, – да я его всякий день на улице вижу – он в своем доме живет.

– Это вовсе и не его дом. У него нет дома: это дом его жены.

– Ведь это все равно: муж и жена – одна сатана.

– Это вы так судите, но закон судит иначе. Жена у него тоже счета предъявляла и жаловалась суду, и он у нее не значится... Он, черт его знает, он всем нам надоел, – и зачем вы ему деньги давали! Когда он в Петербурге бывает – он прописывается где-то в меблированных комнатах, но там не живет. А если вы думаете, что мы его защищаем или нам его жалко, то вы очень ошибаетесь: ищите его, поймите, – это ваше дело, – тогда ему «вручат».

Утешительнее этого старушка ни на каких высотах чего не добилась, и, по провинциаль-

ной подозрительности, стала шептать, будто все это «оттого, что сухая ложка рот дерет».

– Что ты, – говорит, – мне не уверяй, а я вижу все оно от того же самого движет, что *надо смазать*.

Пошла она «мазать» и пришла еще более огорченная. Говорит, что «прямо с целой тысячи начала», то есть обещала тысячу рублей из взысканных денег, но ее и слушать не хотели, а когда она, благоразумно прибавляя, насулила до трех тысяч, то ее даже попросили выйти.

– Трех тысяч не берут за то только, чтобы бумажку вручить! Ведь это что же такое?.. Нет, прежде лучше было.

– Ну, тоже, – напоминаю ей, – забыли вы, верно, как тогда хорошо шло: кто больше дал, тот и прав был.

– Это, – отвечает, – твоя совершенная правда, но только между старинными чиновниками бывали отчаянные доки. Бывало, его спросишь: «Можно ли?» – а он отвечает: «В России невозможности нет», и вдруг выдумку выдумает и сделает. Вот мне и теперь один такой объявился и пристаёт ко мне, да не знаю: ве-

рить или нет? Мы с ним вместе в Мариинском пассаже у саечника Василья обедаем, потому что я ведь теперь экономлю и над каждым горшком трясусь – горячего уже давно не ем, все на дело берегу, а он, верно, тоже по бедности или питающийся... но преубедительно говорит: «дайте мне пятьсот рублей – я вручу». Как ты об этом думаешь?

– Голубушка моя, – отвечаю ей, – уверяю вас, что вы меня своим горем очень трогаете, но я и своих-то дел вести не умею и решительно ничего не могу вам посоветовать. Расспросили бы вы по крайней мере о нем кого-нибудь: кто он такой и кто за него поручиться может?

– Да уж я саечника расспрашивала, только он ничего не знает. «Так, говорит, надо думать, или купец притишил торговлю, или подупавший из каких-нибудь своих благородий».

– Ну, самого его прямо спросите.

– Спрашивала – кто он такой и какой на нем чин? «Это, говорит, в нашем обществе рассказывать совсем лишнее и не принято; называйте меня Иван Иванович, а чин на мне

из четырнадцати овчин, – какую захочу, ту вверх шерстью и выворочу».

– Ну, вот видите, – это, выходит, совсем какая-то темная личность.

– Да, темная... «Чин из четырнадцати овчин – это я понимаю, так как я сама за чиновником была. Это значит, что он четырнадцатого класса. А насчет имени и рекомендаций, прямо объявляет, что насчет рекомендаций, говорит, я ими пренебрегаю и у меня их нет, а я гениальные мысли имею и знаю достойных людей, которые всякий мой план готовы привести за триста рублей в исполнение».

«Почему же, батюшка, непременно *триста?*»

«А так уж это у нас такой прификс, с которого мы уступать не желаем и больше не берем».

«Ничего, сударь, не понимаю».

«Да и не надо. Нынешние ведь много тысяч берут, а мы сотни. Мне двести за мысль и за руководство да триста исполнительному герою, в соразмере, что он может за исполнение три месяца в тюрьме сидеть, и конец дело венчает. Кто хочет – пусть нам верит, по-

тому что я всегда берусь за дела только за невозможные; а кто веры не имеет, с тем делать нечего», – но что до меня касается, – прибавляет старушка, – то, представь ты себе мое искушение:

я ему почему-то верю...

– Решительно, – говорю, – не знаю, отчего вы ему верите?

– Вообрази – предчувствие у меня, что ли, какое-то, и сны я вижу, и все это как-то так тепло убеждает довериться.

– Не подождать ли еще?

– Подожду, пока возможно.

Но скоро это сделалось невозможно.

Глава четвертая

— Приезжает ко мне старушка в состоянии самой трогательной и острой горести: во-первых, настает Рождество; во-вторых, из дому пишат, что дом на сих же днях поступает в продажу; и в-третьих, она встретила своего должника под руку с дамой и погналась за ними, и даже схватила его за рукав, и взывала к содействию публики, крича со слезами: «Боже мой, он мне должен!» Но это повело только к тому, что ее от должника с его дамою отвлекли, а привлекли к ответственности за нарушение тишины и порядка в людном месте. Ужаснее же этих трех обстоятельств было четвертое, которое заключалось в том, что должник старушки добыл себе заграничный отпуск и не позже как завтра уезжает с роскошною дамою своего сердца за границу — где наверно пробудет год или два, а может быть и совсем не вернется, «потому что она очень богатая».

Сомнений, что все это именно так, как говорила старушка, не могло быть ни малейших. Она научилась зорко следить за каждым

шагом своего неуловимого должника и знала все его тайности от подкупленных его слуг.

Завтра, стало быть, конец этой долгой и мучительной комедии: завтра он несомненно улизнет, и надолго, а может быть, и навсегда, потому что его компаньонка, всеконечно, не желала афишировать себя за миг иль краткое мгновенье.

Старушка все это во всех подробностях повергла уже обсуждению дельца, имеющего чин из четырнадцати овчин и тот там же, сидя за ночвами у саечника в Мариинском пассаже, отвечал ей:

«Да, дело кратко, но помочь еще можно: сейчас пятьсот рублей на стол, и завтра же ваша душа на простор: а если не имеете ко мне веры – ваши пятнадцать тысяч пропали».

– Я, друг мой, – рассказывает мне старушка, – уже решилась ему довериться... Что же делать: все равно ведь никто не берется, а он берется и твердо говорит: «Я вручу». Не гляди, пожалуйста, на меня так, глаза испытующи. Я нимало не сумасшедшая, – а и сама ничего не понимаю, но только имею к нему какое-то таинственное доверие в моем предчувствии, и

сны такие снились, что я решилась и увела его с собою.

– Куда?

– Да видишь ли, мы у саечника ведь только в одну пору, всё в обед встречаемся. А тогда уже поздно будет, – так я его теперь при себе веду и не отпущу до завтраго. В мои годы, конечно, уже об этом никто ничего дурного подумать не может, а за ним надо смотреть, потому что я должна ему сейчас же все пятьсот рублей отдать, и без всякой расписки.

– И вы решаетесь?

– Конечно, решаюсь. – Что же еще сделать можно? Я ему уже сто рублей задатку дала, и он теперь ждет меня в трактире, чай пьет, а я к тебе с просьбою: у меня еще двести пятьдесят рублей есть, а полтора ста нет. Сделай милость, ссуди мне, – я тебе возвращу. Пусть хоть дом продадут – все-таки там полтора ста рублей еще останется.

Знал я ее за женщину прекрасной честности, да и горе ее такое трогательное, – думаю: отдаст или не отдаст – господь с ней, от полтора ста рублей не разбогатеешь и не обеднеешь, а между тем у нее мучения на душе не

останется, что она не все средства испробовала, чтобы «вручить» бумажку, которая могла спасти ее дело.

Взяла она просимые деньги и поплыла в трактир к своему отчаянному дельцу. А я с любопытством дожидал ее на следующее утро, чтобы узнать: на какое еще новое шарлатанство изловчатся плутовать в Петербурге?

Только то, о чем я узнал, превзошло мои ожидания: пассажный гений не постыдил ни веры, ни предчувствий доброй старушки.

Глава пятая

На третий день праздника она влетает ко мне в дорожном платье и с саквояжем, и первое, что делает, – кладет мне на стол занятые у меня полтора рубля, а потом показывает банковую, переводную расписку с лишком на пятнадцать тысяч...

– Глазам своим не верю! Что это значит?

– Ничего больше, как я получила все свои деньги с процентами.

– Каким образом? Неужто все это четырнадцативечерный Иван Иванович устроил?

– Да, он. Впрочем, был еще и другой, которому он от себя триста рублей дал – потому что без помощи этого человека обойтись было невозможно.

– Это что же еще за деятель? Вы уж расскажите все, как они вам помогали!

– Помогли очень честно. Я как пришла в трактир и отдала Ивану Иванычу деньги – он сосчитал, принял и говорит: «Теперь, госпожа, поедем. Я, говорит, гений по мысли моей, но мне нужен исполнитель моего плана, потому что я сам таинственный незнакомец и своим лицом юридических действий производить не могу». Ездили по многим низким местам и по баням – всё искали какого-то «сербского сражателя», но долго его не могли найти. Наконец нашли. Вышел этот сражатель из какой-то ямки, в сербском военном костюме, весь оборванный, а в зубах пипочка из газетной бумаги, и говорит: «Я все могу, что кому нужно, но прежде всего надо выпить». Все мы трое в трактире сидели и торговались, и сербский сражатель требовал «посту рублей на месяц, за три месяца». На этом решили. Я еще ничего не понимала, но виде-

ла, что Иван Иванович ему деньги отдал, стало быть он верит, и мне полегче стало. А потом я Ивана Ивановича к себе взяла, чтобы в моей квартире находился, а сербского сражателя в бани ночевать отпустили с тем, чтобы утром явился. Он утром пришел и говорит: «Я готов!» А Иван Иванович мне шепчет: «Пошлите для него за водочкой: от него нужна смелость. Много я ему пить не дам, а немножко необходимо для храбрости: настает самое главное его исполнение».

Выпил сербский сражатель, и они поехали на станцию железной дороги, с поездом которой старушкин должник и его дама должны были уехать. Старушка все еще ничего не понимала, что такое они замыслили и как исполнят, но сражатель ее успокаивал и говорил, что «все будет честно и благородно». Ста-ла съезжаться к поезду публика, и должник явился тут, как лист перед травой, и с ним да-ма; лакей берет для них билеты, а он сидит с своей дамой, чай пьет и тревожно осматривает-ся на всех. Старушка спряталась за Ивана Ивановича и указывает на должника – говорит: «Вот – он!»

Сербский воитель увидел, сказал «хорошо», и сейчас же встал и прошел мимо франта раз, потом во второй, а потом в третий раз, прямо против него остановился и говорит:

– Чего это вы на меня так смотрите?

Тот отвечает:

– Я на вас вовсе никак не смотрю, я чай пью.

– А-а! – говорит воитель, – вы не смотрите, а чай пьете? так я же вас заставлю на меня смотреть, и вот вам от меня к чаю лимонный сок, песок и шоколаду кусок!.. – Да с этим – хлоп, хлоп, хлоп! его три раза по лицу и ударил.

Дама бросилась в сторону, господин тоже хотел убежать и говорил, что он теперь не в претензии; но полиция подскочила и вмешалась: «Этого, говорит, нельзя: это в публичном месте», – и сербского воителя арестовали, и побитого тоже. Тот в ужасном был волнении – не знает: не то за своей дамой броситься, не то полиции отвечать. А между тем уже и протокол готов, и поезд отходит... Дама уехала, а он остался... и как только объявил свое звание, имя и фамилию, полицейский

говорит: «Так вот у меня кстати для вас и бумажка в портфеле есть для вручения». Тот – делать нечего – при свидетелях поданную ему бумагу принял и, чтобы освободить себя от обязательств о невыезде, немедленно же сполна и с процентами уплатил чеком весь долг своей старушке.

Так были побеждены неодолимые затруднения, правда восторжествовала, и в честном, но бедном доме водворился покой, и праздник стал тоже светел и весел.

Человек, который нашелся – как уладить столь трудное дело, кажется, вполне имеет право считать себя в самом деле гением.

*Впервые опубликовано – журнал
«Осколки», 1884.*

Путешествие с нигилистом

Кто скачет, кто мчится в таинственной мгле?

Гете

Глава первая

Случилось провести мне рождественскую ночь в вагоне и не без приключений.

Дело было на одной из маленьких железнодорожных ветвей, так сказать, совсем в стороне от «большого света». Линия была еще не совсем окончена, поезда ходили неаккуратно, и публику помещали как попало. Какой класс ни возьми, все выходит одно и то же – все являются вместе.

Буфетов еще нет; многие, чувствуя холод, греются из дорожных фляжек.

Согревающие напитки развивают общение и разговоры. Больше всего толкуют о дороге и судят о ней снисходительно, что бывает у нас не часто.

– Да, плохо нас везут, – сказал какой-то военный, – а все спасибо им, – лучше, чем на ко-

нях. На конях в сутки бы не доехали, а тут завтра к утру будем и завтра назад можно. Должностным людям то удобство, что завтра с родными повидаешься, а послезавтра и опять к службе.

– Вот и я то же самое, – поддержал, встав на ноги и держась за спинку скамьи, большой сухощавый духовный. – Вот у них в городе дьякон гласом подупавши, многолетие вроде как петух выводит. Пригласили меня за десятку позднюю обедню сделать. Многолетие проворчу и опять в ночь в свое село.

Одно находили на лошадях лучше, что можно ехать в своей компании и где угодно остановиться.

– Ну, да ведь здесь компания-то не навек, а на час, – молвил купец.

– Однако иной если и на час навяжется, то можно всю жизнь помнить, – отозвался дьякон.

– Чего же это так?

– А если, например, нигилист, да в полном своем облачении, со всеми составами и револьвер-барбосом.

– Это сужект полицейский.

- Всякого это касается, потому, вы знаете ли, что одного даже трясения... паф – и готово.
- Оставьте, пожалуйста... К чему вы это к ночи завели. У нас этого звания еще нет.
- Может с поля взяться.
- Лучше спать давайте.

Все послушались купца и заснули, и не могу уже вам сказать, сколько мы проспали, как вдруг нас так сильно встряхнуло, что все мы проснулись, а в вагоне с нами уже был нигилист.

Глава вторая

Откуда он взялся? Никто не заметил, где этот неприятный гость мог взойти, но не было ни малейшего сомнения, что это настоящий, чистокровный нигилист, и потому сон у всех пропал сразу. Рассмотреть его еще было невозможно, потому что он сидел в потемочках в углу у окна, но и смотреть не надо – это так уже чувствовалось.

Впрочем, дьякон попробовал произвести обозрение личности: он прошелся к выходной двери вагона, мимо самого нигилиста, и, возвратясь, объявил потихоньку, что весьма

ясно приметил «рукава с фибрами», за которыми непременно спрятан револьвер-барбос или бинамид.

Дьякон оказывался человеком очень живым и, для своего сельского звания, весьма просвещенным и любознательным, а к тому же и находчивым. Он немедленно стал подбивать военного, чтобы тот вынул папироску и пошел к нигилисту попросить огня от его сигары.

– Вы, – говорит, – не цивильные, а вы со шпорою – вы можете на него так топнуть, что он как бильярдный шар выкатится. Военному все смелее.

К поездовому начальству напрасно было обращаться, потому что оно нас заперло на ключ и само отсутствовало.

Военный согласился: он встал, постоял у одного окна, потом у другого и, наконец, подошел к нигилисту и попросил закурить от его сигары.

Мы зорко наблюдали за этим маневром и видели, как нигилист схитрил: он не дал сигары, а зажег спичку и молча подал ее офицеру.

Все это холодно, кратко, отчетисто, но без-

участливо и в совершенном молчании. Ткнул в руки зажженную спичку и отворотился.

Но однако, для нашего напряженного внимания было довольно и одного этого светового момента, пока сверкнула спичка. Мы разглядели, что это человек совершенно сомнительный, даже неопределенного возраста. Точно донской рыбец, которого не отличишь – нынешний он или прошлогодний. Но подозрительного много: грефовские круглые очки, неблагонамеренная фуражка, не православным блином, а с еретическим надзатыльником, и на плечах типический плед, составляющий в нигилистическом сословии своего рода «мундирную пару», но что всего более нам не понравилось, – это его лицо. Не патлатое и воеводственнное, как бывало у ортодоксальных нигилистов шестидесятых годов, а нынешнее – щуковатое, так сказать фальсифицированное и представляющее как бы некую невозможную помесь нигилистки с жандармом. В общем, это являет собою подобие геральдического козерога.

Я не говорю геральдического льва, а именно геральдического козерога. Помните, как их

обыкновенно изображают по бокам аристократических гербов: посредине пустой шлем и забрало, а на него щерятся лев и козерог. У последнего вся фигура беспокойная и острая, как будто «счастья он не ищет и не от счастья бежит». Вдобавок и колера, в которые был окрашен наш неприятный спутник, не обещали ничего доброго: волосенки цвета гаванна, лицо зеленоватое, а глаза серые и бегают как метроном, поставленный на скорый темп «allegro udiratto». (Такого темпа в музыке, разумеется, нет, но он есть в нигилистическом жаргоне.)

Черт его знает: не то его кто-то догоняет, или он за кем-то гонится, – никак не разберешь.

Глава третья

Военный, возвратясь на свое место, сказал, что на его взгляд нигилист немножко чисто одет, и что у него на руках есть перчатки, а перед ним на противоположной лавочке стоит бельевая корзинка.

Дьякон, впрочем, сейчас же доказал, что все это ничего не значит, и привел к тому несколько любопытных историй, которые он знал от своего брата, служащего где-то при таможне.

– Через них, – говорил он, – раз проезжал даже не в простых перчатках, а филь-де-пом, а как стали его обыскивать – обозначился шульер. Думали, смирный – посадили его в подводную тюрьму, а он из-под воды ушел.

Все заинтересовались: как шульер ушел из-под воды!

– А очень просто, – разъяснил дьякон, – он начал притворяться, что его занапрасно посадили, и начал просить свечку. «Мне, говорит, в темноте очень скучно, прошу дозволить свечечку, я хочу в поверхностную комиссию графу Лорис-Мелихову объявление написать,

кто я таков, и в каких упованиях прошу прощадy и хорошее место». Но комендант был старый, мушкетного пороху, – знал все их хитрости и не позволил. «Кто к нам, говорит, залучен, тому нет прощадy», и так все его впотьмах и томил; а как этот помер, а нового назначили, шульер видит, что этот из неопытных, – навзрыд перед ним зарыдал и начал просить, чтобы ему хоть самый маленький сальный огарочек дали и какую-нибудь божественную книгу: «для того, говорит, что я хочу благочестивые мысли читать и в раскаяние прийти». Новый комендант и дал ему свечной огарок и духовный журнал «Православное воображение», а тот и ушел.

– Как же он ушел?

– С огарком и ушел.

Военный посмотрел на дьякона и сказал:

– Вы какой-то вздор рассказываете!

– Нимало не вздор, а следствие было.

– Да что же ему огарок значил?

– А черт его знает, что значил! Только после стал везде по каморке смотреть – ни дыры никакой, ни щелочки – ничего нет, и огарка нет, а из листов из «Православного воображе-

ния» остались одни корневильские корешки.

– Ну, вы совсем черт знает что говорите! – нетерпеливо молвил военный.

– Ничего не вздор, а я вам говорю – и следствие было, и узнали потом, кто он такой, да уже поздно.

– А кто же он такой был?

– Нахалкиканец из-за Ташкенту. Генерал Черняев его верхом на битюке послал, чтобы он болгарам от Кокорева пятьсот рублей отвез, а он, по театрам да по балам все деньги в карты проиграл и убежал. Свечным салом смазался, а с светилем ушел.

Военный только рукою махнул и отвернулся.

Но другим пассажирам словоохотливый дьякон нимало наскучил: они любовно слушали, как он от коварного нахалкиканца с корневильскими корешками перешел к настоящему нашему собственному положению с подозрительным нигилистом. Дьякон говорил:

– Я на его чистоту не лщусь, а как вот придет сейчас первая станция – здесь одна сторожиха из керосиновой бутылочки водку

продает, – я поднесу кондуктору бутершaft, и мы его встряхнем и что в бельевой корзине есть, посмотрим... какие там у него составы...

– Только надо осторожнее.

– Будьте покойны – мы с молитвою. Помилуй мя, Боже...

Тут нас вдруг и толкнуло, и завизжало. Многие вздрогнули и перекрестились.

– Вот оно и есть, – воскликнул дьякон, – наехали на станцию!

Он вышел и побежал, а на его место пришел кондуктор.

Глава четвертая

Кондуктор стал прямо перед нигилистом и ласково молвил:

– Не желаете ли, господин, корзиночку в багаж сдать?

Нигилист на него посмотрел и не ответил.

Кондуктор повторил предложение.

Тогда мы в первый раз услышали звук голоса нашего ненавистного попутчика. Он дерзко отвечал:

– *Не желаю.*

Кондуктор ему представил резоны, что «та-

ких больших вещей не дозволено с собой в вагоны вносить».

Он процедил сквозь зубы:

– И прекрасно, что не дозволено.

– Так желаете, я корзиночку сдам в багаж?

– *Не желаю.*

– Как же, сами правильно рассуждаете, что это не дозволяется, и сами не желаете?

– *Не желаю.*

Взошедший на эту историю дьякон не утерпел и воскликнул: «Разве так можно!» – но, услышав, что кондуктор пригрозил «обером» и протоколом, успокоился и согласился ждать следующей станции.

– Там город, – сказал он нам, – там его и скрутят.

И что в самом деле за упрямый человек: ничего от него не добьются, кроме одного – «не желаю».

Неужто тут и взаправду замешаны корневильские корешки?

Стало очень интересно, и мы ждали следующей станции с нетерпением.

Дьякон объявил, что тут у него жандарм даже кум и человек старого мушкетного по-

роху.

– Он, – говорит, – ему такую завинтушку под ребро ткнет, что из него все это рояльное воспитание выскочит.

Обер явился еще на ходу поезда и настойчиво сказал:

– Как приедем на станцию, извольте эту корзину взять.

А тот опять тем же тоном отвечает:

– Не желаю.

– Да вы прочитайте правила!

– Не желаю.

– Так пожалуйста со мною объясниться к начальнику станции. Сейчас остановка.

Глава пятая

Приехали.

Станционное здание побольше других и поотделаннее: видны огни, самовар, на платформе и за стеклянными дверями буфет и жандармы. Словом, все, что нужно. И вообразите себе: наш нигилист, который оказывал столько грубого сопротивления во всю дорогу, вдруг обнаружил намерение сделать движение, известное у них под именем *allegro udiratto*. Он взял в руки свой маленький саквояжик и направился к двери, но дьякон заметил это и очень ловким манером загородил ему выход. В эту же самую минуту появился обер-кондуктор, начальник станции и жандарм.

– Это ваша корзина? – спросил начальник.

– Нет, – отвечал нигилист.

– Как нет?!

– Нет.

– Все равно, пожалуйста.

– Не уйдешь, брат, не уйдешь, – говорил дьякон. Нигилиста и всех нас, в качестве свидетелей, попросили в комнату начальника

станции и сюда же внесли корзину.

– Какие здесь вещи? – спросил строго начальник.

– Не знаю, – отвечал нигилист.

Но с ним больше не церемонились: корзину мгновенно раскрыли и увидели новенькое голубое дамское платье, а в то же самое мгновение в контору с отчаянным воплем ворвался еврей и закричал, что это его корзинка и что платье, которое в ней, он везет одной знатной даме; а что корзину действительно поставил он, а не кто другой, в том он сослался на нигилиста.

Тот подтвердил, что они взошли вместе и еврей действительно внес корзинку и поставил ее на лавочку, а сам лег под сиденье.

– А билет? – спросили у еврея.

– Ну, что билет... – отвечал он. – Я не знал, где брать билет...

Еврея велено придержать, а от нигилиста потребовали удостоверения его личности. Он молча подал листок, взглянув на который начальник станции резко переменил тон и попросил его в кабинет, добавив при этом:

– Ваше превосходительство здесь ожида-

ют.

А когда тот скрылся за дверью, начальник станции приложил ладони рук рупором ко рту и отчетливо объявил нам:

– Это *прокурор судебной палаты!*

Все ощутили полное удовольствие и перенесли его в молчании; только один военный вскрикнул:

– А все это наделал этот болтун дьякон! Ну-ка – где он... куда он делся?

Но все напрасно оглядывались: «куда он делся», – дьякона уже не было; он исчез, как нахалкиканец, даже и без свечки. Она, впрочем, была и не нужна, потому что на небе уже светало и в городе звонили к рождественской заутрене.

Впервые опубликовано – газета «Новое время», 1882.

Маленькая ошибка Секрет одной московской фамилии

Глава первая

Вечерком, на Святках, сидя в одной благо-
зумной компании, было говорено о вере и
о неверии. Речь шла, впрочем, не в смысле
высших вопросов деизма или материализма,
а в смысле веры в людей, одаренных особыми
силами предвидения и прорицания, а пожа-
луй, даже и своего рода чудотворства. И слу-
чился тут же некто, степенный московский
человек, который сказал следующее:

– Не легко это, господа, судить о том: кто
живет с верою, а который не верует, ибо раз-
ные тому в жизни бывают прилоги; случает-
ся, что разум-то наш в таковых случаях впада-
ет в ошибки.

И после такого вступления он рассказал
нам любопытную повесть, которую я постара-
юсь передать его же словами:

Дядюшка и тетушка мои одинаково приле-

жали покойному чудотворцу Ивану Яковлевичу. Особенно тетушка, – никакого дела не начинала, у него не спросившись. Сначала, бывало, сходит к нему в сумасшедший дом и посоветуется, а потом попросит его, чтобы за ее дело молился. Дядюшка был себе на уме и на Ивана Яковлевича меньше полагался, однако тоже доверял иногда и носить ему дары и жертвы не препятствовал. Люди они были не богатые, но очень достаточные, – торговали чаем и сахаром из магазина в своем доме. Сыновей у них не было, а были три дочери: Капитолина Никитишна, Катерина Никитишна и Ольга Никитишна. Все они были собою недурны и хорошо знали разные работы и хозяйство. Капитолина Никитишна была замужем, только не за купцом, а за живописцем, – однако очень хороший был человек и довольно зарабатывал – всё брал подряды выгодно церкви расписывать. Одно в нем всему родству неприятно было, что работал божественное, а знал какие-то вольнодумства из Курганова «Письмовника». Любил говорить про Хаос, про Овидия, про Промифея и охотник был сравнивать баснословия с бытописанием. Ес-

ли бы не это, все бы было прекрасно. А второе – то, что у них детей не было, и дядюшку с теткой это очень огорчало. Они еще только первую дочь выдали замуж, и вдруг она три года была бездетна. За это других сестер женихи обегать стали.

Тетушка спрашивала Ивана Яковлевича, через что ее дочь не родит: оба, говорит, молоды и красивы, а детей нет?

Иван Яковлевич забормотал:

– Есть убо небо небесе; есть небо небесе.

Его подсказчицы перевели тетке, что ба-тюшка велит, говорят, вашему зятю, чтобы он богу молился, а он, должно быть, у вас мало-верующий.

Тетушка так и ахнула: все, говорит, ему явлено! И стала она приставать к живописцу, чтобы он поисповедался; а тому все трынть-трава! Ко всему легко относился... даже по по-стам скромное ел... и притом, слышат они стороною, будто он и червей и устриц вкуша-ет. А жили они все в одном доме и часто со-крушались, что есть в ихнем купеческом род-стве такой человек без веры.

Глава вторая

Вот и пошла тетка к Ивану Яковлевичу, чтобы попросить его разом помолиться о евребе Капитолине отверзти ложесна, а раба Лария (так живописца звали) просветити верою.

Просят об этом вместе и дядя и тетка.

Иван Яковлевич залепетал что-то такое, чего и понять нельзя, а его послушные женщины, которые возле него присидели, разъясняют:

– Он, – говорят, – ныне невнятен, а вы скажите, о чем просите, – мы ему завтра на записочке подадим.

Тетушка стала сказывать, а те записывают: «Рабе Капитолине отверзть ложесна, а рабу Ларию усугубити веру».

Оставили старики эту просительную записочку и пошли домой веселыми ногами.

Дома они никому ничего не сказали, кроме одной Капочки, и то с тем, чтобы она мужу своему, неверному живописцу, этого не передавала, а только жила бы с ним как можно ласковее и согласнее и смотрела за ним: не

будет ли он приближаться к вере в Ивана Яковлевича. А он был ужасный чертыханщик, и все с присловьями, точно скоморох с Пресни. Всё ему шутки да забавки. Придет в сумерки к тестю – «пойдем, – говорит, – часослов в пятьдесят два листа читать», то есть, значит, в карты играть... Или садится, говорит: «С уговором, чтобы играть до первого обморока».

Тетушка, бывало, этих слов слышать не может. Дядя ему и сказал: «Не огорчай так ее: она тебя любит и за тебя обещание сделала». А он рассмеялся и говорит тете:

– Зачем вы неведомые обещания даете? Или вы не знаете, что через такое обещание глава Ивана Предтечи была отрублена. Смотрите, может у нас в доме какое-нибудь неожиданное несчастье быть.

Тещу это еще больше испугало, и она всякий день, в тревоге, в сумасшедший дом бежала. Там ее успокоят, – говорят, что дело идет хорошо: батюшка всякий день записку читает, и что теперь о чем писано, то скоро сбудется.

Вдруг и сбылось, да такое, что и сказать

неохотно.

Глава третья

Приходит к тетушке средняя ее дочь, девица Катечка, и прямо ей в ноги, и рыдает, и горько плачет.

Тетушка говорит:

– Что тебе – кто обидел?

А та сквозь рыдания отвечает:

– Милая маменька, и сама я не знаю, что это такое и отчего... в первый и в последний раз сделалось... Только вы от тятеньки мой грех скройте.

Тетушка на нее посмотрела да прямо пальцем в живот ткнула и говорит:

– Это место?

Катечка отвечает:

– Да, маменька... как вы угадали... сама не знаю отчего...

Тетушка только ахнула да руками всплеснула.

– Дитя мое, – говорит, – и не дознавайся: это, может быть, я виновата в ошибке, я сейчас узнать съезжу, – и сейчас на извозчике полетела к Ивану Яковлевичу.

– Покажите, – говорит, – мне записку нашей просьбы, о чем батюшка для нас просит рабе божьей плод чрева; как она писана?

Присяжные поискали на окне и подали.

Тетушка взглянула и мало ума не решилась. Что вы думаете? Действительно ведь все вышло по ошибочному молению, потому что на место рабы божьей Капитолины, которая замужем, там писана раба Катерина, которая еще незамужняя, девица.

Женки говорят:

– Поди же, какой грех! Имена очень сходственны... но ничего, это *можно поправить*.

А тетушка подумала: «Нет, врите, теперь вам уж не поправить: Кате уж вымолено», – и разорвала бумажку на мелкие частички.

Глава четвертая

Главное дело, боялись: как дядюшке сказать? Он был такой человек, что если расходится, то его мудрено унять. К тому же он Катю меньше всех любил, а любимая дочь у него была самая младшая, Оленька, – ей он всех больше и обещал.

Думала, думала тетушка и видит, что одним умом ей этой беды не обдумать, – зовет зятя-живописца на совет и все ему во всех подробностях открыла, а потом просит:

– Ты – говорит, – хотя неверующий, однако могут тебе быть какие-нибудь чувства, – пожалуйста, пожалей ты Катю, пособи мне скрыть ее девичий грех.

А живописец вдруг лоб нахмурил и строго говорит:

– Извините, пожалуйста, вы хотя моей же не мать, однако, во-первых, я этого терпеть не люблю, чтобы меня безверным считали, а во-вторых, я не понимаю – какой же тут причитаете Кате грех, если об ней так Иван Яковлевич столько времени просил? Я к Катечке все братские чувства имею и за нее заступлюсь,

потому что она тут ни в чем не виновата.

Тетушка пальцы кусает и плачет, а сама говорит:

– Ну... уж как ни в чем?

– Разумеется, ни в чем. Это ваш чудотворец все напутал, с него и взыскивайте.

– Какое же с него взыскание! Он праведник.

– Ну, а если праведник, так и молчите. Пришлите мне с Катей три бутылки шампанского вина. Тетушка переспрашивает:

– Что такое?

А он опять отвечает:

– Три бутылки шампанского, – одну ко мне сейчас в мои комнаты, а две после, куда прикажу, но только чтобы дома готовы были и вольду стояли заверчены.

Тетушка посмотрела на него и только головой покивала.

– Бог с тобою, – говорит, – я думала, что ты только без одной веры, а ты святые лики изображаешь, а сам без всех чувств оказываешься... Оттого я твоим иконам и не могу поклоняться.

А он отвечает:

– Нет, вы насчет веры оставьте: это вы, кажется, сомневаетесь и все по естеству думаете, будто тут собственная Катина причина есть, а я крепко верю, что во всем этом один Иван Яковлевич причинен; а чувства мои вы увидите, когда мне с Катей в мою мастерскую шампанское пришлете.

Глава пятая

Тетушка думала-подумала, да и послала живописцу вино с самой Катечкой. Та взошла с подносом, вся в слезах, а он вскочил, схватил ее за обе ручки и сам заплакал:

– Скорблю, – говорит, – голубочка моя, что с тобою случилось, однако дремать с этим некогда – подавай мне скорее наружу все твои тайности.

Девушка ему открылась, как сшалила, а он взял да ее у себя в мастерской на ключ и запер.

Тетушка встречает зятя с заплаканными глазами и молчит. А он и ее обнял, поцеловал и говорит:

– Ну, не бойтесь, не плачьте. Авось бог поможет.

– Скажи же мне, – шепчет тетушка, – кто всему виноват?

А живописец ей ласково пальцем погрозил и говорит:

– Вот это уж нехорошо: сами вы меня постоянно неверием попрекали, а теперь, когда вере вашей дано испытание, я вижу, что вы сами нимало не верите. Неужто вам не ясно, что виноватых нет, а просто чудотворец маленькую ошибку сделал.

– А где же моя бедная Катечка?

– Я ее страшным художническим заклятием заклял она, как клад от аминя, и рассыпалась.

А сам ключ теще показывает.

Тетушка догадалась, что он девушку от первого гнева укрыл, и обняла его.

Шепчет:

– Прости меня, – в тебе нежные чувства есть.

Глава шестая

Пришел дядя, по обычаю чаю напился и говорит:

– Ну, давай читать часослов в пятьдесят два листа?

Сели. А домашние все двери вокруг них за-творили и на цыпочках ходят. Тетушка же то отойдет от дверей, то опять подойдет, – все подслушивает и все крестится. Наконец, как там что-то звякнет... Она поотбежала и спря-талась.

– Объявил, – говорит, – объявил тайну! Те-перь начнется адское представление.

И точно: враз дверь растворилась, и дядя кричит:

– Шубу мне и большую палку!

Живописец его назад за руку и говорит:

– Что ты? Куда это?

Дядя говорит:

– Я в сумасшедший дом поеду чудотворца бить!

Тетушка за другими дверями застонала:

– Бегите, – говорит, – скорее в сумасшед-ший дом, чтобы батюшку Ивана Яковлевича

спрятали!

И действительно, дядя бы его непременно избил, но живописец страхом веры своей и этого удержал.

Глава седьмая

Стал зять вспоминать тестю, что у него есть еще одна дочь.

– Ничего, – говорит, – той своя доля, а я Кореишу бить хочу. После пусть меня судят.

– Да я тебя, – говорит, – не судом стращаю, а ты посуди: какой вред Иван Яковлевич Ольге может сделать. Ведь это ужас, чем ты рискуешь!

Дядя остановился и задумался:

– Какой же, – говорит, – вред он может сделать?

– А как раз такой самый, какой вред он сделал Катечке.

Дядя поглядел и отвечает:

– Полно вздор городить! Разве он это может?

А живописец отвечает:

– Ну, ежели ты, как я вижу, неверующий, то делай, как знаешь, только потом не тужи и

бедных девушек не виновать.

Дядя и остановился. А зять его втащил назад в комнату и начал уговаривать.

– Лучше, – говорит, – по-моему, чудотворца в сторону, а взять это дело и домашними средствами поправить.

Старик согласился, только сам не знал, как именно поправить, а зять-живописец и тут помог – говорит:

– Хорошие мысли надо искать не во гневе, а в радости.

– Какое, – отвечает, – теперь, братец, веселие при таком случае?

– А такое, что у меня есть два пузырька шипучки, и пока ты их со мною не выпьешь, я тебе ни одного слова не скажу. Согласись со мною. Ты знаешь, как я характерен.

Старик на него посмотрел и говорит:

– Подводи, подводи! Что такое дальше будет?

А впрочем, согласился.

Глава восьмая

Живописец живо скомандовал и назад пришел, а за ним идет его мастер, молодой художник, с подносом, и несет две бутылки с бокалами.

Как вошли, так живописец за собою двери запер и ключ в карман положил. Дядя посмотрел и все понял, а зять художнику кивнул, – тот взял и стал в смирную просьбу.

– Виноват, – простите и благословите.

Дядюшка зятя спрашивает:

– Бить его можно?

Зять говорит:

– Можно, да не надобно.

– Ну, так пусть он передо мною по крайности на колена станет.

Зять тому шепнул:

– Ну, стань за любимую девушку на колена перед батюкою.

Тот стал.

Старик и заплакал.

– Очень, – говорит, – любишь ее?

– Люблю.

– Ну, целуй меня.

Так Ивана Яковлевича маленькую ошибку и прикрыли. И оставалось все это в благополучной тайности, и к младшей сестре женихи пошли, потому что видят – девицы надежные.

*Впервые опубликовано – журнал
«Осколки», 1883.*

Пугало

*У страха большие глаза.
Поговорка*

Глава первая

Мое детство прошло в Орле. Мы жили в доме Немчинова, где-то недалеко от «маленького собора». Теперь я ни могу разобрать, где именно стоял этот высокий деревянные дом, но помню, что из его сада был просторный вид за широкий и глубокий овраг с обрывистыми краями, прорезанными пластами красной глины. За оврагом расстился большой выгон, на котором стояли казенные магазины, а возле них летом всегда учились солдаты. Я всякий день смотрел, как их учили и как их били. Тогда это было в употреблении, но я никак не мог к этому привыкнуть и всегда о них плакал. Чтобы это не часто повторялось, моя няня, престарелая московская солдатка – Марина Борисовна, уводила меня гулять в городской сад. Здесь мы садились над мелководной Окой и глядели, как в ней купа-

лись и играли маленькие дети, свободе которых я тогда очень завидовал.

Главная выгода их привольного положения в моих глазах состояла в том, что они не имели на себе ни обуви, ни белья, так как рубашонки их были сняты и ворот их рукавами связаны. В таком приспособлении рубашки получали вид небольших мешков, и ребятишки, ставя их против течения, налавливали туда крохотную серебристую рыбешку. Она так мала, что ее нельзя чистить, и это признавалось достаточным основанием к тому, чтобы ее варить и есть нечищеною.

Я никогда не имел отваги узнать ее вкус, но ловля ее, производившаяся крохотными рыбаками, казалась мне верхом счастья, каким мальчика моих тогдашних лет могла утешить свобода.

Няня, впрочем, знала хорошие доводы, что мне такая свобода была бы совершенно неприлична. Доводы эти заключались в том, что я – дитя благородных родителей и отца моего все в городе знают.

– Другое дело, – говорила няня, – если бы это было в деревне. Там, при простых, серых

мужиках, и мне, пожалуй, можно было бы позволить наслаждаться кой-чем в том же свободном роде.

Кажется, от этих именно сдерживающих рассуждений меня стало сильно и томительно манить в деревню, и восторг мой не знал пределов, когда родители мои купили небольшое именье в Кромском уезде. Тем же летом мы переехали из большого городского дома в очень уютный, но маленький деревенский дом с балконом, под соломенною крышею. Лес в Кромском уезде и тогда был дорог и редок. Это местность степная и хлебородная, и притом она хорошо орошена маленькими, но чистыми речками.

Глава вторая

В деревне у меня сразу же завелись обширные и любопытные знакомства с крестьянами. Пока отец и мать были усиленно заняты устройством своего хозяйства, я не терял времени, чтобы самым тесным образом сблизиться с взрослыми парнями и с ребяташками, которые пасли лошадей «на кулигах» [12]. Сильнее всех моими привязанностями овладел, впрочем, старый мельник, дедушка Илья – совершенно седой старик с преобладающими черными усами. Он более всех других был доступен для разговоров, потому что на работы не отлучался, а или похаживал с навозными вилами по плотине, или сидел над дрожащею скрынью и задумчиво слушал, ровно ли стучат мельничные колеса или не сосет ли где-нибудь под скрынью вода. Когда ему надокучало ничего не делать, – он заготавливал на всякий случай кленовые кулачья или цевки для шестерни. Но во всех описанных положениях он легко отклонялся от дела и вступал охотно в беседы, которые он вел отрывками, без всякой связи, но любил систему

намеков и при этом подсмеивался не то сам над собою, не то над слушателями.

По должности мельника дедушка Илья имел довольно близкое соотношение к водяному, который заведовал нашими прудами, верхним и нижним, и двумя болотами. Свою главную штаб-квартиру этот демон имел под холостою скрынью на нашей мельнице.

Дедушка Илья об нем все знал и говорил:

– Он меня любит. Он, если когда и сердит домой придет за какие-нибудь беспорядки, – он меня не обижает. Ляжь тут другой на моем месте, на мешках, – он так и сорвет с мешка и выбросит, а меня ни в жизнь не тронет.

Все молодые люди подтверждали мне, что между дедушкою Ильею и «водяным дедкой» действительно существовали описанные отношения, но только они держались все не на том, что водяной Илью любил, а на том, что дедушка Илья, как настоящий, заправский мельник, знал настоящее, заправское мельницкое слово, которому водяной и все его чертенята повиновались так же беспрекословно, как ужи и жабы, жившие под скрынями и на плотине.

С ребятами я ловил пискарей и гольцов, которых было великое множество в нашей узенькой, но чистой речке Гостомле; но, по серьезности моего характера, более держался общества дедушки Ильи, опытный ум которого открывал мне полный таинственной прелести мир, который был совсем мне, городскому мальчику, неизвестен. От Ильи я узнал и про домового, который спал на катке, и про водяного, который имел прекрасное и важное помещение под колесами, и про кикимору, которая была так застенчива и непостоянна, что пряталась от всякого нескромного взгляда в разных пыльных заматах – то в риге, то в овине, то на толчее, где осенью толкли замашки. Меньше всех дедушка знал про лешего, потому что этот жил где-то далеко у Селиванова двора и только иногда заходил к нам в густой ракитник, чтобы сделать себе новую ракитовую дудку и поиграть на ней в тени у сажалок. Впрочем, дедушка Илья во всю свою богатую приключениями жизнь видел лешего лицом к лицу всего только один раз и то на Николин день, когда у нас бывал храмовой праздник. Леший подошел к Илье, прикинув-

шись совсем смирным мужичком, и попросил понюхать табачку. А когда дедушка сказал ему: «черт с тобой – понюхай!» и при этом открыл тавлинку, – то леший не мог более соблюсти хорошего поведения и сошкольничал. Он так поддал ладонью под табакерку, что запылил доброму мельнику все глаза.

Все эти живые и занимательные истории имели тогда для меня полную вероятность, и их густое, образное содержание до такой степени переполняло мою фантазию, что я сам был чуть ли не духовидцем. По крайней мере, когда я однажды заглянул с большим риском в толчейный амбар, то глаз мой обнаружил такую остроту и тонкость, что видел сидевшую там в пыли кикимору. Она была неумытая, в пыльном повойнике и с золотушными глазами. А когда я, испуганный этим видением, бросился без памяти бежать оттуда, то другое мое чувство – слух – обнаружило присутствие лешего. Я не могу поручиться, где именно он сидел, – вероятно, на какой-нибудь высокой раките, но только, когда я бежал от кикиморы, леший во всю мочь засвистал на своей зеленой дудке и так сильно прихватил

меня к земле за ногу, что у меня оторвался каблук от ботинки.

Едва переводя дух, я сообщил все это домашним и за свое чистосердечие был посажен в комнате читать священную историю, пока посланный босой мальчик сходил в соседнее село к солдату, который мог исправить повреждение, сделанное лешим в моей ботинке. Но и самое чтение священной истории не защищало уже меня от веры в те сверхъестественные существа, с которыми я, можно сказать, сживался при посредстве дедушки Ильи. Я хорошо знал и любил священную историю, — я и до сих пор готов ее перечитывать, а все-таки ребячий милый мир тех сказочных существ, о которых наговорил мне дедушка Илья, казался мне необходимым. Лесные родники осиротели бы, если бы от них были отрешены гении, приставленные к ним народною фантазией.

В числе неприятных последствий от лешевой дудки было еще то, что дедушка Илья за прочитанные им для меня курсы демонологии получил от матушки выговор и некоторое время меня дичился и будто не хотел про-

должать моего образования. Он даже притворялся, будто гонит меня от себя прочь.

– Пошел от меня прочь, иди к своей няньке, – говори он, заворачивая меня к себе спиной и поддавая широкой мозолистой ладонью под сиденье.

Но я уже мог гордиться своим возрастом и считать подобное обращение со мною несовместным. Мне было восемь лет, и к няньке своей мне тогда идти было незачем, Я это и дал почувствовать Илье, принеся ему полоскательную чашку вишен из-под слитой наливки.

Дедушка Илья любил эти фрукты – принял их, смягчился, погладил меня своей мозольной рукой по голове и между нами снова восстановились самые короткие и самые добрые отношения.

– Ты вот что, – говорил мне дедушка Илья, – ты мужика завсегда больше всех почитай и люби слушать, но того, что от мужика услышишь, не всем сказывай. А не то – прогоню.

С тех пор я стал таить все, что слышал от мельника, и зато узнал так много интересно-

го, что начал бояться не только ночью, когда все домовые, лешие и кикиморы становятся очень дерзновенны и наглы, но даже стал бояться и днем. Такой страх овладел мною потому, что дом наш и весь наш край, оказалось, находился во власти одного престрашного разбойника и кровожадного чародея, который назывался Селиван. Он жил от нас всего в шести верстах, «на разновилье», то есть там, где большой почтовый тракт разветвлялся на два: одна, новая дорога шла на Киев, а другая, старая, с дуплистыми ракетами «екатерининского насаждения», вела на Фатеж. Эта теперь уже брошена и лежит в запусте.

В версте за этим разновильем был хороший дубовый лес, а при лесе – самый дрянной, совершенно раскрытый и полуобвалившийся постоялый двор, в котором, говорили, будто никто никогда не останавливался. И этому можно было легко верить, потому, что двор не представлял никаких удобств для постоя, и потому, что отсюда было слишком близко до города Кром, где и в те полудикие времена можно было надеяться найти теплую горницу, самовар и калачи второй руки.

Вот в этом-то ужасном дворе, где никто никогда не останавливался, и жил «пустой дворник» Селиван, ужасный человек, с которым никто не рад был встретиться.

Глава третья

Повесть «пустого дворника» Селивана, по словам дедушки Ильи, была следующая. Селиван был кромский мещанин; родители его рано умерли, а он жил в мальчиках у калачника и продавал калачи у кабака за Орловской заставой. Мальчик он был хороший, добрый и послушный, но только калачнику всегда говорили, что с Селиваном требовалась осторожность, потому что у него на лице была красная метинка, как огонь, – а это никогда даром не ставится. Были такие люди, которые знали на это и особенную пословицу: «Бог плута метит». Хозяин-калачник очень хвалил Селивана за его усердие и верность, но все другие люди, по искреннему своему доброжелательству, говорили, что истинное благоразумие все-таки заставляет его остерегаться и много ему не доверять, – потому что «бог плута метит». Если метка на его

лице положена, то это именно для того, чтобы все слишком доверчивые люди его остерегались. Калачник не хотел отстать от людей умных, но Селиван был очень хороший работник. Калачи он продавал исправно и всякий вечер аккуратно высыпал хозяину из большого кожаного кошелька все пятаки и гривны, сколько выручил от проезжавших мужичков. Однако метка лежала на нем не даром, а до случая (это уже всегда так бывает). Пришел в Кромы из Орла «отслужившийся палач», по имени Борька, и сказано было ему: «Ты был палач, Борька, а теперь тебе у нас жить будет горько», – и все, насколько кто мог, старались, чтобы такие слова не остались для отставного палача вотще. А когда палач Борька пришел из Орла в Кромы, с ним уже была дочь, девочка лет пятнадцати, которая родилась в остроге, хотя многие думали, что ей бы лучше совсем не родиться.

Пришли они в Кромы жить по приписке. Это теперь непонятно, но тогда бывало так, что отслужившимся палачам дозволялось приписываться к каким-нибудь городишкам, и делалось это просто, ни у кого на то жела-

ния и согласия не спрашивая. Так случилось и с Борькой: велел какой-то губернатор приписать этого старого палача в Кромах – его и приписали, а он пришел сюда жить и привел с собою дочку. Но только в Кромах палач, разумеется, ни для кого не был желанным гостем, а, напротив, все им пренебрегали, как люди чистые, и ни его, ни его девочку решительно никто не захотел пустить к себе на двор. А время, когда они пришли, было уже очень холодное.

Попросился палач в один дом, потом в другой и не стал более докучать. Он видел, что не возбуждает ни в ком ни малейшего сострадания, и знал, что вполне этого заслужил.

«Но дитя! – думал он. – Дитя не виновато в моих грехах, – кто-нибудь пожалеет дитя».

И Борька опять пошел стучаться из двора во двор, прося взять если не его, то только девчонку... Он заклинал, что никогда даже не придет, чтобы навестить дочь.

Но и эта просьба была так же напрасна.

Кому охота с палачом знаться?

И вот, обойдя городишко, стали эти злополучные пришельцы опять проситься в острог.

Там хоть можно было обогреться от осенней мокроты и стужи. Но и в острог их не взяли, потому что срок их острожной неволи минул, и они теперь были люди вольные. Они были свободны умереть под любым забором или в любой канаве.

Милостыню палачу с дочерью иногда подавали, не для них, конечно, а Христа ради, но в дом никуда не пускали. Старик с дочерью не имели приюта и ночевали то где-нибудь под кручею, в глинокопных ямах, то в опустелых сторожевых шалашах на огородах, по долине. Суровую долю их делила тощая собака, которая пришла с ними из Орла.

Это был большой лохматый пес, на котором вся шерсть завойлочилась в войлок. Чем она питалась при своих нищих-хозяевах – это никому не было известно, но, наконец, догадались, что ей вовсе и не нужно было питаться, потому что она была «бесчеревная», то есть у нее были только кости да кожа и желтые, истомленные глаза, а «в середине» у нее ничего не было, и потому пища ей вовсе не требовалась.

Дедушка Илья рассказывал мне, как этого

можно достигать «самым легким манером». Любую собаку, пока она щенком, стоит только раз напоить жидко расплавленным оловом или свинцом, и она сделается без черева и может не есть. Но, разумеется, при этом необходимо знать «особливое, колдовское слово». А за то, что палач, очевидно, знал это слово, — люди строгой нравственности убили его собаку. Оно, конечно, так и следовало, чтобы не давать поблажки колдовству; но это было большим несчастьем для нищих, так как девочка спала вместе с собакою, и та уделяла ребенку часть теплоты, которую имела в своей шерсти. Однако для таких пустяков, разумеется, нельзя было потворствовать волшебствам, и все были того мнения, что собака уничтожена совершенно правильно. Пусть колунам не удастся морочить правоверных.

Глава четвертая

После уничтожения собаки девочку согрел в шалашах сам палач, но он уже был стар, и, к его счастью, ему недолго пришлось нести эту непосильную для него заботу. В одну морозную ночь дитя ощутило, что отец ее застыл более, чем она сама, и ей сделалось так страшно, что она от него отодвинулась и даже от ужаса потеряла сознание. До утра пробыла она в объятиях смерти. Когда стало светать и люди, шедшие к заутрене, заглянули из любопытства в шалаш, то они увидели отца и дочь закоченевшими. Девочку кое-как отогрели, и когда она увидела у отца странно остолбенелые глаза и дико оскаленные зубы, тогда поняла в чем дело и зарыдала.

Старика схоронили за кладбищем, потому что он жил скверно и умер без покаяния, а про его девочку немножко позабыли... Правда, не надолго, всего на какой-нибудь месяц, но когда про нее через месяц вспомнили, – ее уже негде было отыскивать.

Можно было думать, что сиротка куда-нибудь убежала в другой город или пошла про-

ситъ милостыню по деревнямъ. Гораздо любопытнее было то, что съ исчезновениемъ сиротки соединялось другое странное обстоятельство: прежде чѣмъ хватились девочки, было замечено, что безъ вѣсти пропалъ куда-то калачникъ Селиванъ.

Онъ пропалъ совершенно неожиданно, и притомъ такъ необдуманно, какъ не дѣлалъ еще до него никакой другой беглецъ. Селиванъ решительно ничего ни у кого не унесъ, и даже все данное ему для продажи калачи лежали на его лоткѣ, и тутъ же уцѣлели все деньги, которые онъ выручилъ за то, что продалъ; но самъ онъ домой не возвращался.

И оба эти сироты считались безъ вѣсти пропавшими цѣлыхъ три года.

Вдругъ, однажды, приезжаетъ съ ярмарки купецъ, которому принадлежалъ давно опустелый постоялый дворъ «на разновильѣ», и говоритъ, что съ нимъ было несчастье: ехалъ онъ, да плохо направлялъ на гать свою лошадь, и его возъ придавилъ, но его спасъ неизвестный бродяжка.

Бродяжка этотъ былъ имъ узнанъ, и оказалось, что это не кто иной, какъ Селиванъ.

Спасенный Селиваномъ купецъ былъ не изъ та-

ких людей, которые совсем нечувствительны к оказанной им услуге; чтобы не подлежать на страшном суде ответу за неблагодарность, он захотел сделать добро бродяге.

– Я должен тебя осчастливить, – сказал он Селивану, – у меня есть пустой двор на разнотравье, иди туда и сиди в нем дворником и продавай овес и сено, а мне плати всего сто рублей в год аренды.

Селиван знал, что на шестой версте от городка, по запустевшей дороге, постоялому двору не место, и, в нем сидючи, никакого заработка ждать невозможно; но, однако, как это был еще первый случай, когда ему предлагали иметь свой угол, то он согласился.

Купец пустил.

Глава пятая

Селиван приехал во двор с маленькой ручной одноколесной навозницей, в которой у него мостились пожитки, а на них лежала, закинув назад голову, больная женщина в жалких лохмотьях.

Люди спросили у Селивана:

– Кто это такая?

Он отвечал:

– Это моя жена.

– Из каких она мест родом?

Селиван кротко отвечал:

– Из божьих.

– Чем она больна?

– Ногами недужна.

– А отчего она так недужает?

Селиван, насупясь, буркнул:

– От земного холода.

Больше он не стал говорить ни слова, поднял на руки свою немощную калеку и понес ее в избу.

Словоохотливости и вообще приятной общительности в Селиване не было; людей он избегал, и даже как будто боялся, и в городе

не показывался, а жены его совсем никто не видал с тех пор, как он ее сюда привез в ручной навозной тележке. Но с тех пор, когда это случилось, уже прошло много лет, – молодые люди тогдашнего века уже успели состариться, а двор в разновилье еще более обветшал и развалился; но Селиван и его убогая калека все здесь и, к общему удивлению, платили за двор наследникам купца какую-то плату.

Откуда же этот чудака выручал все то, что было нужно на его собственные нужды и на то, что следовало платить за совершенно разрушенный двор? Все знали, что сюда *никогда* не заглядывал *ни один* проезжающий и не кормил здесь своих лошадей *ни один* обоз, а между тем Селиван хотя жил бедственно, но все еще не умирал с голода.

Вот в этом-то и был вопрос, который, впрочем, не очень долго томил окрестное крестьянство. Скоро все поняли, что Селиван знался с нечистою силою... Эта нечистая сила устраивала ему довольно выгодные и для обыкновенных людей даже невозможные делишки.

Известно, что дьявол и его помощники

имеют большую охоту делать людям всякое зло; но особенно им нравится вынимать из людей души так неожиданно, чтобы они не успели очистить себя покаянием. Кто из людей помогает таким проискам, тому вся нечистая сила, то есть все лешие, водяные и кикиморы охотно делают разные одолжения, хотя, впрочем, на очень тяжелых условиях. Помогаящий чертям должен сам за ними последовать в ад, – рано или поздно, но непременно. Селиван находился именно на этом роковом положении. Чтобы кое-как жить в своем разоренном домишке, он давно продал свою душу нескольким чертям сразу, а эти с тех пор начали загонять к нему на двор путников самыми усиленными мерами. Назад же от Селивана не выезжал никто. Делалось это таким образом, что лешие, сговорясь с кикиморами, вдруг перед ночью поднимали вьюги и метели, при которых дорожный человек растеривался и спешил спрятаться от разгулявшейся стихии куда попало. Селиван тогда сейчас же и выкидывал хитрость: он выставлял огонь на свое окошко и на этот свет к нему попадали купцы с толстыми черепами, дворяне с по-

тайными шкатулками и попы с меховыми треухами, подложенными во всю ширь де-нежными бумажками. Это была ловушка. Назад из Селивановых ворот уже не было поворота ни одному из тех, кто приехал. Куда их девал Селиван, – про то никому не было известно.

Дедушка Илья, договорившись до этого, только проводил по воздуху рукой и внушительно произносил:

– Сова летит, лунь плывет – ничего не видно: буря, метель и... ночь матка – все гладко.

Чтобы не уронить себя во мнении дедушки Ильи, притворялся, будто понимаю, что значит «сова летит и лунь плывет», а понимал я только одно, что Селиван – это какое-то общее пугало, с которым чрезвычайно опасно встретиться... Не дай бог этого никому на свете.

Я, впрочем, старался проверить страшные рассказы про Селивана и от других людей, но все в одно слово говорили то же самое. Все смотрели на Селивана как на страшное пугало, и все так же, как дедушка Илья, строго за-казывали мне, чтобы я «дома, в хоромах, ни-

кому про Селивана не сказывал». По совету мельника, я эту мужичью заповедь исполнял до особого страшного случая, когда я сам попался в лапы Селивану.

Глава шестая

Зимой, когда в доме вставили двойные рамы, я не мог по-прежнему часто видаться с дедушкой Ильей и с другими мужиками. Меня берегли от морозов, а они все остались работать на холоду, причем с одним из них произошла неприятная история, выдвинувшая опять на сцену Селивана.

В самом начале зимы племянник Ильи, мужик Николай, пошел на свои именины в Кромь, в гости, и не возвратился, а через две недели его нашли на опушке у Селиванова леса. Николай сидел на пне, опершись бородою на палочку, и, по-видимому, отдыхал после такой сильной усталости, что не заметил, как метель замела его выше колен снегом, а лисицы обкусили ему нос и щеки.

Очевидно, Николай сбился с дороги, устал и замерз; но все знали, что это вышло неспроста и не без Селивановой вины. Я узнал об

этом через девушек, которых было у нас в комнатах очень много и все они большею частью назывались Аннушками. Была Аннушка большая, Аннушка меньшая, Аннушка рябая и Аннушка круглая, и потом еще Аннушка, по прозвищу «Шибайенок». Эта последняя была у нас в своем роде фельетонистом и репортером. Она по своему живому и резвому характеру получила и свою бойкую кличку.

Не Аннушками звали только двух девушек – Неонилу да Настю, которые числились на некотором особом положении, потому что получили особенное воспитание в тогдашнем модном орловском магазине мадам Морозовой, да еще были в доме три побегушки-девочки – Оська, Моська и Роська. Крестное имя одной из них было Матрена, другой Раиса, а как звали по-настоящему Оську – этого я не знаю. Моська, Оська и Роська находились еще в малолетстве, и потому к ним все относились довольно презрительно. Они еще бегали босиком и не имели права садиться на стульях, а присаживались внизу, на подножных скамейках. По должности они исполняли разные унижительные поручения, как-то: чисти-

ли тазы, выносили умывальные лоханки, провожали гулять комнатных собачек и бежали скороходами на посылках за кухонными людьми и на деревню. В теперешних помещичьих домах уже нигде нет такого излишнего многолюдства, но тогда оно казалось необходимым.

Все наши девы и девчонки, разумеется, много знали о страшном Селиване, вблизи двора которого замерз мужик Николай. По этому случаю теперь вспомнили Селивану все его старые проделки, о которых я прежде и не знал. Теперь обнаружилось, что кучер Константин, едучи один раз в город за говядиной, слышал, как из окна Селивановой избы неслися жалобные стоны и слышались слова: «Ой, ручку больно! Ой, пальчик режет».

Девушка, Аннушка большая, объясняла это так, что Селиван забрал к себе во время метели (по-орловски – куры) целый господский возок с целым дворянским семейством и медленно отрезал дворянским детям пальчик за пальчиком. Это страшное варварство ужасно меня перепугало. Потом башмачнику Ивану приключилось что-то еще более страшное и

вдобавок необъяснимое. Раз, когда его послали в город за сапожным товаром и он, позамешкавшись, возвращался домой темным вечером, то поднялась маленькая метель, – а это составляло первое удовольствие для Селивана. Он сейчас же вставал и выходил на поле, чтобы веяться во мгле вместе с Ягою, лешими и кикиморами. И башмачник это знал и остерегался, но не остерегся. Селиван выскочил у него перед самым носом и загородил ему дорогу... Лошадь стала. Но башмачник, к его счастью, от природы был смел и очень находчив. Он подошел к Селивану, будто с ласкою, и проговорил: «Здравствуй, пожалуйста», а в это самое время из рукава кольнул его самым большим и острым шилом прямо в живот. Это единственное место, в которое можно ранить колдуна насмерть, но Селиван спасся тем, что немедленно обратился в толстый верстовой столб, в котором острый инструмент башмачника застрял так крепко, что башмачник никак не мог его вытащить и должен был расстаться с шилом, между тем оно ему было решительно необходимо.

Этот последний случай был даже обидною

насмешкою над честными людьми и убедил всех, что Селиван действительно был не только великий злодей и лукавый колдун, но и нахал, которому нельзя было давать спуска. Тогда его решили проучить строго; но Селиван тоже не был промах и научился новой хитрости: он начал «скидываться», то есть при малейшей опасности, даже просто при всякой встрече, он стал изменять свой человеческий вид и у всех на глазах обращаться в различные одушевленные и неодушевленные предметы. Правда, что благодаря общему против него возбуждению, он и при такой ловкости все-таки немножко страдал, но искоренить его никак не удавалось, а борьба с ним иногда даже принимала немножко смешной характер, что всех еще более обижало и злило. Так, например, после того, когда башмачник изо всей силы проколол его шилом и Селиван спасся только тем, что успел скинуться верстовым столбом, несколько человек видели это шило торчавшим в настоящем верстовом столбе. Они пробовали даже его оттуда вытащить, но шило сломалось, и башмачнику привезли только одну ничего не

стоящую деревянную ручку.

Селиван же и после этого ходил по лесу, как будто его даже совсем и не кололи, и скидывался кабаном до такой степени истово, что ел дубовые желуди с удовольствием, как будто такой фрукт мог приходить к нему по вкусу. Но чаще всего он вылезал под видом красного петуха на свою черную растрепанную крышу и кричал оттуда «кука-реку!» Все знали, что его, разумеется, занимало не пение «ку-ка-реку», а он высматривал, не едет ли кто-нибудь такой, против кого стоило бы подучить лешего и кикимору поднять хорошую бурю и затормозить его до смерти. Словом, окрестные люди так хорошо отгадывали все его хитрости, что никогда не поддавались злодею в его сети и даже порядком мстили Селивану за его коварство. Один раз, когда он, скинувшись кабаном, встретился с кузнецом Савельем, который шел пешком из Кром со свадьбы, между ними даже произошла открытая схватка, но кузнец остался победителем благодаря тому, что у него, к счастью, случилась в руках претяжелая дубина. Оборотень притворился, будто он не желает обра-

щать на кузнеца ни малейшего внимания и, тяжело похрюкивая, чавкал желуди; но кузнец проник острым умом его замысел, который состоял в том, чтобы пропустить его мимо себя и потом напасть на него сзади, сбить с ног и съесть вместо желудя. Кузнец решился предупредить беду; он поднял высоко над головою свою дубину и так треснул ею кабана по храпе, что тот жалобно взвизгнул, упал и более уже не поднимался. А когда кузнец после этого начал поспешно уходить, то Селиван опять принял на себя свой человеческий вид и долго смотрел на кузнеца со своего крылечка – очевидно, имея против него какое-то самое недружелюбное намерение.

После этой ужасной встречи кузнеца даже была лихорадка, от которой он спасся единственно тем, что пустил по ветру за окно хинный порошок, который ему был прислан из горницы для приема.

Кузнец слыл за человека очень рассудительного и знал, хина и всякое другое аптечное лекарство против волшебства ничего сделать не могут. Он оттерпелся, завязал на суровой нитке узелок и бросил его гнить в навоз-

ную кучу. Этим было все кончено, потому что как только узелок и нитка сгнили, так и сила Селивана должна была кончиться. И это так и случилось. Селиван после этого случая в свинью уже никогда более не скидывался, или по крайней мере с тех пор его никто решительно не встречал в этом неопрятном виде.

С проказами же Селивана в образе красного петуха было еще удачнее: на него ополчился косой мирошник Савка, преудалый парень, который действовал всех предусмотрительнее и ловчее.

Будучи послан раз в город на подторжье, он ехал верхом на очень ленивой и упрямой лошади. Зная такой нрав своего коня, Савка взял с собою на всякий случай потихоньку хорошее березовое полено, которым надеялся запечатлеть сувенир в бока своего меланхолического буцефала. Кое-что в этом роде он и успел уже сделать и настолько переломить характер своего коня, что тот, потеряв терпение, стал понемножку припрыгивать.

Селиван, не ожидая, что Савка так хорошо вооружен, как раз к его приезду выскочил петухом на застреху и начал вертеться, глазеть

на все стороны да петь «ку-ка-реку!» Савка не сробел колдуна, а, напротив, сказал ему: «Э, брат, врешь – не уйдешь», и с этим, недолго думая, ловко швырнул в него своим поленом, что тот даже не допел до конца своего «ку-ка-реку» и свалился мертвым. По несчастию, он только упал не на улицу, а во двор, где ему ничего не стоило, коснувшись земли, опять принять на себя свой человеческий образ. Он сделался Селиваном и, выбежав, погнался за Савкою, имея в руке то же самое полено, которым его угостил Савка, когда он пел петухом на крыше.

По рассказам Савки, Селиван в этот раз был так взбешен, что Савке могло прийти от него очень плохо; но Савка был парень сообразительный и отлично знал одну преполезную штуку. Он знал, что его ленивая лошадь сразу забывает о своей лени, если ее поворотить домой, к яслям. Он это и сделал. Как только Селиван, вооруженный поленом, на Савку кинулся, – Савка враз повернул коня в обратный путь и скрылся. Он прискакал домой, не имея на себе лица от страха, и рассказал о бывшей с ним страшной истории толь-

ко на другой день. И то слава богу, что заговорил, а то боялись, как бы он не остался нем навсегда.

Глава седьмая

Вместо оробевшего Савки был наряжен другой, более смелый посол, который достиг Кром и возвратился назад благополучно. Однако и этот, совершив путешествие, говорил, что ему легче бы сквозь землю провалиться, чем ехать мимо Селиванова двора. То же самое чувствовали и другие: страх стал всеобщий; но зато со стороны всех вообще началось и за Селиваном всеобщее усиленное смотрение. Где бы и чем бы он ни скидывался, его везде постоянно обнаруживали и во всех видах стремились пресечь его вредное существование. Являлся ли Селиван у своего двора овцою или теленком, — его все равно узнавали и били, и ни в каком виде ему не удавалось укрыться. Даже когда он один раз выкатился на улицу в виде нового свежесмоленного тележного колеса и лег на солнце сушиться, то и эта его хитрость была обнаружена, и умные люди разбили колесо на мел-

кие части так, что и втулка и спицы разлетелись в разные стороны.

Обо всех этих происшествиях, составлявших героическую эпопею моего детства, мною своевременно получались скорые и самые достоверные сведения. Быстроте известий много содействовало то, что у нас на мельнице всегда случалась отменная заезжая публика, приезжавшая за помолом. Пока мельничные жернова мололи привезенные ими хлебные зерна, уста помольцев еще усерднее мололи всяческий вздор, а оттуда все любопытные истории приносились в девичью Моською и Роською и потом в наилучшей редакции сообщались мне, а я начинал о них думать целые ночи и создавал презанимательные положения для себя и для Селивана, к которому я, несмотря на все, что о нем слышал, – питал в глубине моей души большое сердечное влечение. Я бесповоротно верил, что настанет час, когда мы с Селиваном как-то необыкновенно встретимся – и даже полюбим друг друга гораздо более, чем я любил дедушку Илью, в котором мне не нравилось то, что у него один, именно левый, глаз

всегда немножко смеялся.

Я никак не мог долго верить, что Селиван делает все сверхъестественные чудеса с злым намерением к людям и очень любил о нем думать; и обыкновенно, чуть начинал засыпать, он мне снился тихим, добрым и даже обиженным. Я его никогда еще не видал и не умел себе представить его лица по искаженным описаниям рассказчиков, но глаза его я видел, чуть закрывал свои собственные. Это были большие глаза, совсем голубые и предобрые. И пока я спал, мы с Селиваном были в самом приятном согласии: у нас с ним открывались в лесу разные секретные норки, где у нас было напрядано много хлеба, масла и теплых детских тулупчиков, которые мы доставали, бегом носили к известным нам избам по деревням, клали на слуховое окно, стучали, чтобы кто-нибудь выглянул, и сами убежали.

Это были, кажется, самые прекрасные сновидения в моей жизни, и я всегда сожалел, что с пробуждением Селиван опять делался для меня тем разбойником, против которого всякий добрый человек должен был прини-

мать все меры предосторожности. Признаться, я и сам не хотел отстать от других, и хотя во сне я вел с Селиваном самую теплую дружбу, но наяву я считал нелишним обеспечить себя от него даже издали.

С этой целью я, путем немалой лести и других унижений, выпросил у ключницы хранившийся у нее в кладовой старый, очень большой кавказский кинжал моего отца. Я подвязал его на кутас, который снял с дядиного гусарского кивера, и мастерски спрятал это оружие в головах, под матрац моей постельки. Если бы Селиван появился ночью в нашем доме, я бы непременно против него выступил.

Об этом скрытом цейхгаузе не знали ни отец, ни мать, и это было совершенно необходимо, потому что иначе кинжал у меня, конечно, был бы отобран, а тогда Селиван мог помешать мне спать спокойно, потому что я все-таки его ужасно боялся. А он между тем уже делал к нам подходы, но наши бойкие девушки его сразу же узнали. К нам в дом Селиван дерзнул появляться, скинувшись большою рыжею крысою. Сначала он просто шу-

мел по ночам в кладовой, а потом один раз спустился в глубокий долбленный липовый напол, на дне которого ставили, покрывая решетом, колбасы и другие закуски, сберегаемые для приема гостей. Тут Селиван захотел сделать нам серьезную домашнюю неприятность – вероятно, в отплату за те неприятности, какие он перенес от наших мужиков. Оборотясь рыжею крысою, он вскочил на самое дно в липовый напол, сдвинул каменный гнеток, который лежал на решетке, и съел все колбасы, но зато назад никак не мог выскочить из высокой кади. Здесь Селивану, по всем видимостям, никак невозможно было избежать заслуженной казни, которую вызвалась произвести над ним самая скорая Аннушка Шibaёнок. Она явилась для этого с целым чугуном кипятку и с старою вилкою. Аннушка имела такой план, чтобы сначала ошпарить оборотня кипятком, а потом приколоть его вилкою и выбросить мертвого в бурьян на расклевань воронам. Но при исполнении казни произошла неловкость со стороны Аннушки круглой, она плеснула кипятком на руку самой Аннушке Шibaёнку; та выро-

нила от боли вилку, а в это время крыса укусила ее за палец и с удивительным проворством по ее же рукаву выскочила наружу и, произведя общий перепуг всех присутствующих, сделалась невидимкой.

Родители мои, смотревшие на это происшествие обыкновенными глазами, приписывали глупый исход травли неловкости наших Аннушек; но мы, которые знали тайные пружины дела, знали и то, что тут ничего невозможно было сделать лучшего, потому что это была не простая крыса, а оборотень Селиван. Рассказать об этом старшим мы, однако, не смели. Как простосердечный народ, мы боялись критики и насмешек над тем, что сами почитали за несомненное и очевидное.

Через порог передней Селиван перешагнуть не решался ни в каком виде, как мне казалось, потому, что он кое-что знал о моем кинжале. И мне это было и лестно и досадно, потому что, собственно говоря, мне уже стали утомительны одни толки и слухи и во мне разгоралось страстное желание встретиться с Селиваном лицом к лицу.

Это во мне обратилось, наконец, в томле-

ние, в котором и прошла вся долгая зима с ее бесконечными вечерами, а с первыми весенними потоками с гор у нас случилось происшествие, которое расстроило весь порядок жизни и дало волю опасным порывам несдержанных страстей.

Глава восьмая

Случай был неожиданный и печальный. В самую весеннюю ростепель, когда, по народному выражению, «лужа быка топит», из далекого тетушкина имения прискакал верховой с роковым известием об опасной болезни дедушки.

Длинный переезд в такую распутицу был сопряжен с большою опасностью; но отца и мать это не остановило, они пустились в дорогу немедленно. Ехать надо было сто верст, и не иначе, как в простой тележке, потому что в каком другом экипаже проехать совсем было невозможно. Телегу сопровождали два вершника с длинными шестами в руках. Они ехали вперед и ощупывали дорожные просы. Я и дом были оставлены на попечение особого временного комитета, в состав кото-

рого входили разные лица по разным ведомствам. Аннушке большой были подчинены все лица женского пола до Оськи и Роськи; но высший нравственный надзор поручен был старостихе Дементьевне. Интеллигентное же руководство нами – в рассуждении наблюдения праздников и дней недельных – было вверено диаконскому сыну Аполлинарию Ивановичу, который, в качестве исключенного из семинарии ритора, состоял при моей особе на линии наставника. Он учил меня латинским склонениям и вообще приготавлиал к тому, чтобы я мог на следующий год поступить в первый класс орловской гимназии не совершенным дикарем, которого способны удивить латинская грамматика Белюстина и французская – Ломонда.

Аполлинарий был юноша светского направления и собирался поступить в «приказные», или, по-нынешнему говоря, в писцы – в орловское губернское правление, где служил его дядя, имевший презанимательную должность. Если какой-нибудь становой или исправник не исполнял какого-нибудь предписания, то дядю Аполлинария посылали на од-

ной лошади «нарочным» на счет виновного. Он ездил, не платя за лошадей денег, и, кроме того, получал с виновных дары и презенты и видел разные города и много разных людей разных чинов и обычаев. Мой Аполлинарий тоже имел в виду со временем достичь такого счастья и мог надеяться сделать гораздо более своего дяди, потому что он обладал двумя большими талантами, которые могли быть очень приятны в светском обхождении: Аполлинарий играл на гитаре две песни: «Девушка крапивушку жала» и вторую, гораздо более трудную – «Под вечер осенью ненастной», и, что еще реже было в тогдашнее время в провинциях, – он умел сочинять прекрасные стихи дамам, за что, собственно, и был выгнан из семинарии.

Мы с Аполлинарием, несмотря на разницу наших лет, держались как друзья, и, как particularly верным друзьям, мы крепко хранили взаимные тайны. В этом случае на его долю приходилось немножко меньше, чем на мою: мои все секреты заключались в находившемся у меня под матрацем кинжале, а я обязан был глубоко таить два вверенные мне секре-

та: первый касался спрятанной в шкафе трубки, из которой Аполлинарий курил вечером в печку кисло-сладкие белые нежинские корешки, а второй был еще важнее – здесь дело шло о стихах, написанных Аполлинарием в честь некоей «легконосной Пулхерии».

Стихи были, кажется, очень плохие, но Аполлинарий говорил, что для верного о них суждения необходимо было видеть, какое они могут произвести впечатление, если хорошенько, с чувством прочесть нежной и чувствительной женщине.

Это предполагало большую и даже в нашем положении непреодолимую трудность, потому что маленьких барышень у нас в доме не было, а барышням взрослым, которые иногда приезжали, Аполлинарий не смел предложить быть его слушательницами, так как он был очень застенчив, а между нашими знакомыми барышнями водились большие насмешницы.

Нужда научила Аполлинария выдумать компромисс, – именно, декламировать оду, написанную «Легконосной Пулхерии», перед нашей девушкой Неонилой, которая

усвоила себе в модном магазине Морозовой разные отшлифованные городские манеры и, по соображениям Аполлинария, должна была иметь тонкие чувства, необходимые для того, чтобы почувствовать достоинство поэзии.

По малолетству моему я боялся подавать своему учителю советы в его поэтических опытах, но считал его намерение декламировать стихи перед швеею рискованным. Я, разумеется, судил по себе и хотя брал в соображение, что молоденькой Неониле знакомы некоторые предметы городского круга, но едва ли ей может быть понятен язык высокой поэзии, каким Аполлинарий обращался к воспеваемой им Пулхерии. Притом в оде к «Легконосице» были такие восклицания: «О ты, жестокая!» или «Исчезни с глаз моих!» и тому подобные. Неонила от природы имела робкий и застенчивый характер, и я боялся, что она примет это на свой счет и непременно расплачется и убежит.

Но всего хуже то, что при обыкновенном строгом домашнем порядке нашей домашней жизни вся эта задуманная ритором поэтическая репетиция была совершенно невозмож-

на. Ни время, ни место, ни даже все другие условия не благоприятствовали тому, чтобы Неонила слушала стихи Аполлинария и была их первою ценительницею. Однако безначалием, которое водворилось у нас с отъездом родителей, все изменилось, и ритор захотел этим воспользоваться. Теперь мы, забыв всякую разность своих положений, ежедневно играли по вечерам в короли, а Аполлинарий даже курил в комнатах свои нежинские корешки и садился в столовой в отцовском кресле, что меня немножко обижало. Кроме того, по его же настоянию у нас несколько раз была затеяна игра в жмурки, причем мне и брату набили синяки. Потом мы играли в прятки, и раз даже был устроен формальный фестиваль, с большим угощением. Кажется, все это делалось «на шереметевский счет», как в тогдашнее время бражничали многие неосмотрительные кутилы, по гибельному пути которых направились и мы, увлекаемые ритором. Мне до сих пор неизвестно, от кого тогда были предложены собранию целый мешочек самых зрелых лесных орехов, добытых из мышиных норок (где обыкновенно бывают

только орехи самого высшего сорта). Кроме орехов, были три свертка серой бумаги с желтыми паточными груздиками, подсолнухами и засмоквенной грушей. Последняя очень прочно липла к рукам и не скоро отмывалась.

Так как этот последний фрукт пользовался особым вниманием, то груши давались только в розыгрыш на фанты. Моська, Оська и Роська, по существенному своему ничтожеству, смокв вовсе не получали. В фантах участвовали Аннушка и я да мой наставник Аполлинарий, который оказался очень ловким выдумщиком. Происходило все это в гостиной комнате, где, бывало, сидели только очень почетные гости. И тут-то, в чаду увлечения веселостями, в Аполлинария вошел какой-то отчаянный дух, и он задумал еще более дерзкое предприятие. Он захотел декламировать свою оду в грандиозной и даже ужающей обстановке, при которой должны были подвергнуться самому высшему напряжению самые сильные нервы. Он начал всех нас подговаривать, чтобы отправиться всем вместе в будущее воскресенье за ландышами в Селиванов лес. А вечером, когда мы с ним ло-

жились спать, он мне открылся, что ландыши тут один только предлог, а главная цель в том, чтобы прочесть стихи в самой ужасной обстановке.

С одной стороны будет действовать страх от Селивана, а с другой – страх от ужасных стихов... Каково это выйдет и можно ли это выдержать?

Представьте же себе, что мы на это отважились.

В оживленности, которою все мы были охвачены в это достопамятный весенний вечер, нам представлялось, что все мы смелы и можем совершить отчаянную штуку безопасно. В самом деле, нас будет много, и притом я возьму разумеется, свой огромный кавказский кинжал.

Признаться, мне очень хотелось, чтобы и все другие вооружились сообразно своей силе и возможности, но я ни у кого не встретил к этому должного внимания и готовности. Аполлинарий брал только чубук да гитару, а с девушками ехали таганы, сковороды, котелки с яйцами и чугунок. В чугунке предполагалось варить пшенный кулеш с салом, а на

сковороде жарить яичницу, и в этом смысле они были прекрасны; но в смысле обороны, на случай возможных проделок со стороны Селивана, решительно ничего не значили.

Впрочем, по правде сказать, я был и еще кое за что недоволен моими компаньонами, а именно – я не чувствовал с их стороны того внимания к Селивану, каким я сам был проникнут. Они и боялись его, но как-то легкомысленно, и даже рисковали критически над ним подтрунивать. Одна Аннушка говорила, что она возьмет пирожную скалку и скалкой его убьет, а Шibaёнок смеялась, что она его загрызть может, и при этом показывала свои белые-пребелые зубы и перекусывала ими кусочек проволоки. Все это как-то не солидно; всех превзошел ритор. Он совсем отвергал существование Селивана – говорил, что его даже никогда не было и что он просто есть изобретение фантазии, такое же, как Пифон, Цербер и тому подобное.

Тогда я первый раз видел, до чего способен человек увлекаться в отрицаниях! К чему же тогда вся риторика, если она позволяет поставить на одну ступень вероятность баснослов-

ного Пифона с Селиваном, действительное существование которого подтверждалось множеством очевидных событий.

Я этому соблазну не поддался и сберег мою веру в Селивана. Даже более того, я верил, что ритор за свое неверие будет непременно наказан.

Впрочем, если не строго относиться к этим философствам, то затеянная поездка в лес обещала много веселости, и никто не хотел или не мог заставить себя приготовиться к явлениям другого сорта. А меж тем благоразумие заставляло весьма поостеречься в этом проклятом лесу, где мы будем, так сказать, в самой пасти у зверя.

Все думали только о том, как им весело будет разбрестись по лесу, куда все боятся ходить, а они не боятся. Размышляли о том, как мы пройдем насквозь весь опасный лес, аукаясь, перекликаясь и перепрыгивая ямки и овражки, в которых дотлевают последний снег, а и не подумали, будет ли все это одобрено, когда возвратится наше высшее начальство. Впрочем, мы зато имели в виду изготовить на туалет мамы два большие букета из

лучших ландышей, а из остальных сделать душистый перегон, который во все предстоящее лето будет давать превосходное умыванье от загара.

Глава девятая

Нетерпеливо дождавшись воскресенья, мы оставили в доме на хозяйстве старостиху Дементьевну, а сами отправились к Селиванову лесу. Вся публика шла пешком, держась более просохших высоких рубежей, где уже зеленела первая изумрудная травка, а по дороге следовал обоз, состоявший из телеги, запряженной старою буланою лошадию. На телеге лежала Аполлинариева гитара и взятые на случай ненастья девичьи кацавейки. Правил лошадию я, а назади, в качестве пассажиров, помещались Роська и другие девчонки, из которых одна бережно везла в коленях кошелочку с яйцами, а другая имела общее попечение о различных предметах, но наиболее поддерживала рукою мой огромный кинжал, который был у меня подвешен через плечо на старом гусарском шнуре от дядина этишкета и болтался из стороны в сторону, значитель-

но затрудняя мои движения и отрывая мое внимание от управления лошадью.

Девушки, идучи по рубежу, пели: «Распахну ль я пашеньку, посею ль я лен-конопель», а ритор им вторил басом. Попадавшиеся нам навстречу мужики кланялись и опрашивали:

– Куда поднялись?

Аннушки им отвечали:

– Идем Селиванку в плен брать.

Мужики помахивали головами и говорили:

. – Угорелые!

Мы и действительно были в каком-то чаду, нас охватила неудержимая полудетская потребность бегать, петь, смеяться и делать все очертя голову.

А между тем час езды по скверной дороге начал на меня действовать неблагоприятно – старый буланый мне надоел, и во мне охладела охота держать в руках веревочные вожжи; но не遠деке, на горизонте, засинел Селиванов лес, и все ожило. Сердце забилося и заныло, как у Вара при входе в Тевтобургские дубри. А в это же время из-под талой межи выскочил заяц и, пробежав через дорогу, понес-

ся по полю.

– Фуй, чтоб тебе пусто было! – закричали вслед ему Аннушки.

Они все знали, что встреча с зайцем к добру никогда не бывает. И я тоже струсил и схватился за свой кинжал, но так увлекся заботами об извлечении его из заржавевших ножен, что не заметил, как выпустил из рук вожжи и, с совершенною для себя неожиданностью, очутился под опрокинувшеюся телегою, которую потянувшийся на рубеж за травкою буланый повернул самым правильным образом, так что все четыре колеса очутились вверх, а я с Роськой и со всею нашею провизиею явились под спудом...

Это несчастье с нами случилось моментально, но последствия его были неисчислимы: гитара Аполлинария была разломана вдребезги, а разбитые яйца текли и заклеивали нам лица своим содержимым. Вдобавок Роська ревела.

Я был всемерно подавлен и сконфужен и до того растерялся, что даже желал, чтобы нас лучше совсем не освобождали; но я уже слышал голоса всех Аннушек, которые, трудясь

над нашим освобождением, тут же, очень выгодно для меня, разъяснили причину нашего падения. Я и буланый были тут ни в чем не причинны: все это было делом Селивана.

Это была первая хитрость, чтобы не допустить нас к его лесу; но, однако, она никого сильно не испугала, а, напротив, только привела всех в большое негодование и увеличила решимость во что бы то ни стало исполнить всю задуманную нами программу.

Нужно было только поднять телегу, поставить нас на ноги, смыть с нас где-нибудь у ручейка неприятную яичную слизь и посмотреть, что уцелело после нашего крушения из вещей, взятых для дневного продовольствия нашей многоличной группы.

Все это и было кое-как сделано. Меня и Роську вымыли у ручья, который бежал под самым Селивановым лесом, и когда глаза мои раскрылись, то свет мне показался очень невзрачным. Розовые платья девочек и мой новый бешмет из голубого кашемира были никуда не годны: покрывавшие их грязь и яйца совсем их испортили и не могли быть отмыты без мыла, которого мы с собой не захва-

тили. Чугун и сковородка были расколоты, от тагана валялись одни ножки, а от гитары Аполлинария остался один гриф с закрутившимися на нем струнами. Хлеб и другая сухая провизия были в грязи. По меньшей мере нам угрожал целоденный голод, если не считать ни во что других ужасов, которые чувствовались во всем окружающем. В долине над ручьем свистел ветер, а черный, еще не убраный зеленью лес шумел и зловеще махал на нас своими прутьями.

Настроение духа во всех нас значительно понизилось, — особенно в Роське, которая озябла и плакала. Но, однако, мы все-таки решились вступить в Селиваново царство, а дальше пусть будет что будет.

Во всяком случае, одно и то же приключение без какой-нибудь перемены не могло повториться.

Глава десятая

Все перекрестились и начали входить в лес. Входили робко и нерешительно, но каждый скрывал от других свою робость. Все только уговаривались как можно чаще переключаться. Но, впрочем, не оказалось и большой нужды в переключке, потому что никто далеко вглубь не ушел, все мы как будто случайно беспрестанно сучивались к краю и тянулись веревочкой вдоль опушки. Один Аполлинарий оказался смелее других и несколько углубился в чащу: он заботился найти самое глухое и страшное место, где его Декламация могла бы произвести как можно более ужасное впечатление на слушателей; но зато, чуть только Аполлинарий скрылся из вида, лес вдруг огласился его пронзительным, неистовым криком. Никто не мог себе вообразить, какая опасность встретила Аполлинария, но все его покинули и бросились бежать вон из леса на поляну, а потом, не оглядываясь назад, — дальше, по дороге к дому. Так бежали все Аннушки и все Моськи, а за ними, продолжая кричать от

страха, пронесся и сам педагог, а мы с маленьким братом остались одни.

Из всей нашей компании не осталось никого: нас покинули не только все люди, но бесчеловечному примеру людей последовала и лошадь. Перепуганная их криком, она замотала головою и, повернув прочь от леса, помчалась домой, разбросав по ямам и рытвинам все, что еще оставалось до сих пор в тележке.

Это было не отступление, а полное и самое позорное бегство, потому что оно сопровождалось не только потерей обоза, но и утратой всего здравого смысла, причем мы, дети, были кинуты на произвол судьбы.

Бог знает, что нам довелось бы испытать в нашем беспомощном сиротстве, которое было тем опаснее, что мы одни дороги домой найти не могли и наша обувь, состоявшая из мягких козловых башмачков на тонкой ранговой подшивке, не представляла удобства для перехода в четыре версты по сырым тропинкам, на которых еще во многих местах стояли холодные лужи. В довершение беды, прежде чем мы с братом успели себе предста-

вить вполне весь ужас нашего положения, по лесу что-то зарокотало, и потом с противоположной стороны от ручья на нас дунуло и потянуло холодной влагой.

Мы поглядели за лощину и увидали, что с той стороны, куда лежит наш путь и куда позорно бежала наша свита, неслась по небу огромная дождевая туча с весенним дождем и с первым весенним громом, при котором молодые девушки умываются с серебряной ложечки, чтобы самим стать белей серебра.

Видя себя в таком отчаянном положении, я готов был расплакаться, а мой маленький брат уже плакал. Он весь посинел и дрожал от страха и холода и, склонясь головою под кустик, жарко молился богу.

Бог, кажется, внял его детской мольбе, и нам было послано невидимое спасение. В ту самую минуту, когда прогремел гром и мы теряли последнее мужество, в лесу за кустами послышался треск, и из-за густых ветвей рослого орешника выглянуло широкое лицо незнакомого нам мужика. Лицо это показалось нам до такой степени страшным, что мы вскрикнули и стремглав бросились бежать к

ручью.

Не помня себя, мы перебежали лощину, кувырком слетели с мокрого, осыпавшегося бережка и прямо очутились по пояс в мутной воде, между тем как ноги наши до колен увязли в тине.

Бежать дальше не было никакой возможности. Ручей дальше был слишком глубок для нашего маленького роста, и мы не могли надеяться перейти через него, а притом по его струям теперь страшно сверкали зигзаги молнии – они трепетали и вились, как огненные змеи, и точно прятались в прошлогодних оставшихся водорослях.

Очутясь в воде, мы схватили друг друга за друга и стали в оцепенении, а сверху на нас уже падали тяжелы капли полившего дождя. Но это оцепенение и сохранило нас от большой опасности, которой мы никак бы не избежали, если бы сделали еще хотя один шаг далее в воду.

Мы легко могли поскользнуться и упасть, но, к счастью, нас обвили две черные жилистые руки – и тот самый мужик, который выглянул на нас страшно из орешника, ласково

проговорил:

– Эх вы, глупые ребятаки, куда залезли!

И с этим он взял и понес нас через ручей.

Выйдя на другой берег, он опустил нас на землю, снял коротенькую свитку, которая была у него застегнута у ворота круглою медною пуговкою, и обтер этою свиткою наши мокрые ноги.

Мы на него смотрели в это время совершенно потерянно и чувствовали себя вполне в его власти, но – чудное дело – черты его лица в наших глазах быстро изменялись. В них мы уже не только не видели ничего страшного, но, напротив, лицо его нам казалось очень добрым и приятным.

Это был мужик плотный, коренастый, с проседью в голове и в усах, – борода комком и тоже с проседью, глаза живые, быстрые и серьезные, но в устах что-то близкое к улыбке.

Сняв с наших ног, насколько мог, грязь и тину полою своей свитки, он даже совсем улыбнулся и опять заговорил:

– Вы того... ничего... не пугайтесь...

С этим он оглянулся по сторонам и продолжал:

– Ничего; сейчас большой дождь пойдет! (Он уже шел и тогда.) Вам, ребяташки, пешком не дойти.

Мы в ответ ему только молча плакали.

– Ничего, ничего, не голосите, я вас донесу на себе! – заговорил он и утер своею ладонью заплаканное лицо брата, отчего у того сейчас же показались на лице грязные полосы.

– Вон ишь, какие мужичьи руки-то грязные, – сказал наш избавитель и провел еще раз по лицу брата ладонью в другую сторону, – отчего грязь не убавилась, а только получила растушковку в другую сторону.

– Вам не дойти... Я вас поведу... да, не дойти... в грязи черевички [13] спадут.

– Умеете ли верхом ездить? – заговорил снова мужик.

Я взял смелость проронить слово и ответил:

– Умею.

– А умеешь, то и ладно! – молвил он и в одно мгновение вскинул меня на одно плечо, а брата – на другое, велел нам взяться друг с другом руками за его затылком, а сам покрыл нас своею свиткою, прижал к себе наши коле-

на и понес нас, скоро и широко шагая по грязи, которая быстро растворялась и чавкала под его твердо ступавшими ногами, обутыми в большие лапти.

Мы сидели на его плечах, покрытые его свитою. Это, должно быть, выходила пребогшая фигура, но нам было удобно: свита замочла от ливня и залубенела так, что нам под нею и сухо и тепло было. Мы покачивались на плечах нашего носильщика, как на верблюде, и скоро впали в какое-то каталептическое состояние, а пришли в себя у родника, на своей усадьбе. Для меня лично это был настоящий глубокий сон, из которого пробуждение наступало не разом. Я помню, что нас разворачивал из свиты этот самый мужик, которого теперь окружали все наши Аннушки, и все они вырывали нас у него из рук и при этом самого его за что-то немилосердно бранили, и свитку его, в которой мы были им так хорошо бережены, бросили ему с величайшим презрением на землю. Кроме того, ему еще угрожали приездом моего отца и тем, что они сейчас сбегают на деревню, позовут с цепями баб и мужиков и пустят на него собак.

Я решительно не понимал причины такой жестокой несправедливости, и это было не удивительно, потому что дома у нас, во всем господствовавшем теперь временном правлении, был образован заговор, чтобы нам ничего не открывать о том, кто был этот человек, которому мы были обязаны своим спасением.

– Ничем вы ему не обязаны, – говорили нам наши охранительницы, – а напротив, это он-то все и наделал.

По этим словам я тотчас же догадался, что нас спас не кто иной, как сам *Селиван*!

Глава одиннадцатая

Оно так и было. На другой день, ввиду возвращения родителей, нам это открыли и взяли с нас клятву, чтобы мы ни за что не говорили отцу и матери о происшедшей с нами истории.

В те времена, когда водились крепостные люди, иногда случалось, что помещичьи дети питали к крепостной прислуге самые нежные чувства и крепко хранили их тайны. Так было и у нас. Мы даже покрывали, как умели, грехи и проступки «своих людей» перед роди-

телями. Такие отношения упоминаются во многих произведениях, где описывается помещичий быт того времени. Что до меня, то мне наша детская дружба с нашими бывшими крепостными до сих пор составляет самое приятное и самое теплое воспоминание. Через них мы знали все нужды и все заботы жизни их родных и друзей на деревне и учились *жалеть народ*. Но этот добрый народ, к сожалению, сам не всегда был справедлив и иногда был способен для очень неважных причин бросить на ближнего темную тень, не заботясь о том, какое это может иметь вредное влияние. Так поступал «народ» и с Селиваном, об истинном характере и правилах которого не хотели знать ничего основательно, но смело, не боясь погрешить перед справедливостью, распространяли о нем слухи, сделавшие его для всех *пугалом*. И, к удивлению, все, что о нем говорили, не только казалось вероятным, но даже имело какие-то видимые признаки, по которым приходилось думать, что Селиван в самом деле человек дурной и что вблизи его уединенного жилища происходят страшные злодейства.

То же самое произошло и теперь, когда нас бранили те, на которых состояла обязанность охранять нас: они не только взвалили всю вину на Селивана, который спас нас от непогоды, но даже взвели на него новую напасть. Аполлинарий и все Аннушки рассказали нам, что когда Аполлинарий заметил в лесу хорошенький холм, с которого ему казалось удобно декламировать, – он побежал к этому холму через лощинку, засыпанную прошлогодним увядшим древесным листом, но здесь споткнулся на что-то мягкое. Это «мягкое» повернулось под ногами Аполлинария и заставило его упасть, а когда он стал вставать, то увидел, что это труп молодой крестьянской женщины. Он рассмотрел, что труп был в чистом белом сарафане с красным шитьем и... с перерезанным горлом, из которого лилась кровь...

От такой ужасной неожиданности, конечно, можно было перепугаться и закричать, – как он и сделал; но вот что было непонятно и удивительно: Аполлинарий, как я рассказываю, был от всех других в отдалении и один споткнулся о труп убитой, но все Аннушки и

Роськи клялись и божились, что они тоже видели убитую...

– Иначе, говорили они, – мы разве бы так испугались?

И я о сию пору уверен, что они не лгали, что они были глубоко уверены в том, что видели в Селивановом лесу убитую бабу в чистом крестьянском уборе с красны шитьем и с перерезанным горлом, из которого струилась кровь... Как это могло случиться?

Так как я пишу не вымысел, а то, что действительно было, то должен здесь остановиться и примолвить, что случай этот так и остался навсегда необъяснимым в доме нашем. Убитую и лежавшую, по словам Аполлинария, под листом в ямке женщину не мог видеть никто, кроме Аполлинария, ибо никого, кроме Аполлинария, здесь не было. Между тем все клялись, что все видели, точно эта мертвая баба в одно мгновение ока проявилась на всех местах под глазами у каждого. Кроме того, видел ли в действительности такую женщину и Аполлинарий? Едва ли это было возможно, потому что дело это происходило в самую росталь, когда еще и снег не

езде стоял. Древесный лист лежал под снегом с осени, а между тем Аполлинарий видел труп в чистом белом уборе с шитьем, и кровь из раны еще струилась... Ничего такого в этом виде положительного не могло быть, но между тем все крестились и клялись, что видели бабу как раз так, как сказано. И все после боялись ночью спать, и всем страшно было, точно все мы сделали преступление. Вскоре и я получил убеждение, что мы с братом тоже видели зарезанную бабу. Тут у нас началась всеобщая боязнь, окончившаяся тем, что все дело открылось родителям, а отец написал письмо исправнику – и тот приезжал к нам с предлинной саблей и всех расспрашивал по секрету в отцовском кабинете. Аполлинария исправник призывал даже два раза и во второй раз делал ему такое сильное внушение, что у того, когда он вышел, оба уха горели как в огне и из одного из них даже шла кровь.

Это мы тоже *все видели*.

Но как бы то ни было, мы нашими рассказами причинили Селивану много горя: его обыскивали, осматривали весь его лес и само-

го его содержали долгое время под караулом, но ничего подозрительного у него не нашли, и следов виденной нами убитой женщины тоже никаких не оказалось. Селиван опять вернулся домой, но это ему не помогло в общественном мнении; все с этих пор знали, что, он несомненный, хотя и неуловимый злодей, и не хотели иметь с ним ровно никакого дела. А меня, чтобы я не подвергался усиленному воздействию поэтического элемента, отвезли в «благородный пансион», где я и начал усваивать себе общеобразовательные науки, в полной безмятежности, вплоть до приближения рождественских праздников, когда мне настало время ехать домой опять непременно мимо Селиванова двора и видеть в нем собственными глазами большие страхи.

Глава двенадцатая

Дурная репутация Селивана давала мне большой апломб между моими пансионскими товарищами, с которыми я делился моими сведениями об этом страшном человеке. Из всех моих пансионерских сверстников ни один еще не переживал таких страшных ощущений, какими я мог похвастаться, и теперь, когда мне опять предстояло проехать мимо Селивана, – к этому никто не отнесся безучастно и равнодушно. Напротив, большинство товарищей меня сожалели и прямо говорили, что они не хотели бы быть на моем месте, а два или три смельчака мне завидовали и хвалились, что они бы очень хотели встретиться лицом к лицу с Селиваном. Но двое из этих были записные хвастунишки, а третий мог никого не бояться, потому что, по его словам, у его бабушки в *старинном венецийском кольце* был «*таусинный камень*», с которым к человеку «никакая беда неприступна» [14]. У нас же в семье такой драгоценности не было, да и притом я должен был совершить мое рождественское путешествие не на своих ло-

шадях, а с тетушкою, которая как раз перед святками продала дом в Орле и, получив за него тридцать тысяч рублей, ехала к нам, чтобы там, в наших краях, купить давно приторгованное для нее моим отцом имение.

К досаде моей, сборы тетушки целые два дня задерживались какими-то важными деловыми обстоятельствами, и мы выехали из Орла как раз утром в рождественский сочельник.

Ехали мы в просторной рогожной троечной кибитке, с кучером Спиридоном и молодым лакеем Борискою. В экипаже помещались тетушка, я, мой двоюродный брат, маленькие кузины и няня – Любовь Тимофеевна.

На порядочных лошадях при хорошей дороге до нашей деревеньки от Орла можно было доехать в пять или шесть часов. Мы приехали в Кромы в два часа и остановили у знакомого купца, чтобы напиться чаю и покормить лошадей. Такая остановка у нас была в обычае, да ее требовал и туалет моей маленькой кузины, которую еще пеленали.

Погода была хорошая, близкая почти к от-

тепели; но пока мы кормили лошадей, стало слегка морозить, и потом «закурило», то есть помело по земле мелким снежком.

Тетушка была в раздумье: переждать ли это или, напротив, поспешить, ехать скорее, чтобы успеть добраться к нам домой ранее, чем может разыгаться непогода.

Проехать оставалось с небольшим двадцать верст. Кучер и лакей, которым хотелось встретить праздник с родными и приятелями, уверяли, что мы успеем доехать благополучно – лишь бы только не медлить и выезжать скорее.

Мои желания и желания тетушки тоже вполне отвечали тому, чего хотели Спиридон и Бориска. Никто не хотел встретить праздник в чужом доме, в Кромах. Притом же тетушка была недоверчива и мнительна, а с нею теперь была такая значительная сумма денег, помещавшаяся в красного дерева шкапулочке, закрытой чехлом из толстого зеленого фризса.

Ночевать с таким денежным богатством в чужом доме тетушке казалось очень небезопасным, и она решилась послушаться совета

наших верных слуг.

С небольшим в три часа кибитка наша была запряжена, и мы выехали из Кром по направлению к раскольницкой деревне Колчеве; но едва лишь переехали по льду через реку Кром, как почувствовали, что нам как бы вдруг не достало воздуха, чтобы дышать полною грудью. Лошади бежали шибко, пофыркивали и мотали головами – это составляло верный признак, что и они тоже испытывали недостаток воздуха. Между тем экипаж несся особенно легко, точно его сзади подпихивали. Ветер был нам в зад и как бы гнал нас с усиленною скоростью к какой-то предначертанной меже. Скоро, однако, бойкий след по пути стал «заикаться»; по дороге пошли уже мягкие снеговые переносы, – они начали встречаться все чаще и чаще, наконец вскоре прежнего бойкого следа сделалось вовсе не видно.

Тетушка тревожно выглянула из возка, чтобы спросить кучера, верно ли мы держимся дороги, и сейчас же откинулась назад, потому что ее обдало мелкою холодною пылью, и, прежде чем мы успели дозваться к себе лю-

дей с козел, снег понесся густыми хлопьями, небо в мгновение стемнело, и мы очутились во власти настоящей снеговой бури.

Глава тринадцатая

Ехать назад к Кромам было так же опасно, как и ехать вперед. Даже позади чуть ли не было более опасности, потому что за нами осталась река, на которой было под городом несколько прорубей, и мы при метели легко могли их не разглядеть и попасть под лед, а впереди до самой нашей деревеньки шла ровная степь и только на одной седьмой версте — Селиванов лес, который в метель не увеличивал опасности, потому что в лесу должно быть даже тише. Притом в глубь леса проезжей дороги не было, а она шла по опушке. Лес нам мог быть только полезным указанием, что мы проехали половину дороги до дому, и потому кучер Спиридон погнал лошадей пошибче.

Дорога все становилась тяжелее и снежистее: прежнего веселого стука под полозьями не было и помина, а напротив, возок полз по рыхлому наносу и скоро начал бочить то в од-

ну, то в другую сторону.

Мы потеряли спокойное настроение духа и начали чаще осведомляться о нашем положении у лакея и у кучера, которые давали нам ответы неопределенные и нетвердые. Они старались внушить нам уверенность в нашей безопасности, но, очевидно, и сами такой уверенности в себе не чувствовали.

Через полчаса скорой езды, при которой кнут Спиридона все чаще и чаще щелкал по лошадам, мы были обрадованы восклицанием:

- Вот Селиванкин лес завиднелся.
- Далеко он? – спросила тетушка.
- Нет, вот совсем до него доехали.

Это так и следовало – мы ехали от Крон уже около часа, но прошло еще добрых полчаса – мы все едем, и кнут хлещет по коням все чаще и чаще, а леса нет.

- Что же это такое? Где Селиванов лес?

С козел ничего не отвечают.

– Где же лес? – переспрашивает тетушка, – проехали мы его, что ли?

– Нет, еще не проезжали, – глухо, как бы из-под подушки, отвечает Спиридон.

– Да что же это значит?

Молчание.

– Подите вы сюда! Остановитесь! Остановитесь!

Тетушка выглянула из-за фартука и из всех сил отчаянно крикнула: «Остановитесь!», а сама упала назад в возок, куда вместе с нею ввалилось целое облако снежных шапок, которые, подчиняясь влиянию ветра, еще не сразу сели, а тряслись, точно реющие мухи.

Кучер остановил лошадей, и прекрасно сделал, потому что они тяжело носили животными и шатались от усталости. Если бы им не дать в эту минуту передышки, бедные животные, вероятно, упали бы.

– Где ты? – спросила тетушка сошедшего Бориса.

Он был на себя не похож. Перед нами стоял не человек, а снежный столб. Воротник волчьей шубы у Бориса был поднят вверх и обвязан каким-то обрывком. Все это пропустило снегом и слепило в одну кучу.

Борис был не знаток дороги и робко отвечал, что мы *кажется*, сбились.

– Позови сюда Спиридона.

Звать голосом было невозможно: метель всем затыкала рты и только сама одна ревела и выла на просторе с ужасающим ожесточением.

Бориска полез на козла, чтобы потянуть Спиридона, но... ему на это потребовалось потратить очень много времени, прежде чем он стал снова у возка и объяснил:

– Спиридона нет на козлах!

– Как нет! где же он?

– Я не знаю. Верно, сошел поискать следа. Позвольте, и я пойду.

– О господи! Нет, не надо, – не ходи; а то вы оба пропадете, и мы все замерзнем.

Услыхав это слово, я и мой кузен заплакали, но в это же самое мгновение у возка рядом с Борисушкой появился снеговой столб, еще более крупный и страшный.

Это был Спиридон, надевший на себя запасной мочальный кулек, который стоял вокруг его головы, весь набитый и обмерзлый.

– Где же ты видел лес, Спиридон?

– Видел, сударыня.

– Где же он теперь?

– И теперь видно.

Тетушка хотела посмотреть, но ничего не увидела, все было темно. Спиридон уверял, что это оттого, что она «не обсмотремши»; но что он очень давно видит, как лес чернеет... только в том беда, что к нему подъезжаем, а он от нас отъезжает.

– Все это, воля ваша, Селивашка делает. Он нас куда-то заводит.

Услыхав, что мы попали в такую страшную пору в руки Селивашки, мы с кузеном заплакали еще громче, но тетушка, которая была по рождению деревенская барышня и потом полковая дама, она не так легко терялась, как городские дамы, которым всякие невзгоды меньше знакомы. У тетушки были опыт и сноровка, и они нас спасли из положения, которое в самом деле было очень опасно.

Глава четырнадцатая

Не знаю: верила или не верила тетушка в злое волшебство Селивана, но она прекрасно сообразила, что теперь всего важнее для нашего спасения, чтобы не выбились из сил наши лошади. Если лошади изнурятся и станут, а мороз закрепчает, то все мы непременно погибнем. Нас удушит буря и мороз заморозит. Но если лошади сохраняют силу для того, чтобы брести как-нибудь, шаг за шагом, то можно питать надежду, что кони, идучи по ветру, сами выйдут как-нибудь на дорогу и привезут нас к какому-нибудь жилью. Пусть это будет хоть нетопленая избушка на курьих ножках в овражке, но все же в ней хоть не бьет так сердито вьюга и нет этого дерганья, которое ощущается при каждом усилии лошадей переставить их усталые ноги... Там бы можно было уснуть... Уснуть ужасно хотелось и мне и моему кузену. На этот счет из нас счастлива была только одна маленькая, которая спала за теплою заячьей шубкой у няни, но нам двум не давали засыпать. Тетушка знала, что это страшно, потому что сонный

скорее замерзнет. Положение наше с каждой минутой становилось хуже, потому что лошади уже едва шли и сидевшие на козлах кучер и лакей начали от стужи застывать и говорить невнятным языком, а тетушка перестала обращать внимание на меня с братом, и мы, прижавшись друг к другу, разом уснули. Мне даже виделось веселые сны: лето, наш сад, наши люди, Аполлинарий, и вдруг все это перескочило к поездке за ландышами и к Селивану, про которого не то что-то слышу, не то только что-то припоминаю. Все спуталось... так что никак не разберу, что происходит во сне, что наяву. Чувствуется холод, слышится вой ветра и тяжелое хлопанье рогожки на крышке возка, а прямо перед глазами стоит Селиван, в свитке на одно плечо, а в вытянутой нам руке держит фонарь... Видение это, сон или картина фантазии?

Но это был не сон, не фантазия, а судьбе действительно угодно было привести нас в эту страшную ночь в страшный двор Селивана, и мы не могли искать себе спасения нигде в ином месте, потому что кругом не было вблизи никакого другого жилья. А между тем

с нами была еще тетушкина шкатулка, в которой находилось тридцать тысяч ее денег, составлявших все ее состояние. Как остановиться с таким соблазнительным богатством у такого подозрительного человека, как Селиван?

Конечно, мы погибли! Впрочем, выбор мог быть только в том, что лучше – замерзнуть ли на вьюге или пасть под ножом Селивана и его злых сообщников?

Глава пятнадцатая

Как во время короткого мгновения, когда сверкнет молния, глаз, находившийся в темноте, вдруг различает разом множество предметов, так и при появлении осветившего нас Селиванова фонаря я видел ужас всех лиц нашего бедствующего экипажа. Кучер и лакей чуть не повалились перед ним на колена и остолбенели в наклоне, тетушка подалась назад, как будто хотела продавить спинку кибитки. Няня же припала лицом к ребенку и вдруг так сократилась, что сама сделалась не больше ребенка.

Селиван стоял молча, но... в его некраси-

вом лице я не видал ни малейшей злости. Он теперь казался только сосредоточеннее, чем тогда, когда нес меня на закорках. Оглядев нас, он тихо спросил:

– Отогреться что ли?..

Тетушка оправилась скорее других и ответила ему:

– Да, мы замерзаем... Спаси нас!

– Пусть Бог спасет! Въезжайте – изба теплее.

И он сошел с порога и стал светить фонарем в кибитке. Между прислугою, тетушкою и Селиваном перекидывались отдельные коротенькие фразы, обнаружившие со стороны нашей недоверие к хозяину и страх, а со стороны Селивана какую-то далеко скрытую мужичью иронию и, пожалуй, тоже своего рода недоверие.

Кучер спрашивал, есть ли корм лошадям?

Селиван отвечал:

– Поищем.

Лакей Борис узнавал, есть ли *другие* проезжие?

– Взойдешь – увидишь, – отвечал Селиван.

Няня проговорила:

– Да у тебя не страшно ли оставаться?

Селиван отвечал:

– Страшно, так не заходи.

Тетушка остановила их, сказавши каждому как могла тише:

– Оставьте, не перекооряйтесь, – все равно это ничему поможет. Дальше ехать нельзя. Останемся на волю божью.

И между тем, пока шла эта перемолвка, мы очутились в дощатом отделении, отгороженном от просторной избы. Впереди всех вошла тетушка, а за нею Борис внес ее шкатулку. Потом вошли мы с кузеном и няня.

Шкатулку поставили на стол, а на нее поставили жестяной оплывший салом подсвечник с небольшим огарком, которого могло достать на один час, не больше.

Практическая сообразительность тетушки сейчас же обратилась к этому предмету, то есть к свечке.

– Прежде всего, – сказала она Селивану, – принеси-ка мне, батюшка, новую свечку.

– Вот свечка.

– Нет, ты дай новую, целую!

– Новую, целую? – переспросил Селиван,

опираясь одною рукою на стол, а другою о шкатулку.

– Давай поскорей новую целую свечку.

– Зачем тебе целую?

– Это не твое дело – я не скоро спать лягу.

Может быть, буря пройдет – мы поедем.

– Буря не пройдет.

– Ну все равно – я тебе за свечку заплачу.

– Знамо заплатила б, да нет у меня свечки.

– Поищи, батюшка!

– Что неположенного искать попусту!

В этот разговор вмешался неожиданно слабый-преслабый тонкий голос из-за перегородки.

– Нет у нас, матушка, свечечки.

– Кто это говорит? – спросила тетушка.

– Моя жена.

Лица тетки и няни немножко просияли. Близкое присутствие женщины, казалось, имело что-то ободряющее.

– Что она, больна, что ли?

– Больна.

– Чем?

– Хворостью. Ложитесь, мне огарок в фонарь нужен. Надо лошадей ввесть.

И как с Селиваном ни разговаривали, он настоял на своем: что огарок ему необходим, да и только. Он обещал принести его снова – но пока взял его и вышел.

Исполнил ли Селиван свое обещание принести назад огарок, – этого я уже не видел, потому что мы с кузеном опять спали, но меня, однако, что-то тревожило. Сквозь сон я слышал иногда шушуканье тетушки с няней и улавливал в этом шепоте чаще всего слово «шкатулка».

Очевидно, няня и другие наши люди знали, что в этом ларце сокрыты большие драгоценности, и все заметили, что шкатулка с первого же мгновения остановила на себе алчное внимание нашего неблагонадежного хозяина.

Обладавшая большою житейскою опытностью, тетушка моя видела явную необходимость подчиняться обстоятельствам, но зато тотчас же сделала соответственные опасному положению распоряжения.

Чтобы Селиван не зарезал нас, решено было, чтобы никто не спал. Лошадей велено было выпрячь, но не снимать с них хомутов, и

кучеру с лакеем сидеть обоим в повозке: они не должны были разъединяться, потому что поодиночке Селиван их перебьет, и мы тогда останемся беспомощны. Тогда он убьет, конечно, и нас и всех нас зарует под полом, где зарыто уже и без того множество жертв его лютой. В избе с нами кучер и лакей не могли быть оставлены, потому что тогда Селиван обрежет гужи в коренном хомуте, чтобы нельзя было запрещь лошадей, или совсем сдаст всю тройку своим товарищам, которые у него пока где-то припрятаны. В таком случае нам не на чем будет и спастись, между тем как очень может статься, что метель скоро уляжется, и тогда кучер станет запрягать, а Борис стукнет три раза в стенку, и мы все бросимся на двор, сядем и уедем. Для того чтобы быть постоянно наготове, и из нас никто не раздевался.

Не знаю, долго ли или коротко шло время для прочих, но для нас, двух спящих мальчиков, оно пролетело как одно мгновение, которое вдруг завершилось ужаснейшим пробуждением.

Глава шестнадцатая

Я проснулся оттого, что мне стало невыносимо тяжело дышать. Открыв глаза, я не увидел ничего ровно, потому что вокруг меня было темно, но только в отдалении что-то как будто серело: это обозначалось окно. Но зато, как при свете Селиванова фонаря я разом увидел лица всех бывших на той ужасной сцене людей, так теперь я в одно мгновение вспомнил все – кто я, где я, зачем я здесь, кто есть у меня милые и дорогие в отцовском доме, – стало всего и всех жалко, и больно, и страшно, и мне хотелось закричать, но это-то и было невозможно. Мои уста были зажаты плотно человеческою рукою, а на ухо трепетный голос шептал мне:

– Ни звука, молчи, ни звука! Мы погибли – к нам ломаются.

Я узнал теткин голос и пожал ее руку в знак того, что я понимаю ее требование.

За дверями, которые выходили в сени, слышался шорох... кто-то тихо переступал с ноги на ногу и водил по стене руками... Очевидно, этот злодей искал, но никак не мог

найти двери...

Тетушка прижала нас к себе и прошептала, что бог нам еще может помочь, потому что в дверях ею устроено укрепление. Но в это же самое мгновение, может быть именно потому, что мы выдали себя своим шепотом и дрожью, за тесовой перегородкой, где была изба и откуда при разговоре о свечке отзывалась жена Селивана кто-то выбежал и сцепился с тем, кто тихо подкрадывался к нашей двери, и они вдвоем начали ломиться; дверь за рещала, и к нашим ногам полетели стол, скамья и чемоданы, которыми заставилась тетушка, а в самой распахнувшейся двери появилось лицо Борисушки, за шею которого держались могучие руки Селивана...

Увидав это, тетушка закричала на Селивана и бросилась к Борису.

– Матушка! Бог спас, – хрипел Борис.

Селиван принял свои руки и стоял.

– Скорее, скорей вон отсюда, – заговорила тетушка. – Где наши лошади?

– Лошади у крыльца, матушка, я только хотел вас вызвать... А этот разбойник... бог спас, матушка! – лепетал скороговоркою Борис,

хватая за руки меня и моего кузена и забирая по дороге все, что попало. Все врозь бросились в двери, вскочили в повозку и понеслись вскачь сколько было конской мочи. Селиван, казалось, был жестоко переконфужен и смотрел нам вслед. Он, очевидно, знал, что это не может пройти без последствий.

На дворе теперь светало, и перед нами на востоке горела красная, морозная рождественская заря.

Глава семнадцатая

Мы доехали до дому не более как в полчас, во все время безумолчно толкуя о пережитых нами страхах. Тетушка, няня, кучер и Борис все перебивали друг друга и беспрестанно крестились, благодаря бога за наше удивительное спасение. Тетушка говорила, что она не спала всю ночь, потому что ей беспрестанно слышалось, как кто-то несколько раз подходил, пробовал отворить двери. Это и понудило ее загромоздить вход всем, что попало под ее руки. Она тоже слышала какой-то подозрительный шепот за перегорождкою у Селивана, и ей казалось, что он раз ти-

хонько отворял свою дверь, выходил в сени и тихонько пробовал за скобку нашей двери. Все это слышал и няня, хотя она, по ее словам, минутами засыпала. Кучер и Борис видели более всех. Боясь за лошадей, кучер не отходил от них ни на минуту, но Борисушка не раз подходил к нашим дверям и всякий раз, как подходил он, — сию же минуту появлялся из своих дверей и Селиван. Когда буря перед рассветом утихла, кучер и Борис тихонько запрягли лошадей и тихонько же выехали, сами отперев ворота; но когда Борис также тихо подошел опять к нашей двери, чтобы нас вывести, тут Селиван увидал, что добыча уходит у него из рук, бросился на Бориса и начал его душить. Слава богу, конечно, что это ему не удалось, и он теперь уже не отделается одними подозрениями, как отделялся до сих пор: его злые намерения были слишком ясны и слишком очевидны, и все это происходило не с глазу на глаз с каким-нибудь одним человеком, а при шести свидетелях, из которых тетушка одна стояла по своему значению нескольких, потому что она слыла во всем городе умницею и к ней, несмотря на ее среднее

состояние, заезжал с визитами губернатор, а наш тогдашний исправник был ей обязан устройством своего семейного благополучия. По одному ее слову он, разумеется, сейчас же возьмется расследовать дело по горячим следам, и Селивану не миновать петли, которую он думал накинуть на наши шеи.

Сами обстоятельства, казалось, слагались так, что все собиралось к немедленному отъезду за нас Селивану и к наказанию его за зверское покушение на нашу жизнь и имущество.

Подъезжая к своему дому, за родником на горе, мы встретили верхового парня, который, завидев нас, чрезвычайно обрадовался, заболтал ногами по бокам лошади, на которой ехал, и, сняв издали шапку, подскакал к нам с сияющим лицом и начал рапортовать тетушке, какое мы причинили дома всем беспокойство.

Оказалось, что отец, мать и все домашние тоже не спали. Нас непременно ждали, и с тех пор, как вечером разыгрываться метель, все были в большой тревоге – не сбились ли мы с дороги или не случилось ли с нами какое-ни-

будь другое несчастье: могла сломаться в ухабе оглобля, – могли напасть волки... Отец высылал навстречу нам несколько человек верховых людей с фонарями, но буря рвала из рук и гасила фонари, да и ни люди, ни лошади никак не могли отбиться от дома. Топочется человек очень долго – все ему кажется, будто он едет против бури, и вдруг остановка, и лошадь ни с места далее. Седок ее понуждает, хотя и сам едва дышит от задухи, но конь не идет... Вершник слезет, чтобы взять повод и провести оробевшее животное, и вдруг, к удивлению своему, открывает, что лошадь его стоит, упершись лбом в стену конюшни или сарая... Только один из разведчиков уехал немножко далее и имел настоящую дорожную встречу: это был шорник Прохор. Ему дали выносную форейтorskую лошадь, которая закусывала между зубами удила, так что железо до губ ее не дотрагивалось, и ей через то становились нечувствительны никакие удержки. Она и понесла Прохора в самый адметели и скакала долго, брыкая задом и загибая голову к передним коленам, пока, наконец, при одном таком вольте шорник переле-

тел через ее голову и всю свою фигуру ввалился в какую-то странную кучу живых людей, не оказавших, впрочем, ему с первого раза никакого дружелюбия. Напротив, из них кто-то тут же снабдил его тумакom в голову, другой сделал поправку в спину, а третий стал мять ногами и приталкивать чем-то холодным, металлическим и крайне неудобным для ощущения.

Прохор был малый не промах, – он понял, что имеет дело с особенными существами, и неистово закричал.

Испытываемый им ужас, вероятно, придал его голосу особенную силу, и он был немедленно услышан. Для спасения его тут же, в трех от него шагах, показалось «огненное светение». Это был огонь, который выставили на окне в нашей кухне, под стеною которой приютились исправник, его письмоводитель, рассыльный солдат и ямщик с тройкою лошадей, увязших в сугробе.

Они тоже сбились с дороги и, попав к нашей кухне, думали, что находятся где-то на лугу у сеного омета.

Их откопали и просили кого на кухню, ко-

го в дом, где исправник теперь и кушал чай, собираясь поспеть к своим в город ранее, чем они проснутся и встревожатся его отсутствием после такой ненастной ночи.

– Вот это прекрасно, – сказала тетушка, – исправник теперь всех нужнее.

– Да! он барин хватский, – он Селивашке задаст! подхватили люди, и мы понеслись вскачь и подкатили к дому, когда исправникова тройка стояла еще у нашего крыльца.

Сейчас исправнику все расскажут, и через полчаса разбойник Селиван будет уже в его руках.

Глава восемнадцатая

Мой отец и исправник были поражены тем, что мы перенесли в дороге и особенно в разбойничьем доме Селивана, который хотел нас убить и воспользоваться нашими вещами и деньгами...

Кстати, о деньгах. При упоминании о них, тетушка сейчас же воскликнула:

– Ах, боже мой! да где же моя шкатулка?

В самом деле, где же эта шкатулка и лежащие в ней тысячи?

Представьте себе, что ее не было! Да, да, ее-то одной только и не было ни в комнатах между внесенными вещами, ни в повозке – словом, нигде... Шкатулка, очевидно, осталась там и теперь – в руках Селивана... Или... может быть, даже он ее еще ночью выкрал. Ему ведь это было возможно; он, как хозяин, мог знать все щелки своего дрянного дома, и этих щелок у него, наверно, не мало. Могла у него быть и подъемная половица и приставная дощечка в перегородке.

И едва только опытным в отслеживании разбойничьих дел исправником было выска-

зано последнее предположение о приставной дощечке, которую Селиван мог ночью тихонько отставить и через нее утащить шкапулку, как тетушка закрыла руками лицо и упала в кресло.

Боясь за свою шкапулку, она именно спрятала ее в уголок под лавкою, которая приходилась к перегородке, отделяющей наше ночное помещение от той части избы, где оставался сам Селиван с его женою...

– Ну, вот оно и есть! – воскликнул, радуясь верности своих опытных соображений, исправник. – Вы сами ему подставили вашу шкапулку!.. но я все-таки удивляюсь, что ни вы, ни люди, никто ее не хватился, когда вам пришло время ехать.

– Да боже мой! мы были все в таком страхе! – стонала тетушка.

– И это правда, правда; я вам верю, – говорил исправник, – вам было чего напугаться, но все-таки... такая большая сумма... такие хорошие деньги. Я сейчас скачу, скачу туда... Он, верно, уже скрылся куда-нибудь, но он с меня не уйдет! Наше счастье, что все знают, что он вор, и все его не любят: его никто не

станет скрывать... А впрочем – теперь у него в руках есть деньги... он может делиться... Надо спешить... Народ ведь шельма... Прощайте, я еду. А вы успокойтесь, примите капли... Я их воровскую натуру знаю и уверяю вас, что он будет пойман.

И исправник опоясался своею саблею, как вдруг в передней послышалось между бывшими там людьми необыкновенное движение, и... через порог в залу, где все мы находились, тяжело дыша, вошел Селиван с тетешкиной шкатулкой в руках.

Все вскочили с мест и остановились как вкопанные...

– Укладочку забыли, возьмите, – глухо произнес Селиван.

Более он ничего не мог говорить, потому что совсем задышался от непомерной скорой ходьбы и, может быть, от сильного внутреннего волнения.

Он поставил шкатулку на стол, а сам, никем не прощенный, сел на стул и опустил голову и руки.

Глава девятнадцатая

Шкатулка была в полной целости. Тетушка сняла с шеи ключик, отперла ее и воскликнула:

– Все, все как было!

– Сохранно... – тихо молвил Селиван. – Я все бёг за вами... хотел догнать... не сдужал... Простите, что сижу перед вами... задохнулся.

Отец первый подошел к нему, обнял его и поцеловал в голову.

Селиван не трогался.

Тетушка вынула из шкатулки две сотенные бумажки и стала давать их ему в руки.

Селиван продолжал сидеть и смотреть, словно ничего не понимал.

– Возьми что тебе дают, – сказал исправник.

– За что? – не надо!

– За то, что ты честно сберег и принес забытые у тебя деньги.

– А то как же? Разве надо не честно?

– Ну, ты... хороший человек... ты не подумал утаить чужое.

– Утаить чужое!.. – Селиван покачал голо-

вой и добавил: – Мне не надо чужого.

– Но ведь ты беден – возьми это себе на поправку! – ласкала его тетушка.

– Возьми, возьми, – убеждал его мой отец. – Ты имеешь на это право.

– Какое право?

Ему сказали про закон, по которому всякий, кто найдет и возвратит потерянное, имеет право на третью часть находки.

– Что такой за закон, – отвечал он, снова отстраняя от себя тетушкину руку с бумажками. – Чужою бедою не разживешься... Не надо! – прощайте!

И он встал с места, чтобы идти назад к своему опороченному дворишку, но отец его не пустил: он взял его к себе в кабинет и заперся там с ним на ключ, а потом через час велел запечь сани и отвезти его домой.

Через день об этом происшествии знали в городе и в округе, а через два дня отец с тетушкой поехали в Кромь и, остановясь у Селивана, пили в его избе чай и оставили его жене теплую шубу. На обратном пути они опять заехали к нему и еще привезли ему подарков: чаю, сахару и муки. Он брал все веж-

ливо, но неохотно и говорил:

– На что? Ко мне теперь, вот уже три дня, все стали люди заезжать... пошел доход... щи варили... Нас не боятся, как прежде боялись.

Когда меня повезли после праздников в пансион, со мною опять была к Селивану посылка, и я пил у него чай и все смотрел ему в лицо и думал:

«Какое у него прекрасное, доброе лицо! Отчего же он мне и другим так долго казался *пугалом*?»

Эта мысль преследовала меня и не оставляла в покое... Ведь это тот же самый человек, который всем представлялся таким страшным, которого все считали колдуном и злодеем. И так долго все выходило похоже на то, что он только тем и занят, что замышляет и устраивает злодеяния. Отчего же он вдруг стал так хорош и приятен?

Глава двадцатая

Я был очень счастлив в своем детстве в том отношении, что первые уроки религии мне были даны превосходным христианином. Это был орловский священник Остромыслений – хороший друг моего отца и друг всех нас, детей, которых он умел научить любить правду и милосердие. Я не рассказывал товарищам ничего о том, что произошло с нами в рождественскую ночь у Селивана, потому что во всем этом не было никакой похвалы моей храбрости, а, напротив, над моим страхом можно было посмеяться, но я открыл все мои приключения и сомнения отцу Ефиму.

Он меня поласкал рукою и сказал:

– Ты очень счастлив; твоя душа в день рождества была – как ясли для святого младенца, который пришел на землю, чтоб пострадать за несчастных. Христос озарил для тебя тьму, которою окутывало твое воображение – пусторечие темных людей. Пугало было не Селиван, а вы сами, – ваша к нему подозрительность, которая никому не позволяла ви-

деть его добрую совесть. Лицо его казалось вам темным, потому что око ваше было темно. Наблюдай это для того, чтобы в другой раз не быть таким же слепым.

Это был совет умный и прекрасный. В дальнейшие годы моей жизни я сблизился с Селиваном и имел счастье видеть, как он у всех сделался человеком любимым и почетным.

В новом имении, которое купила тетушка, был хороший постоялый двор на проезжем трактовом пункте. Этот двор она и предложила Селивану на хороших для него условиях, и Селиван это принял и жил в этом дворе до самой своей кончины. Тут сбылись мои давние детские сны: я не только близко познакомился с Селиваном, но мы питали один к другому полное доверие и дружбу. Я видел, как изменилось к лучшему его положение – как у него в доме водворилось спокойствие и мало-помалу заводился достаток; как вместо прежних хмурых выражений на лицах людей, встречавших Селивана, теперь все смотрели на него с удовольствием. И действительно, вышло так, что как только просветились очи

окружавших Селивана, так сделаюсь светлым и его собственное лицо.

Из тетушкиных людей Селивана особенно не любил лакей Борисушка, которого Селиван чуть не задушил в ту памятную нам рождественскую ночь.

Над этой историей иногда подшучивали. Случай этой и объяснялся тем, что как у всех было подозрение – не ограбил бы тетушку Селиван, так точно и Селиван имел сильное подозрение: не завезли ли нас кучер и лакей на его двор нарочно с тем умыслом, чтобы украсть здесь ночью тетушкины деньги и потом свалить все удобнейшим образом на подозрительного Селивана.

Недоверие и подозрительность с одной стороны вызывали недоверие же и подозрения – с другой, – и всем казалось, что все они – враги между собою и все имеют основание считать друг друга людьми, склонными ко злу.

Так всегда зло родит другое зло и побеждается только добром, которое, по слову Евангелия, делает око и сердце наше чистыми.

Глава двадцать первая

Остается досказать, отчего же, однако, с тех пор, как Селиван ушел от калачника, он стал угрюм и скрытен? Кто тогда его огорчил и оттолкнул?

Отец мой, будучи расположен к этому доброму человеку, всё-таки думал, что у него есть какая-то тайна, которую Селиван упорно скрывает.

Это так и было, но Селиван открыл свою тайну одной только тетушке моей, и то после нескольких лет жизни в ее имении и после того, когда у Селивана умерла его всегда болевшая жена.

Когда я раз приехал к тетушке, бывши уже юношею, и мы стали вспоминать о Селиване, который и сам незадолго перед тем умер, то тетушка рассказала мне его тайну.

Дело заключалось в том, что Селиван, по нежной доброте своего сердца, был тронут горестной судьбою беспомощной дочери умершего в их городе отставного палача. Девочку эту никто не хотел приютить, как дитя человека презренного. Селиван был беден, и при-

том он не мог решиться держать у себя пала-
чову дочку в городке, где ее и его все знали.
Он должен был скрывать от всех ее проис-
хождение, в котором она была неповинна.
Иначе она не избежала бы тяжких попреков
от людей, неспособных быть милостивыми и
справедливыми. Селиван скрывал ее потому,
что постоянно боялся, что ее узнают и оскор-
бят, и эта скрытность и тревога сообщились
всему его существу и отчасти на нем отпечат-
лелись.

Так, каждый, кто называл Селивана «пуга-
лом», в гораздо большей мере сам был для
него «пугалом».

*Впервые опубликовано – журнал «Заду-
шевное слово», 1885.*

Фигура

Глава первая

Когда я еще просвещался в Киеве и в отдаленных думах не имел заниматься писательством, у меня завязалось одно знакомство с бедным, но благородным семейством, жившим в маленьком собственном домике в самом отдаленном краю города, близ упраздненного Кирилловского монастыря. Семейство состояло из двух пожилых сестер, девушек, и из третьей – старушки, их тетки, – тоже девушки. Жили они скромно, на очень маленькую пенсию и на доход от своих коров и от своего огорода. В гостях у них бывали только три человека: известный русский аболиционист Дмитрий Петрович Журавский, я и еще оригинальный, с виду совсем похожий на крестьянина человек, которого фамилия была Вигура, но все называли его «Фигура».

Об нем здесь и будет поминальная речь.

Глава вторая

Фигура, или, по малороссийскому простому выговору, «Хвыгура», во время моего знакомства имел лет около шестидесяти, но обладал еще значительною силою и никогда не жаловался на нездоровье. Он имел огромный рост и атлетическое сложение: волосы у него были густые, коричневые, почти без проседи, но усы «сивые». По собственному его выражению, он «сивив з морды – як пес», то есть седел, начиная не с головы, а с усов – как седеют старые собаки. Борода у него тоже была бы седая, но он ее брил. Глаза у Фигуры были большие, серые с поволокою, губы румяные, цвет лица смуглый и загорелый. Взгляд его имел выражение смелое, умное и с оттенком затаенной малороссийской иронии.

Жил Фигура совершенным, настоящим подгородным мужиком, на предместии Куриневке, «у своей господи», то есть в собственной усадьбе и при собственном хозяйстве, которое вел в сотрудничестве молодой и чрезвычайно красивой крестьянки Христи. Фигура все работал своими собственными руками

и все содержал в простом, но безукоризненном порядке. Он сам «копал огород», сам его возделывал и засеивал овощами и сам же вывозил эти овощи на Подол, на Житний базар, где становился со своею телегою в ряду с другими приезжими мужиками и продавал свои огурцы, гбрбузы (тыквы), дыни, капусту, бураки и репку.

Торговал Фигура лучше других, потому что его овощи всегда отличались лучшим достоинством. Особенно славились его нежные и сладкие тыквы, чрезвычайно больших размеров, доходившие иногда до пуда веса.

Также и огурцы, и бураки, и капуста – все у Фигуры было самое рослое и самое лучшее.

Перекупки подольского Житнего базара знали, что «проть Хвыгуры вже не учкнешь», – то есть лучше его ни у кого не достанешь, – но он не любил продавать перекупкам «щоб людей не мордовали», а продавал прямо «людям», то есть прямым потребителям.

К перекупам и перекупкам Фигура «мав зуба» (имел зуб) и любил проникать хитрости этих людей и их вышучивать. Как, бывало,

перекуп или перекупка ни переоденутся или кого ни подошлют к возу с подсылком, чтобы забрать товар у Фигуры, – он, бывало, это сейчас проникнет и на вопрос «почем копб» – отвечает:

– По деньгам, але тыльки шкода що не для твоей милости.

Если же подсылный станет уверять, что он простой человек и торгует «для себе», то Фигура, не вынимая из губ трубки, скажет ему:

– Эге! ну, не юлы – бо не покуришь! – и больше не станет разговаривать.

Фигуру все знали на базаре и знали, что он «як бы то не с простых людей, а тильки опростывся», но настоящего его чина и звания и того – почему он так «опростывся» – не знали и узнать этого не добивались.

Я тоже долго этого не знал, а настоящего его чина и теперь не знаю.

Глава третья

Доми́к у Фигуры был обыкновенная мало-российская мазанка, разделенная, впрочем, на комнатку и кухню. Ел он пищу всегда растительную и молочную, но самую простую – крестьянскую, которую ему готовила вышеупомянутая замечательной красоты хохлушка Христя. Христя была «покрытка», то есть девушка, имевшая дитя. Дитя это была прехорошенькая девочка, по имени Катря. По соседству думали, что она «хвыгурина дочкб», но Фигура на это делал гримасу и, пыхнув губами, отвечал:

– Так-то оно и есть, що моя! Правда, що як бог мени дав щасте, щоб ее кормить, то тим вона теперечки моя, – а кто ее на свит бидовать пустив, то я вже того добродия не знаю. Але як кто хоче – нехай так и личе: як моя – то нехай моя, – мени все еди́но.

Но насчет Катри еще немножко сомневались; а что касается самой красавицы Христи, то ее уже считали за «дружину» Фигуры без всяких сомнений.

Фигура и к этому тоже пребывал равноду-

шен, и если ему кто-нибудь Христей подшучивал, так он отвечал только:

– А вам хибя завидно?

Зато же и Фигура и Христя, да и ни в чем не повинная Катря несли епитимию: из них трех никто не употреблял в пищу ни мяса, ни рыб – словом, ничего, имеющего сознание жизни.

Куриневские жинки знали, за что эта епитимия положена.

Фигура же только усмехался и говорил:

– Дуры!

Глава четвертая

Отношения у Христи с Фигурою были приятные, но такие, что ничего ясно не раскрывали.

Христя держалась в доме не как наймычка при хозяйке, а как будто своя родная, живущая у родственника. Она «тягала воду» из колодца, мыла полы, и хату мазала, и белье стирала, и шила себе, Катре и Фигуре, но коров не доила, потому что коровы были «мощные», и их выдаивал сам Фигура соответственными к сему великомощными руками. Обедали они

все трое за одним столом, к которому Христя «подносила» и «убирала». Чаю не пили вовсе, «бо це пуста повадка», а в праздники пили сушеные вишни или малину – и опять все за одним столом. Гости у них бывали только те пожилые барышни, Журавский да я. При нас Христя «бигала и митусилась», то есть хлопотала, и ее с трудом можно было усадить на минуту; но когда гости вставали, чтоб уходить, Христя быстро срывалась с места и неудержимо стремилась подавать всем верхнее платье и калоши. Гости сопротивлялись ее услугам, но она настаивала, и Фигура за нее заступался; он говорил гостям:

– Позвольте ей свою присягу исполнить.

Христя успокаивалась только тогда, когда гости позволяли ей себя «одеть и обуть як слид по закону». В этом была «ее присяга» – ее служебное назначение, которому простодушная красавица оставалась преданною и верной.

В разговоре между собою Фигура и Христя относились друг к другу в разных формах: Фигура говорил ей «ты» и называл ее Христино или Христя, а она ему говорила «вы» и назы-

вала его по имени и отчеству. Девочку Катрю оба они называли «дочкою», а она кликала Фигуру «татою», а Христа «мамой». Катре было девять лет, и она была вся в мать – красавица.

Глава пятая

Родственных связей ни у Фигуры, ни у Христа никаких не было. Христа была «безродна сиротина», а у Фигуры (правильно Вигуры) хотя и были родственники, из которых один служил даже в университете профессором, – но наш куриневский Фигура с этими Вигурами никаких сношений не имел – «бо вони з панами знались», а это, по мнению Фигуры, не то что нехорошо, а «якось – не до шмыги» (то есть не идет ему).

– Бог их церковный знае: они вже може яки асессоры, чи якись таки сяки советники, а мы, як и з рыла бачите – из простых свиней.

В основе же своего характера и всех поступков куриневский Фигура был такая оригинальная личность, что даже снимает всю нелепость с пословицы, внушающей ценить человека битого – дороже небитого.

Вот один его поступок, имевший значение для всей его жизни, которая через этот самый поступок и определилась. О нем едва ли кто знал и едва ли знает, а я об этом слышал от самого Фигуры и перескажу, как помню.

Глава шестая

Я жил в Киеве, в очень многолюдном месте, между двумя храмами – Михайловским и Софийским, – и тут еще стояли тогда две деревянные церкви. В праздники здесь было так много звона, что бывало трудно выдержать, а внизу по всем улицам, сходящим к Крещатику, были кабаки и пивные, а на площадке балаганы и качели. Ото всего этого я спасался на такие дни к Фигуре. Там была тишина и покой: играло на травке красивое дитя, светили добрые женские очи, и тихо разговаривал всегда разумный и всегда трезвый Фигура.

Раз я ему и стал жаловаться на беспокойство, спозаранку начавшееся в моем квартале, а он отвечает:

– И не говорите. Я сам нашего русского празднования с детства переносить не могу, и все до сих пор боюсь: как бы какой беды не

было. Бывало, нас кадетами проводят под качели и еще говорят: «Смотрите – это народное!» А мне еще и тогда казалось: что тут хорошего – хоть бы это и народное! У Исаии пророка читается: «праздники ваши ненавидит душа моя», – и я недаром имел предчувствие, что со мною когда-нибудь в этом разгуле дурное случится. Так и вышло, да только хорошо, что все дурное тогда для меня повертилось на доброе.

– А можно узнать, что это такое было?

– Я думаю, что можно. Видите... это еще когда вы у бабушки в рукаве сидели, – тогда у нас были две армии: одна называлась первая, а другая – вторая. Я служил под Сакеном... Вот тот самый Ерофеич, что и теперь еще всё акафисты читает [15]. Великий, бог с ним, был богомолец, все на коленях молился, а то еще на пол ляжет и лежит, и лежит долго, и куда ни идет, и что ни берет – все крестится. Ему тогда и многие другие в этом в армии старались подражать и заискивали, чтоб он их видел... Которые умели – хорошо выходило... И мне это раз помогло так, что я за это до сих пор пенсию получаю. Вот каким это было случа-

ем.

Глава седьмая

Полк наш стоял на юге, в городе, – тут же был и штаб сего Ерофеича. И попало мне идти в караул к погребам с порохом, под самое Светлое воскресенье. Заступил я караул в двенадцать часов дня в чистую субботу, и стоять мне до двенадцати часов в воскресенье.

Со мною мои армейские солдаты, сорок два человека, и шесть объездных казаков.

Стал надходить вечер, и мне вдруг начало делаться чего-то очень грустно. Молодой человек был, и привязанности были семейные. Родители еще были живы и сестра... но, самое главное, и драгоценнейшее матери... матери моя добродетельница!.. Чудесная у меня была матери – предобрая и пренепорочная – добром скрытая и в добре повитая... До того была милостива, что никого не могла огорчить, ни человека, ни животного, – даже ни мяса, ни рыбы не кушала, из сожаления к животным. Отец, бывало, спорит: «Помилуй, скажи: сколько ж их разродится? Деваться будет некуда». А она отвечает: «Ну, это еще когда-то

будет, а я этих сама выкормила, так они мне как родные. Я не могу своих родных есть». И у соседей не ела: «Этих, – говорила, – я живых видела: они мне знакомые, – не могу есть своих знакомых». А потом и незнакомых не стала кушать. «Все равно, – говорит, – с ними убийство сделано». Священник ее уговаривал, что «это от Бога показано», и в требнике на освящение мясов молитву показывал, но ее не переспорил. «Ну, и хорошо, – отвечала она, – як вы прочитали, то вы и кушайте». Священник сказал отцу, что это всё делают какие-нибудь «поныряющие в дома и прельщающие женища, всегда учащиеся и ни коли же в разум прийти могущие». А мать говорит отцу: «Се пустое: я никаких поныряющих не знаю, а так просто противно мне, чтобы одно другое поедало».

Я о моей матери никогда не могу вспоминать спокойно, – непременно расстроюсь. Так случилось и тогда. Скучно по матери! Хожу-похожу, соломинку зубами со скуки кусаю и думаю: вот она теперь всех провожает в село, с вечера на заутреню, а сама сироток сбегает, не одетых, невычесанных, – всех сама у

печки перемоем, головенки им вычешет и чистые рубахи наденет... Как с ней радостно! Если бы я не дворянин был, я при ней бы и жил и работал бы, а не в карауле стоял. Что мы такое караулим?.. Все для смертного бою... А впрочем, что я так очень скучаю... – Стыдно!.. Я ведь жалованье за службу получаю и чинов заслуживаю, а вон солдат – он совсем безнадежный человек, да еще бьют его без милосердия, – ему куда для сравнения тяжелее... а ведь живет же, терпит и не кукуется... Бодрости себе надо поддать – все и пройдет. Что, думаю, самое лучшее может человек сделать, если ему самому тяжело? То, другое, третье приходит в голову, и, наконец, опять самое ясное приходит от матери: она, бывало, говорит: «Когда самому худо, тогда поспеши к тем, кому еще хуже, чем тебе»... Ну вот, солдатам хуже, чем мне...

Давай, думаю, я чем-нибудь солдат бедных обрадую! Угощу их, что ли, чаем напою, – разговариваю с ними на мои гроши!

Понравилось.

Глава восьмая

Я позвал вестового, даю ему из своего кошелька денег и посылаю, чтобы купил четверть фунта чаю, да три фунта сахару, да копу крашенок (шестьдесят красных яиц), да хлеба шафранного на всё, сколько останется. Прибавил бы еще более, да у самого не было.

Вестовой сбегал и все принес, а я сел к столу, колю и раскладываю по кусочкам сахар – и очень занялся тем: по сколько кусков на всех людей достанется.

И хоть небольшая забота, а сейчас, как я этим занялся, так и скука у меня прошла, и я даже радостно сижу да кусочки отсчитываю и думаю: простые люди – с ними никто не нежничает, – им и это участие приятно будет. Как услышу, что отпустный звон прозвонят и люди из церкви пойдут, я поздороваюсь – скажу: «Ребята! Христос воскрес!» и предложу им это мое угощение.

А стояли мы в карауле за городом, как всегда пороховые погреба бывают вдалеке от жилья, а кордегардией у нас служили сени одного пустого погреба, в котором в эту пору поро-

ху не было. Тут в сенях и солдаты и я, – часовые наружи, а казаки – трое с солдатами, а трое в разъезд уехали.

Из города нам, однако, звон слышен, и огни кое-как мелькают. Да и по часам я сообразил, что уже время церковной службы непременно скоро кончится – скоро, должно быть, наступит пора поздравлять и потчевать. Я встал, чтобы обойти посты, и вдруг слышу шум... дерутся... Я – туда, а мне летит что-то под ноги, и в ту же минуту я получаю пощечину... Что вы смотрите? Да – настоящую пощечину, и трах – с одного плеча эполета прочь!

Что такое?.. Кто меня бьет?

И главное дело – темно.

– Ребята! – кричу, – братцы! Что это делается? Солдаты узнали мой голос и отвечают:

– Казаки, ваше благородие, винища облопались!.. дерутся.

– Кто же это на меня бросился?

– И вас, ваше благородие, это казак по морде ударил. Вон он и есть – в ногах лежит без памяти, а двух там на погребнице вяжут. Рубиться хотели.

Глава девятая

Все вдруг в голове у меня засуетилось и перепуталось. Тягчайшее оскорбление! Молодо-зелено, на все еще я тогда смотрел не своими глазами, а как задолбил, и рассуждение тоже было не свое, а чужое, вдолбленное, как принято. «Тебя ударили – так это бесчестие, а если ты побьешь на отместку, – тогда ничего – тогда это тебе честь...» Убить его, этого казака, я должен!.. зарубить его на месте!.. А я не зарубил. Теперь куда же я годен? Я битый по щеке офицер. Все, значит, для меня кончено?.. Кинусь – заколю его! Непременно надо заколоть! Он ведь у меня честь взял, он всю карьеру мою испортил. Убить! за это сейчас убить его! Суд оправдает или не оправдает, но честь спасена будет.

А в глубине кто-то и говорит: «Не убий!» Это я понял, кто! – Это так бог говорит: на это у меня, в душе моей, явилось удостоверение. Такое, знаете, крепкое несомненное удостоверение, что и доказывать не надо и своротить нельзя. Бог! Он ведь старше и выше самого Сакена. Сакен откомандует, да когда-нибудь

со звездой в отставку выйдет, а бог-то веки веков будет всей вселенной командовать! А если он мне не позволяет убить того, кто меня бил, так что мне с ним делать? Что сделать? С кем посоветуюсь?.. Всего лучше с тем, кто сам это вынес. Иисус Христос!.. Тебя самого били?.. Тебя били, и ты простил... а я что пред тобою... я червь... гадость... ничтожество! Я хочу быть *твой*: я простил! я *твой* ...

Вот только плакать хочется!.. плачу и плачу!

Люди думают, что я это от обиды, а я уже – понимаете... я уже совсем не от обиды...

Солдаты говорят:

– Мы его убьем!

– Что вы!.. Бог с вами!.. Нельзя человека убивать! Спрашиваю старшего: куда его дели?

– Мы, – говорит, – ему руки связали и в погреб его бросили.

– Развяжите его скорее и приведите сюда.

Пошли его развязать, и вдруг дверь из погреба наотмашь распахнулась, и этот казак летит на меня прямо, как по воздуху, и, точно сноп, опять упал в ноги и вопит:

– Ваше благородие!.. я несчастный чело-

век!..

– Конечно, – говорю, – несчастный.

– Что со мною сделали!..

И плачет горестно так, что даже ревет.

– Встань! – говорю.

– Не могу встать, я еще в исступлении...

– Отчего ты в исступлении?

– Я непитущий, а меня напоили... У меня дома жена молодая и детки... и отцы старички старые... Что я наделал?..

– Кто тебя упоил?

– Товарищи, ваше благородие, – заставили за живых и за мертвых в перезвон пить... Я непитущий!

И рассказал, что заехали они в шинок, и стали его товарищи неволить – выпить для Светлого Христова воскресения, в самый первый звон, – чтобы всем живым и умершим «легонько взгадалось», – один товарищ поднес ему чару, а другой – другую, а третью он уже сам купил и других потчевал, а дальше не помнит, что ему пришло в голову на меня броситься, и ударить, и эполет сорвать.

Вот вам и приключение! Теперь валяется в ногах, плачет, как дитя, и весь хмель сошел...

Стонет:

– Детки мои, голубятки мои!.. Старички мои жалостные!.. женка несчастная!..

Глава десятая

Убивается бедняга, и люди все на него смотрят, и – вижу, и им тягостно, а мне еще более всех тяжело. А меж тем как я немножко раздумался, сердце-то у меня уж назад пошло: рассуждать опять начинаю: ударь он меня наедине, я и минуты бы одной не колебался – сказал бы: «Иди с миром и вперед так не делай». Но ведь это все произошло при подначальных людях, которым я должен подавать первый пример...

И вдруг это слово опять меня спасительно уловляет... какой такой нам подан *первый пример*? Я ведь не могу же это забыть... я ведь не могу же, чтобы Иисуса вспоминать, а при том ему совсем напротив над людьми делать...

«Нет, – думаю, – этого нельзя: я спутался – лучше я отстраню от себя это пока... хоть на время, а скажу только то, что надо по правилу...»

Взял в руки яйцо и хотел сказать: «Христос воскрес!» – но чувствую, что вот ведь я уже и схитрил. Теперь я не *его* – я ему уж чужой стал... Я этого не хочу... не желаю от *него* увольняться. А зачем же я делаю как те, кому с *ним* тяжело было... который говорил: «Господи, выйди от меня: я человек грешный!» Без *него* – то, конечно, полегче... Без *него*, пожалуй, со всеми уживешься... ко всем подделаешься...

А я этого не хочу! Не хочу, чтобы мне легче было! Не хочу!

Я другое вспомнил... Я его не попрошу уйти, а еще позову... Приди – ближе! и зачитал: «Христе, свете истинный, просвещали и освещали всякого человека, грядущего в мир...»

Между солдатами вдруг внимание... кто-то и повторил:

– «Всякого человека!»

– Да, – говорю, – «всякого человека, грядущего в мир», – и такой смысл придаю, что он просвещает того, кто приходит от вражды к *миру*. И еще сильнее голосом воззвал: – «Да знаменуется на нас, грешных, свет твоего лица!»

– «Да знаменуется!.. да знаменуется!» – враз, одним дыханием продохнули солдаты... Все содрогнулись... все всхлипывают... все неприступный свет узрели и к нему сунулись...

– Братцы! – говорю, – будем молчать!
Враз все поняли.

– Язык пусть нам отсохнет, – отвечают, – ничего не скажем.

– Ну, – я говорю, – значит, Христос воскрес! – и поцеловал первого побившего меня казака, а потом стал и с другими целоваться. «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!»

И вправду обнимали мы друг друга радостно. А казак все плакал и говорил: «Я в Иерусалим пойду бога молить... священника упрошу, чтобы мне питинью наложил».

– Бог с тобой, – говорю, – еще лучше и в Иерусалим не ходи, а только водки не пей.

– Нет, – плачет, – я, ваше благородие, и водки не буду пить и пойду к батюшке...

– Ну, как знаешь.

Пришла смена, и мы возвратились, и я отрапортовал, что все было благополучно, и солдаты все молчали; но случилось так, одна-

ко, что секрет наш вышел наружу.

Глава одиннадцатая

На третий день праздника призывает меня к себе командир, запирается в кабинет и говорит:

– Как это вы, сменившись последний раз с караула, рапортовали, что у вас все было благополучно, когда у вас было ужасное происшествие!

Я отвечаю:

– Точно так, господин полковник, происшествие было нехорошее, но бог нас вразумил, и все кончилось благополучно.

– Нижний чин оскорбил офицера и остается без наказания... и вы это считаете благополучным? Да у вас что же – нет, что ли, ни субординации, ни благородной гордости?

– Господин полковник, – говорю, – казак был человек непьющий и обезумел, потому что его опоили.

– Пьянство – не оправдание!

– Я, – говорю, – не считаю за оправдание, – пьянство – пагуба, но я духу в себе не нашел доносить, чтобы за меня безрассудного чело-

века наказывали. Виноват, господин полковник, я простил.

– Вы не имели права прощать!

– Очень знаю, господин полковник, не мог выдержать.

– Вы после этого не можете более оставаться на службе.

– Я готов выйти.

– Да; подавайте в отставку.

– Слушаю-с.

– Мне вас жалко, – но поступок ваш есть непозволительный. Пеняйте на себя и на того, кто вам внушил такие правила.

Мне стало от этих слов грустно, и я попросил извинения и сказал, что я пенять ни на кого не буду, а особенно на того, кто мне внушил такие правила, потому что я взял себе эти правила из христианского учения.

Полковнику это ужасно не понравилось.

– Что, – говорит, – вы мне с христианством! – ведь я не богатый купец и не барыня. Я ни на колокола не могу жертвовать, ни ковров вышивать не умею, а я с вас службу требую. Военный человек должен почерпать христианские правила из своей присяги, а ес-

ли вы чего-нибудь не умели согласовать, так вы могли на все получить совет от священника. И вам должно быть очень стыдно, что казак, который вас прибил, лучше знал, что надо делать: он явился и открыл свою совесть священнику! Его это одно и спасло, а не ваше прощение. Дмитрий Ерофеич простил его не для вас, а для священника, а солдаты все, которые были с вами в карауле, будут раскассированы. Вот чем ваше христианство для них кончилось. А вы сами пожалуйста к Сакену; он сам с вами поговорит – ему и рассказывайте про христианство: он церковное писание все равно как военный устав знает. А все, извините, о вас того мнения, что вы, извините, получив пощечину, изволили прощать единственно с тем, чтобы это бесчестие вам не помешало на службе остаться... Нельзя! Ваши товарищи с вами служить не желают.

Это мне, по тогдашней моей молодости, показалось жестоко и обидно.

– Слушаю-с, – говорю, – господин полковник, я пойду к графу Сакену и доложу все, как дело было, и объясню, чему я подчинился – все доложу по совести. Может быть, он иначе

взглянет.

Командир рукой махнул.

– Говорите что хотите, но знайте, что вам ничто не поможет. Сакен церковные уставы знает – это правда, но, однако, он все-таки пока еще исполняет военные. Он еще в архиереи не постригся.

Тогда между военными ходили разные нелепые слухи о Сакене: одни говорили, будто он имеет видения и знает от ангела – когда надо начинать бой; другие рассказывали вещи еще более чудные, а полковой казначей, имевший большой круг знакомства с купцами, уверял, будто Филарет московский говорил графу Протасову: «Если я умру, то Боже вас сохрани, не делайте обер-прокурором Муравьева, а митрополитом московским – киевского ректора (Иннокентия Борисова). Они только хороши кажутся, а хорошо не сделают; а вы ставьте на свое место Сакена, а на мое – самого смиренного монаха. Иначе я вам в темном блеске являться стану».

Глава двенадцатая

Я тогда ни за что не хотел, чтобы Сакен допускать, будто я простил и скрыл полученную мною пощечину из-за того, чтобы мне можно было на службе оставаться. Ужасная глупость! Не все ли это равно? Теперь это кажется смешно, а в тогдашнем диком состоянии я в самом деле полагал немножко свою честь в таких пустяках, как постороннее мнение... Ночей не спал: одну ночь в карауле не спал, а потом три ночи не спал от волнения... Обидно было, что товарищи обо мне нехорошо думают и что Сакен обо мне нехорошо думает! Надо, видите, так, чтобы все о нас хорошо думали!..

Опять из-за этого всю ночь не спал и на другой день встал рано и являюсь утром в сакенскую приемную. Там был только еще один аудитор, а потом и другие стали собираться. Жужжат между собою потихонечку, а у меня знакомых нет – я молчу и чувствую, что сон меня клонит, – совсем некстати. А глаза так и слипаются. И долго я тут со всеми вместе ожидал Сакена, потому что он в этот день,

как нарочно, не выходил: все у себя в спальне перед чудотворной иконой молился. Он ведь был страшно богомолен: непременно каждый день читал утренние и вечерние молитвы и три акафиста, а то иногда зайдется до бесконечности. Случалось, до того уставал на коленях стоять, что даже падал и на ковре ничком лежал, а все молился. Мешать ему или как-нибудь перебить молитву считалось – боже сохрани! На это, кажется, даже при штурме никто бы не отважился, потому что помешать ему – все равно что дитя разбудить, когда оно не выспалось. Начнет кукситься и капризничать, и тогда его ничем не успокоишь. Адъютанты у него это знали, – иные и сами тоже были богомолы – другие притворялись. Он не разбирал и всех таких любил и поощрял.

Как только, бывало, он покажется, штабные сейчас различали, если он намолился, и тогда в хорошем расположении, и все бумаги несли, потому что, намолившись, он добр и тогда все подпишет.

На мою долю как раз такое счастье и досталось: как Сакен вышел ко всем в прием-

ную, так один опытный говорит мне:

– Вы хорошо попали; нынче его обо всем можно просить; он теперь намолившись.

Я полюбопытствовал:

– Почему это заметно?

Опытный отвечает:

– Разве не видите – у него колени белеются, и над бровями светлые пятнышки... как будто свет сияет... Значит, будет ласковый.

Я сияния над бровями не отличил, а панталоны у него на коленях действительно были побелевши.

Со всеми он переговорил и всех отпустил, а меня оставил на самый послед и велел за собою в кабинет идти.

«Ну, – думаю, – тут будет развязка». И сон прошел.

Глава тринадцатая

В кабинете у него большая икона в дорогой бризе, на особом возвышении, и трисоставная лампада в три огня горит.

Сакен прежде всего подошел к иконе, перекрестился и поклонился в землю, а потом обернулся ко мне и говорит:

– Ваш полковой командир за вас заступает. Он вас даже хвалит – говорит, что вы были хороший офицер, но я не могу, чтобы вас оставить на службе!

Я отвечаю, что я об этом и не прошу.

– Не просите! Почему же не просите?

– Я знаю, что это нельзя, и не прошу о невозможном.

– Вы горды!

– Никак нет.

– Почему же вы так говорите – «о невозможном?» Французский дух! гордость! У бога все возможно! Гордость!

– Во мне нет гордости.

– Вздор!.. Я вижу. Все французская болезнь!.. своеволие!.. Хотите все по-своему сделать!.. Но вас я действительно оставить не

могу. Надо мною тоже выше начальство есть... Эта ваша вольнодумная выходка может дойти до государя... Что это вам пришла за фантазия!..

– Казак, – говорю, – по дурному примеру напился пьян до безумия и ударил меня без всякого сознания.

– А вы ему это простили?

– Да, я не мог не простить!..

– На каком же основании?

– Так, по влиянию сердца.

– Гм!.. сердце!.. На службе прежде всего долг службы, а не сердце... Вы по крайней мере раскаиваетесь?

– Я не мог иначе.

– Значит, даже и не каетесь?

– Нет.

– И не жалеете?

– О нем я жалею, а о себе нет.

– И еще бы во второй раз, пожалуй, простили?

– Во второй раз, я думаю, даже легче будет.

– Вон как!.. вон как у нас!.. солдат его по одной щеке ударил, а он еще другую готов подставить.

Я подумал: «Цыц! не смей этим шутить!» – и молча посмотрел на него с таковым выражением.

Он как бы смутился, но опять по-генеральски напетушился и задает:

– А где же у вас гордость?

– Я сейчас имел честь вам доложить, что у меня нет гордости.

– Вы дворянин?

– Я из дворян.

– И что же, этой... *noblesse oblige* [16]... дворянской гордости у вас тоже нет?

– Тоже нет.

– Дворянин без всякой гордости? Я молчал, а сам думал:

«Ну да, ну да: дворянин, и без всякой гордости, – ну что же ты со мной поделаешь?»

А он не отстает – говорит:

– Что же вы молчите? Я вас спрашиваю об этой – о благородной гордости?

Я опять промолчал, но он еще повторяет:

– Я вас спрашиваю о *благородной гордости*, которая возвышает человека. Сирах велел «пещись об имени своем»...

Тогда я, чувствуя себя уже как бы отстав-

ным и потому человеком свободным, ответил, что я ни про какую благородную гордость ничего в Евангелии не встречал, а читал про одну только гордость сатаны, которая противна богу.

Сакен вдруг отступил и говорит:

– Перекреститесь!.. Слышите: я вам приказываю, сейчас перекреститесь!

Я перекрестился.

– Еще раз!

Я опять перекрестился.

– И еще... до трех раз!

Я и в третий раз перекрестился.

Тогда он подошел ко мне и сам меня перекрестил и прошептал:

– Не надо про сатану! Вы ведь православный?

– Православный.

– За вас восприемники у купели отреклись от сатаны... и от гордыни и от всех дел его и на него плюнули. Он бунтовщик и отец лжи. Плюньте сейчас.

Я плюнул.

– И еще!

Я еще плюнул.

– Хорошенько!.. До трех раз на него плюньте!

Я плюнул, и Сакен сам плюнул и ногою растер. Всего сатану мы оплевали.

– Вот так!.. А теперь... скажите, того... Что же вы будете с собой делать в отставке?

– Не знаю еще.

– У вас есть состояние?

– Нет.

– Нехорошо! Родственники со связями есть?

– Тоже нет.

– Скверно! На кого же вы надеетесь?

– Не на князей и не на сынов человеческих: воробей не пропадает у бога, и я не пропаду.

– Ого-го, как вы, однако, начитаны!.. Хотите в монахи?

– Никак нет – не хочу.

– Отчего? Я могу написать Иннокентию.

– Я не чувствую призвания в монахи.

– Чего же вы хотите?

– Я хочу только того, чтобы вы не думали, что я умолчал о полученном мною ударе из-за того, чтобы остаться на службе: я это сде-

лал просто...

– Спасти свою душу! Понимаю вас, понимаю! я вам потому и говорю: идите в монахи.

– Нет, я в монахи не могу, и спасти свою душу не думал, а просто я пожалел другого человека, чтобы его не били насмерть палками.

– Наказание бывает человеку в пользу. «Любяй наказует». Вы не дочитали... А впрочем, мне вас все-таки жалко. Вы пострадали!.. Хотите в комиссариатскую комиссию?

– Нет, благодарю покорно.

– Это отчего?

– Я не знаю, право, как вам об этом правдивее доложить... я туда неспособен.

– Ну, в провианты?

– Тоже не гожусь.

– Ну, в цейхвартеры! – там, случается, бывают люди и честные.

Так он меня этим своим разговором отяготил, что я просто будто намагнитизировался и спать хочу до самой невозможности.

А Сакен стоит передо мною – и мерно, в такт головою покачивает и, загиная одною рукою пальцы другой руки, вычисляет:

– В Писании начитан; благородной гордо-

сти не имеет; по лицу бит; в комиссариат не хочет; в провиантские не хочет и в монахи не хочет! Но я, кажется, понял вас, почему вы не хотите в монахи: вы влюблены?

А мне только спать хочется.

– Никах нет, – говорю, – я ни в кого не влюблен.

– Жениться не намерены?

– Нет.

– Отчего?

– У меня слабый характер.

– Это видно! Это сразу видно! Но что же вы застенчивы, – вы боитесь женщин... да?

– Некоторых боюсь.

– И хорошо делаете! Женщины суетны и... есть очень злые, но ведь не все женщины злы и не все обманывают.

– Я сам боюсь быть обманщиком.

– То есть... Как?.. Для чего?

– Я не надеюсь сделать женщину счастливой.

– Почему? Боитесь несходства характеров?

– Да, – говорю, – женщина может не одобрять то, что я считаю за хорошее, и наоборот.

– А вы ей докажете.

– Доказать все можно, но от этого выходят только споры и человек делается хуже, а не лучше.

– А вы и споров не любите?

– Терпеть не могу.

– Так ступайте же, мой милый, в монахи! Что же вам такое?! Ведь вам в монахах отлично будет с вашим настроением.

– Не думаю.

– Почему? Почему не думаете-то? Почему?

– Призвания нет.

– А вот вы и ошибаетесь – прощать обиды, безбрачная жизнь... это и есть монастырское призвание. А дальше что же еще остается трудное? – мяса не есть. Этого, что ли, вы боитесь? Но ведь это не так строго...

– Я мяса совсем никогда не ем.

– А зато у них прекрасные рыбы.

– Я и рыбы не ем.

– Как, и рыб не едите? Отчего?

– Мне неприятно.

– Отчего же это может быть неприятно – рыб есть?

– Должно быть, врожденное – моя мать не ела тел убитых животных и рыб тоже не ела.

– Как странно! Значит, вы так и едите одно грибное да зелень?

– Да, и молоко и яйца. Мало ли еще что можно есть!

– Ну так вы и сами себя не знаете: вы природный монах, вам даже схиму дадут. Очень рад! очень рад! Я вам сейчас дам письмо к Иннокентию!

– Да я, ваше сиятельство, не пойду в монахи!

– Нет, пойдете, – таких, которые и рыб не едят, очень мало! вы схимник! Я сейчас напишу.

– Не извольте писать: я в монастырь жить не пойду. – Я желаю есть свой трудовой хлеб в поте своего лица.

Глава четырнадцатая

Сакен наморщился.

– Это, – говорит, – вы Библии начитались, – а вы Библии-то не читайте. Это англичанам идет: они недоверки и кривотолки. Библия опасна – это мирская книга. Человек с аскетическим основанием должен ее избегать.

«Фу ты господи! – думаю. – Что же это за мучитель такой!»

И говорю ему:

– Ваше сиятельство! я уже вам доложил: во мне нет никаких аскетических оснований.

– Ничего, идите и без оснований! Основания после придут; всего дороже, что у вас это врожденное: не только мяса, а и рыбы не едите. Чего вам еще!

Умолкаю! Решительно умолкаю и думаю только о том: когда же он меня от себя выпустит, чтобы я мог спать...

А он возлагает мне руки на плечи, смотрит долго в глаза и говорит:

– Милый друг! вы уже призваны, но только вам это еще непонятно!..

– Да, – отвечаю, – непонятно!

Чувствую, что мне теперь все равно, – что я вот-вот сейчас тут же, стоя, усну, – и потому инстинктивно ответил:

– Непонятно.

– Ну так помолимся, – говорит, – вместе поусерднее вот перед этим ликом. Этот образ был со мною во Франции, в Персии и на Дунае... Много раз я перед ним упал в недоумении и когда вставал – мне было все ясно. Становитесь на ковре на колени и земной поклон... Я начинаю.

Я стал на колени и поклонился, а он зачитал умиленным голосом: «Совет преевечный открывая Тебе»...

А дальше я уже ничего не слыхал, а только почудилось мне, что я как дошел лбом до ковра – так и пошел свайкой спускаться вниз куда-то все глубже к самому центру земли.

Чувствую что-то не то, что нужно: мне бы нужно куда-то легким пером вверх, а я иду свайкой вниз, туда, где, по словам Гете, «первообразы кипят, – клокочут зиждящие силы». А потом и не помню уже ничего.

Возвращаюсь опять от центра к поверхно-

сти не скоро и ничего не узнаю: трисоставная лампада горит, в окнах темно, впереди меня на том же ковре какой-то генерал, клубочком свернувшись, спит.

Что это такое за место? – заспал и запамятовал.

Потихонечку поднимаюсь, сажусь и думаю: «Где я? Что это, генерал в самом деле или так кажется...» Потрогал его... ничего – парной, теплый, и смотрю – и он просыпается и шевелится... И тоже сел на ковре и на меня смотрит... Потом говорит:

– Что вижу?.. Фигура!

Я отвечаю:

– Точно так.

Он перекрестился и мне велел:

– Перекрестись! Я перекрестился.

– Это мы с вами вместе были?

– Да-с.

– Каково!

Я промолчал.

– Какое блаженство!

Не понимаю, в чем дело, но, к счастью, он продолжает:

– Видели, какая святыня!

– Где?
– В раю!
– В раю? Нет, – говорю, – я в раю не был и
ничего не видал.

– Как не видал! Ведь мы вместе летали...
Туда... вверх!

Я отвечаю, что я летать летал, но только не
вверх, а вниз.

– Как вниз!
– Точно так.
– Вниз?
– Точно так.
– Внизу ад!
– Не видал.
– И ада не видал?
– Не видал.
– Так какой же дурак тебя сюда пустил?
– Граф Остен-Сакен.
– Это я граф Остен-Сакен.
– Теперь, – говорю, – вижу.
– А до сих пор и этого не видал?
– Прошу прощения, – говорю, – мне кажется,
будто я спал.
– Ты спал!
– Точно так.

– Ну так пошел вон!

– Слушаю, – говорю, – но только здесь темно – я не знаю, как выйти.

Сакен поднялся, сам открыл мне дверь и сам сказал:

– Zum Teufel! [17]

Так мы с ним и простились, хотя несколько сухо, но его ко мне милости этим не кончились.

Глава пятнадцатая

Я был совершенно спокоен, потому что знал, что мне всего дороже – это моя воля, возможность жить по одному завету, а не по нескольким, не спорить, не подделываться и никому ничего не доказывать, если ему не явлено свыше, – и я знал, где и как можно найти такую волю. Я не хотел решительно никаких служб, ни тех, где нужна благородная гордость, ни тех, где можно обходиться и без всякой гордости. Ни на какой службе человек сам собой быть не может, он должен вперед не обещаться, а потом исполнять, как обещался, а я вижу, что я порченный, что я ничего обещать не могу, да я не смею и не должен,

потому что суббота для человека, а не человек для субботы... Сердце сжалится, и я не могу обещания выдержать: увижу страдание и не выстою... я изменю субботе! На службе надо иметь клятвенную твердость и уметь самого себя заговаривать, а у меня этого дарования нет. Мне надо что-нибудь самое простое... Перебирал я, перебирал, – что есть самое простое, где не надо себя заговаривать, и решил, что лучше пахать землю.

Но меня, однако, ждала еще награда и по службе.

Перед самым моим выездом полковник объявляет мне:

– Вы не без пользы для себя с Дмитрием Ерофеичем повидались. Он тогда был с утра прекрасно намолившись и еще с вами, кажется, молился?

– Как же, – отвечаю, – мы молились.

– Вместе в блаженные селения парили?..

– То есть... как это вам доложить...

– Да, вы—большой политик! Знаете, вы и достигли, – вы ему очень понравились; он вам велел сказать, что особым путем вам пенсию выпросит.

– Я, – говорю, – пенсии не выслужил.

– Ну, уж это теперь расчислять поздно, – уж от него пошло представление, а ему не откажут.

Вышла мне пенсия по тридцати шести рублей в год, и я ее до сих пор по этому случаю получаю. Солдаты со мною тоже хорошо простились.

– Ничего, – говорили, – мы, ваше благородие, вами довольны и не плачемся. Нам все равно, где служить. А вам бы, ваше благородие, мы желали, чтобы к нам в попы достигнуть и благословлять на поле сражения.

Тоже доброжелатели!

А я вместо всего ихнего доброжелания вот эту господку купил... Невелика господка, да дубра... Може, и Катря еще на ней буде с мужем господуроваты... Бидна Катруся! Я ее с матерью под тополями Подолинского сада нашел... Мать хотела ее на чужие руки кинуть, а сама к какой-нибудь пани в мамки ийти. А я вызверывся да говорю ей:

– Чи ты с самага роду так дурна, чи ты сумасшедшая! Що тобі такэ поднялось, щоб свою дытыну покинуты, а паньских своим

молоком годувати! Нехай их яка пани поро-
дыла, та сама и годуєт: так от бога показано, –
а ты ходы впрост до менэ та пильнуй свою
дытыну.

Она встала – подобрала Катрю в тряпочки
и пишла – каже:

– Пиду, куды минэ доля моя ведэ!

Так вот и живем, и поле орем, и сием, а чо-
го нэма, о том не скучаем – бо все люди про-
сты: мать сирота, дочка мала, а я битый офи-
цер, да еще и без усякой благородной гордо-
сти. Тпфу, яка пропаща фигура!

По моим сведениям, Фигура умер в конце
пятидесятых или в самом начале шестидеся-
тых годов. О нем я не встречал в литературе
никаких упоминаний.

*Впервые опубликовано – журнал
«Труд», 1889.*

Примечания

1

Моя дорогая (*франц.*).

[^^^]

2

со стрелами Амура (*франц.*).

[^^^]

из пресных вод (*франц.*).

[^^^]

чайного ликера (*франц.*).

[^^^]

5

высшей школы (*франц.*)

[^^^]

6

портной Лепутан (*франц.*)

[^^^]

О таком же способе рассказывает в одном месте известный знаток солдатской жизни А.Ф. Погосский. Секрет этот знали и русские знахарки и обманывали им врачей с блистательным успехом. (*Прим. автора*)

[^^^]

штаны (*франц.*)

[^^^]

я высказался (*лат.*).

[^^^]

10

из глубины сердца (*франц.*)

[^^^]

Бернардинец и раввин (нем.).

[^^^]

Кулига – место, где срублены и выжжены деревья, чащоба, пережога. (*Прим. автора.*)

[^^^]

башмаки – по-орловски черевнчки. (*Прим. автора.*)

[^^^]

Таусинный камень, или туасень – светлый сафир с оттенком *павлиньего пера*, в старину считался спасительным талисмаом. У Грозного был такой талисман тоже в кольце или, по старинному, в «напалке». «Напалка золотная жуковиною (перстнем), а в ней камень *таусень*, а в том муть и как бы пузырина зрится». (Прим. автора)

[^^^]

Сакен тогда еще был жив. *(Прим. автора.)*

[^^^]

благородное происхождение обязывает (*франц.*).

[^^^]

К черту! (нем.)

[^^^]